

**65-летию Победы  
посвящается...**

**ПАМЯТЬЮ  
НАПИСАННЫЕ СТРОКИ**

(зауральские писатели  
о Великой Отечественной войне)

**Курган  
2010 год**

## **Исходные данные:**

### **Редакционная коллегия сборника:**

**Виктор Потанин** –

член Высшего творческого совета Союза писателей России

**Иван Яган** –

секретарь Правления Союза писателей России

**Алексей Бритвин** –

заместитель начальника Управления культуры области

**Людмила Савицкая** –

Заслуженный работник культуры РФ, директор областного художественного музея

Военный консультант, редактор – **Владимир Усманов**

Составитель – **Владимир Филимонов**

Тема Великой Отечественной войны неисчерпаема в произведениях писателей Зауралья. Быть может, потому, что сами они - плоть от плоти своего народа, сердцем прочувствовали национальную трагедию и жертвенный подвиг отцов и матерей, родных и близких в достижении Великой Победы.

Пройдут десятилетия, появятся новые поколения россиян, для которых война станет легендой. Но и тогда потомки будут свято хранить память о страшных годах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о людях, выстоявших и победивших во имя чести и независимости Отечества.

Сборник создан по инициативе Координационного совета по патриотическому воспитанию населения при Правительстве области и Курганской областной писательской организации.

***Издано по заказу и на средства  
Правительства Курганской области***

ISBN

*Олег БОГОМОЛОВ,  
Губернатор  
Курганской области*

## УВАЖАЕМЫЕ ЗАУРАЛЬЦЫ!



Уверенной поступью шагает по земле 2010 год – год 65-летия Победы нашего народа и его армии в Великой Отечественной войне.

Идя навстречу славному юбилею, Россия, все ее регионы стараются отдать ему дань уважения и признательности, внести свою лепту в достойную встречу этого светлого праздника. У каждого из нас эта знаменательная дата вызывает чувство гордости и радости, как и у наших отцов и матерей, со слезами на глазах.

Мы, нынешнее поколение россиян, стремимся помянуть добрыми делами и словами героев-фронтовиков и тружеников тыла – погибших, ушедших из жизни, ныне живущих.

Да иначе и быть не должно. Ведь из Зауралья ушел на фронт каждый четвертый его житель, и каждый второй – не вернулся домой.

Вдумайтесь – свыше 117 тысяч погибших. Это ушедшие в небытие родословные сотен тысяч династий. Это больше, чем общевойсковая армия, 20 полнокровных пехотных дивизий!

Если каждого из павших воинов почтить Минутой Молчания, то нужно погрузиться в тишину на 2,5 месяца...

За мужество и воинскую доблесть 75 тысяч наших земляков награждены орденами и медалями, 108 – стали Героями Совет-

ского Союза. 120 тысяч труженников тыла удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 40 – звания Героя Социалистического Труда.

В нашей области издано 18 томов Книги Памяти, установлено более 600 памятников и обелисков.

Правительство области старается делать все возможное, чтобы сохранить светлую память о ветеранах, которых уже нет с нами, оказать помощь и поддержку живущим героям военного лихолетья, решить все их социальные вопросы и проблемы.

В Зауралье проводится целый цикл мероприятий по подготовке к 65-летию Великой Победы.

Идет обновление мемориального комплекса у Вечного огня и Парка Победы в Кургане.

Готовится к открытию монумент нашему земляку Герою Советского Союза командарму генерал-полковнику Шумилову Михаилу Степановичу.

Создаются Аллеи Памяти, реставрируются памятные стелы и доски в городах и районах области.

Проводятся Дни воинской славы, посвященные главным сражениям Великой Отечественной войны, месячники оборонно-массовой и спортивной работы, всевозможные акции, ведется поисковая работа.

В преддверии славного праздника более 38 тысяч ветеранов Зауралья распоряжением Президента России и от его имени будут удостоены юбилейной медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Хочу еще раз подчеркнуть, что все это дань уважения нашему прошлому, тем фронтовикам, которых уже нет в живых, и тем – кто ныне рядом с нами. Сегодня их в области чуть более трех тысяч (за прошедший год ушли из жизни свыше 1000 участников войны).

Уверен, что достойное, памятное место среди проводимых в преддверии праздника Победы мероприятий займет и эта замечательная книга, собравшая воедино мысли и чувства, волнения и переживания, вдохновение и творчество прозаиков и поэтов Зауралья, посвященные военному лихолетью и его героям.

Грозным прошлым, преломленным через их сердца и души,



война возвращается к нам сегодня. Звучит набатом: живите и помните! Храните Память о соотечественниках, родных и близких! Отстаивайте историческую и жизненную правду! Не растеряйте завоевания Победы и авторитет Родины!

В этом смысл настоящего произведения, обращенного к Вам – ветераны, люди среднего возраста, молодежь. Всем, кто, взрослея, осмысливает и собственную жизнь, и нравственный исторический опыт своих предшественников.

В книге повествуется о ратном героизме защитников Отечества, трудовом подвиге женщин, стариков, детей – настоящих патриотов своей Великой Родины – России и малой родины – Зауралья.

Важно, что в строках произведений сборника нашли свое отражение не только подвиги, но и страдания, переживания людей, пройденные ими испытания, понесенные потери и утраты.

Ведь практически в каждой российской, зауральской семье есть свои: 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года.

Уверен, что нынешнее непростое время – время попыток перекроить нашу историю, исказить правду о войне и роли нашего Отечества в ней – эта книга еще раз поможет нам понять истину, отделить зерно от плевел, припасть к своим историческим корням, принять сердцем, сколько претерпел, как выстоял и победил русский народ – во имя прошлого, настоящего и будущего, во имя жизни на земле.

Это сегодня необходимо всем нам, как воздух и вода, как живительная сила укрепления нашей духовности и патриотизма, родники которой бьют в наших сердцах и душах с самого рождения, сопутствуют на каждом повороте дороги под названием Жизнь.

Читайте, вспоминайте наше прошлое и обязательно соперивайте, не становитесь «иванами, не помнящими родства».





*Далее по сборнику: серия плакатов военного времени, картины зауральских художников на тему войны из фондов областного художественного музея, а также аппликации кетовчанина Николая Пономарева.*

*Из фондов Каширинского  
литературно-краеведческого музея  
им. В.К. Кюхельбекера*

### КНИГА И МУЗЕЙ РАССКАЖУТ...

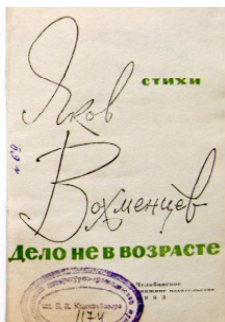
Ветер времени. ...Как ни горько осознавать, но 65-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов празднуется в присутствии изрядно поредевшего строя бывших воинов и тех, кто вершили Победу в тылу на трудовом фронте.

*Мы по России-Матушке по всей,  
как снег белеем и как он же – таем...  
Им завтра будет книга да музей  
рассказывать о былях грозных дней,  
которые мы не по книгам знаем...*

Вот и наступает время, неотвратимо обозначенное нашим земляком, поэтом, воином, Алексеем Михайловичем Пляхиным. Прошагал он фронтовыми дорогами до Берлина, оставил своё имя на стене поверженного рейхстага... И строки фронтовых стихов в поэтических сборниках.

В Каширинском литературно-краеведческом музее художественные произведения фронтовиков, их воспоминания, автографы занимают особое место среди многочисленных экспонатов. Сегодня эти книги, художественные и мемуарные, Книга Памяти Курганской области, дают нам, потомкам, ощущение почти физического восприятия событий тех грозных лет, позволяют вновь и вновь обращаться к теме защиты Отечества на примерах, взятых из нашей не такой уж и далекой истории через судьбы земляков.

Сражались с врагом земляки-поэты и прозаики Яков Терентьевич и Василий Терентьевич Вохменцевы, Константин Феликсович Реут, Василий Дмитриевич Оглоблин, Анатолий Павлович Афанасьев, Павел Захарович Кочегин, Василий Иванович Елов-



*Дарственные - от Якова Вохменцева: «Дмитрию Андриановичу Белоусову от всей души. 12 июня 64 г.».*

ских, Михаил Иосифович Шушарин, Валентин Григорьевич Сафронов, Александр Фёдорович Поздняков и ещё многие и многие их товарищи, друзья, да и вовсе незнакомые люди из родного края, Зауралья.

Одним из первых прозаических произведений о войне в коллекции нашего музея стала повесть фронтовика, учителя в послевоенной жизни, Александра Васильевича Васильева «Солдаты идут». Журналист Лев Тихонович Садовский, опираясь на свой опыт военного журналиста, издал повесть для детей «Маленький наборщик». В годы войны стали широко известны стихи фронтовых журналистов, поэтов, наших земляков Ильи Френкеля и Сергея Васильева.

С Сергеем Александровичем Васильевым с конца 50-х годов прошлого века завязалась переписка. В музее хранятся его письма, рукопись одного из стихотворений, фотография военной поры с дарственной надписью. Несколько поколений учащихся Каширинской школы имели возможность увидеться с писателем, послушать его, получить автограф.

С многими из тех, кто вернулись с фронта, музей поддерживал связь. В 1962 году в издательстве газеты «Красный Курган» была опубликована повесть военного лётчика Павла Захаровича Кочегина «Под хмурым небом». Повесть во многом биографична. Самолёт Кочегина во время одного из боёв был сбит. В 1957 году Павлу Захаровичу через журнал «Огонёк» представилась возможность публично поблагодарить двух жителей соседней Норвегии за помощь, оказанную ему в восстановлении сил и здоровья, за поддержку в желании вернуться на Родину. О



*...от Алексея Плехина: «Давнему другу, поэту Дмитрию Белоусову на добрую память и в знак искреннего уважения».*

лучших проявлений человечности рассказывал автор у себя в Куртамыше гостям из Каширино и в нашей школе при встрече со своими читателями.

О том, что значит общение с автором – пример из встреч с Михаилом Иосифовичем Шушариным. На одну из них в нашу школу он приехал со вновь изданной книжечкой «Десантники». Несколько штук писатель подарил участникам встречи. Книги буквально были зачитаны до дыр, за ними выстраивалась очередь.

Не только художественными произведениями оставили о себе память фронтовики. Серия мемуарных книг, вскрывая отдельные эпизоды того времени, создаёт из, казалось бы, разрозненных мозаичных пятен, довольно целостную картину военной поры. Тщательно и с любовью собирали многие и многие исследователи буквально по крупичкам уходящую вместе с людьми историю времён минувших, переносили на бумагу воспоминания бывших солдат Второй мировой, их переписку с родными, издавали собранное в книгах, журналах.

Хочется особо подчеркнуть значимость созданного в последние годы 20-го века курганского издательства «Парус-М» под руководством Геннадия Павловича Устюжанина.

Наверное, можно как-то объяснить то, что в первые десятилетия после Победы очень мало выявилось дошедших до нас воспоминаний её рядовых творцов. Многие, очень многие могли бы поведать солдаты-победители, да не рассказали, унесли с собой в мир иной. Тем ценнее то, что сегодня имеем. Экспонаты нашей



...от Павла Кочегина: «Литературному музею села Каширино, его родителю и бессменному руководителю - Дмитрию Андриановичу Белоусову - мой скромный подарок к юбилею музея и самые наилучшие пожелания всем его активистам. г.Куртамыш. 12.12.1980»

коллекции, выставленные в музее, усиливают это впечатление. Это десятки и десятки книг, фронтовые письма, открытки, благодарности Верховного Главнокомандующего отличившимся в боевых действиях и другие документы. Среди них и два пятитомника воспоминаний «Помни войну» издательства «Парус-М» и «Священная война» издательства «Зауралье». История от первого лица, её вершителей, предстаёт со страниц книг, воспроизводя пред читателем и окопную правду войны, и душевное состояние её участников, велит помнить вечно и трагедию, и триумф защитников Отечества.

Можно раз за разом удивляться тому, какие люди предстают перед нами. Командарм Михаил Степанович Шумилов: в расположении его армии был пленён фельдмаршал Паулюс. Рядовой Максим Никифорович Захаров: за доблесть и героизм награждён пятью медалями «За отвагу» - это единственный известный нам факт из истории Великой Отечественной. Прочитать об этом можно во втором томе трилогии «Зовущий колокол – огнём горящий меч» - трёхтомный труд сей бывшего военного комиссара области генерал-майора Владимира Усманова по праву претендует назваться энциклопедией воинской доблести земли Курганской.

Серия «Золотое созвездие Зауралья» состоит из трёх томов: «Герои Советского Союза», «Герои Социалистического Труда», «Кавалеры ордена Славы».

А я бы по праву присоединил к ним четвёртый том – «Солдатские вдовы Зауралья». В книге собраны (далеко не о всех) сведения о матерях, солдатских вдовах, оставшихся в войну с тре-

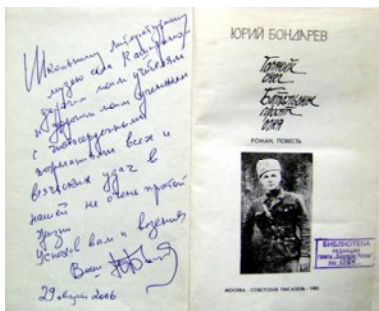
*...от Михаила Шушарина:  
«Дмитрию Андриановичу Белоусову, хорошему русскому человеку, моему старому другу. От души. Автор (подпись)»*



мя и более детьми, выросшими и воспитавшими их в одиночку. Читаешь очерк за очерком и видишь одно и то же. Не самая лёгкая доля женская, труд от зари до зари, по теперешним меркам – непосильный. Всё, что наработано – фронту, Победе. На коровах-кормилицах пахали и возили зерно, а зимой из лесу дрова. Мечтали о хлебном изобилии, долгими зимами о лете, скорее бы да на подножный корм. Поздними вечерами коллективно читали письма от родимых, общие слёзы. Сколько их в тех восемнадцати томах книги Памяти, появившихся к 50-летию Великой Победы, кто это скажет. А на фронт умудрялись ещё посылать носки и варежки, кисеты с табаком и хоть какие-то сладости. Раннее взросление детей и неременная вера в нашу Победу, в счастье, которое хоть детям да улыбнётся. Ради этого матери отрывали от себя последнее. Выдержали всё, превозмогли непереносимое. Сколько же поклонов в благодарность надо отбить матерям-солдаткам?

«Маршал Жуков и зауральцы», «Жизнь, отданная Отечеству», «Шадринские были о солдатах»... В этих трёх книжечках собраны свидетельства земляков о встречах с прославленным полководцем, Маршалом Победы, как его называли современники, Георгием Константиновичем Жуковым. Оказывается, множеством нитей связано его имя с нашим краем, с нашими людьми. Воистину, мир тесен.

Тема Великой Отечественной войны не могла не отразиться и в произведениях устного народного творчества. Одним из первых собирателей этих произведений стал Владимир Павлович Бирюков. Кое-что из записанного им можно найти на страницах альманаха «На земле Курганской», издававшегося в пятидеся-



... от писателя-фронтовика Юрия Бондарева: «Школьному литературному музею села Каширино, дорогим моим учителям, к дорогим моим ученикам с чистосердечным пожеланием всех и всяческих удач в нашей не очень простой жизни. успехов вам и везения. Ваш (подпись). 29 августа 2006 года»

тые годы XX столетия. Тема эта не угасла до настоящего времени. Позднее появились оригинальные сборники фольклорных произведений, собранные другими исследователями. «Сорок пятого, девятого закончилась война», – сборник частушек фронта и тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., записанных в Курганской области. «За Советскую Родину, за родной огонь», – народные песни-переделки Великой Отечественной войны, записанные в нашем крае.

«Спустя полвека»... Народные рассказы времён Великой Отечественной войны. В сборник включены фольклорные рассказы, записанные в Зауралье в 70-80-е годы XX века. Рассказчики – бывшие фронтовики, труженики тыла и узники неволи.

Прежде чем назвать следующие экспонаты музея, процитирую строки из стихотворения фронтовика-поэта Анатолия Михайловича Козлова:

*Документы века – письма фронтовые,  
Протоколы жизни, бьющейся со злом,  
Выбить бы на камне строки их святые,  
Ввысь поднять над каждым городом, селом.*

Пусть не на камне, а на страницах книг отпечатаны письма фронтовиков, но и это уже прекрасно. Их могут читать потомки, они не затеряются в пыли времён.

«Ни в какой книге не прочтёшь», «Солдатский треугольник», «Пишу я Вам, живущим ныне», «Просмотрено военной цензурой», «Письма с фронта. Святое имя - Учитель»... Это всё названия сборников писем фронтовиков. В двух первых – от раз-



... от Маршала Советского Союза Ф.И. Голикова: «Учителю Дмитрию Андриановичу Белоусову на добрую память. С тов. приветом. 13.09.67. с. Колесниково».



ных адресатов, в следующих от конкретного лица. Какой же широчайшей души были они, рядовые и офицеры Великой Отечественной в своём большинстве! Всего лишь два отрывка из посланного Тимофеевым Иваном Анисимовичем родным в Усть-Суерку Белозерского района:

«...Вы даже представить себе не можете, что делают немцы с нашими городами и сёлами, с мирными жителями. При отступлении сжигают всё дотла, угоняют народ. А кто хоть слово против скажет, тех расстреливают. Жгут, вешают. Сколько я уже перевидал ихних злодеяний. Мы над каждым трупом наших граждан клянёмся отомстить сполна», – из письма от 16 января 1942 года.

«...Когда проходим разрушенные деревни, то если у меня есть хлеб, отдаю его ребятишкам. Некоторые остались без родителей. Жаль их», – из письма от 25 июля 1942 года.

Есть в нашей коллекции и оригиналы фронтовых писем. Интересным подарком пополнил коллекцию музея сын Почётного Гражданина села Ивана Павловича Погорелова Геннадий Иванович. Его альбом состоит не только из писем отца с фронта, но и из пояснений, что, где и когда происходило с войсковой частью, из которой шли письма. Даются пояснения жизни родного села, судьбы односельчан.

На многое раскрывают глаза письма фронтовиков. Всякое было, в том числе и по народной пословице «кому война, а кому и мать родна». Но преобладающее в действиях, помыслах абсолютного большинства – всё для Победы над врагом.

Автографы писателей-фронтовиков... Воистину бесценное наследие. Первым в нашей коллекции можно назвать дарствен-



*Музею села Каширино Кетовского района  
Курганской области.*

*Прошу принять мои книги на добрую память и в знак глубокого уважения самоотверженных тружеников.*

*Искренне вам желаю доброго здоровья и всяческих благ.*

*Генерал армии (подпись).*

*Февраль 2007 г.*

ную надпись на книге поэтов Вохменцева и Кутова – «Золотая Долина». Это далёкий от нас теперь 1950 год. Через 15 лет Яков Терентьевич Вохменцев станет одним из основателей Курганского отделения Союза писателей и его первым ответственным секретарём. Впереди – много замечательных книг, добрых дел. Яков Терентьевич искренне поддерживал начинание его друга и товарища, Дмитрия Андриановича, по созданию нашего литературного музея. Большинство наших писателей-фронтовиков оставили у нас свои автографы. И не только они. Мы также можем показать дарственную надпись на книгах Маршала Советского Союза Филиппа Ивановича Голикова, Героя Советского Союза, генерала армии Варенникова Валентина Ивановича, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии Бондарева Юрия Васильевича.

Свой автограф в виде письма оставил нам и мой отец Дмитрий Андрианович Белоус.

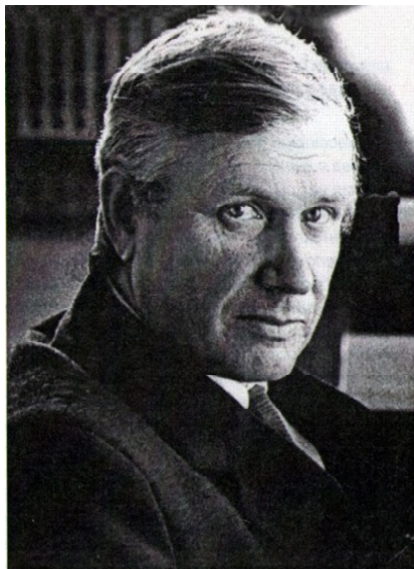
Всякий раз, праздники мы обязаны помнить. Сколько воистину всё в послевоенные годы ушли вместе с милл Родину.

Вечная им память!



ственной войне, а неё наш народ. вшие фронтовики тались за гранью, : благополучие, за

**АКСЁНОВ**  
**Николай Алексеевич**



**Сын участника войны**

Родился 18 декабря 1938 года в селе Митино Кетовского района в крестьянской семье. Автор сборника рассказов «Доброта», сборников стихов «Гармония души», «Колокола времен», «Детские откровения», «Солнечная радость». Печатался в журнале «Урал», альманахе «Тобол».

Работал разнорабочим в колхозе, учителем в школе, слесарем, заведующим мастерской, сельским клубом. Лауреат литературной премии губернатора области.

В Союз писателей России принят в 2005 году.



## НАСТУПИТ ДЕНЬ

Наступит день: в смятении нежданном  
Замрут сердца у всех людей страны –  
Простимся мы с последним ветераном  
Невиданной в истории войны.  
Они живут пока что с нами рядом,  
От испытаний немощны, седы,  
Они горды зеленым дачным садом  
И мало-мальской пенсией горды.  
Но горько им, прославленным солдатам,  
Чью молодость в огне сожгла война,  
Что только по большим военным датам  
Их вспоминает милая страна.  
Их годы, раны и болезни косят,  
Как острый серп июльские цветы.  
И незаметно ангелы уносят  
Святые души в темень высоты.  
Жизнь на земле короткая такая,  
Её никак не назовешь игрой.  
И в сердце боль меня не отпускает:  
Уйдет от нас последний наш герой.  
Нет всенародной памяти святее,  
Пусть будут наши помыслы чисты,  
Когда в слезах земля осиротеет,  
И вздрогнет мир от страшной пустоты.  
Не хочется с таким концом мириться,  
Не хочется слезой туманить взгляд,  
Пока поют в лесах российских птицы,  
Пока березы русские шумят.  
Но смерть найдет последнего солдата,  
Ему её никак не обмануть.  
И мы тройным салютом автоматов  
Проводим все его в последний путь.  
Но чтоб мы вечно память сохранили,  
О тех, кем славна русская земля,  
Хочу я, чтоб его похоронили  
В Москве, у стен спасенного Кремля.

## МОИ ВЕТЕРАНЫ

Сидят передо мной седые люди –  
Мы посадили их на первый ряд.  
Увешаны наградами их груди,  
И взгляды светом радости горят.  
Они сидят, забыв свою усталость,  
Свои болезни после бурь и гроз.  
И вижу я, как мало их осталось,  
И не могу сдержать невольных слез.  
Они ушли из дома молодыми  
И шли к своей свободе до конца  
Сквозь боль и кровь, в огне и смрадном дыме,  
Сквозь гром и град военного свинца.  
Была дорога страшно трудной, длинной,  
Полит был кровью русской каждый шаг  
От стен Москвы до самого Берлина,  
Где был повержен ненавистный враг.  
Когда в боях иссякла вражья сила,  
И отравился страшный гений зла,  
Тогда Победа их благословила  
На мирный труд, на добрые дела.  
Их труд во всем: в огне кипящих домен,  
В шипенье скважин, в шуме кораблей,  
В огнях поселков, тьме каменоломен  
И в необъятном шелесте полей.  
Они у нас, потомков, заслужили  
Делами уваженье и любовь,  
Они всю жизнь с великой верой жили,  
Что не напрасно проливали кровь.  
А в том, что ныне стало с гордой Русью,  
Не стариков позорная вина.  
И в городах, и даже в захолустье  
Их до сих пор находят ордена.  
Сложили деды руки на коленях,  
Сидят, сухие пальцы теребя,  
А я стихи читаю им со сцены  
И виноватым чувствую себя.

Я требовать сейчас имею право,  
Чтоб помнил мир об этих стариках,  
Чтоб не померкла воинская слава  
На всей Руси в народах и в веках.

## У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ

*«На братских могилах не ставят крестов,  
Но разве от этого легче?»*

*Владимир Высоцкий*

Сколько могил на просторах страны?  
Нет достоверного списка.  
Спят здесь герои гражданской войны,  
Спят под стрелой обелиска.

Нет им цветов, да и надписи нет –  
Сорвана в темные ночи.  
А под землей Революции цвет:  
Дети крестьян и рабочих,

Дети чиновников, дети дворян.  
Сколько их: сто или двести?  
Были убиты, погибли от ран  
И похоронены вместе.

А под землей их мечты и любовь,  
Жажда народной свободы.  
Красная Гвардия – Красная кровь,  
Трудные, горькие годы.

Ненависть, горечь, обида и злость,  
Резкая боль поражений.  
Белая Гвардия – белая кость,  
В пламени долгих сражений.

Там, где свои хороводы ведут  
Звезд золотых вереницы,

Ждут они все, что потомки придут  
Им до земли поклониться.

Белые, Красные – дети Земли:  
Всех Царь небесный рассудит.  
Нам-то зачем их сегодня делить?  
Все они русские люди.

Каждый был прав и был каждый не прав,  
Нам их делить неуместно.  
Спят они в шелковом шелесте трав,  
Долг свой, исполнивши честно.

Кто-то в Париже нашел свой покров,  
Кто-то на сельском погосте,  
Только у всех была красная кровь,  
Белыми были их кости.

На обелиске из жести звезда,  
Травка на холмике тесном.  
Спите, герои и будьте всегда  
Чтимыми в царстве небесном.

Что вам теперь человеческий суд,  
Если лежите вы вместе?  
Верится мне: вас потомки поймут  
И воздадут вам по чести.

## У ОБЕЛИСКА

*«Молчи, бессмысленный народ,  
Поденщик, раб нужды, забот»  
А.С. Пушкин*

Над обелиском в час заката  
Звезда врезается в зарю.  
Я, сын погибшего солдата,  
Тебе с тревогой говорю,

Мой безответный россиянин,  
Во всем утративший права,  
Что не в твоём, во вражьем стане  
Звучат победные слова.

На Украине внук Бандеры,  
Над правдой истинной глумясь,  
Тебя везде срамит без меры,  
Тебе в лицо бросает грязь.

По-братски принятый тобою,  
Прикрытый русичей щитом,  
Тебе грузин грозит войною,  
Победоносною притом.

Всегда по складу наготове  
В ораве слабых попинать,  
Тебя старается литовец  
В Литве унижить и прогнать.

Хуля твоих родных и близких,  
В своей столице, не в глуши,  
В мундирах, в свастиках фашистских  
Идут открыто латыши.

Ужель душа твоя не стонет,  
Не протестует от того,  
Что осквернил вчера эстонец  
Могилу деда твоего?

И наша власть играет в труса.  
Она другой избрала путь,  
Стараясь брата-белоруса  
Как можно дальше оттолкнуть.

Зло принимая равнодушно,  
Она бездарна и слаба.  
А что же ты молчишь послушно  
С тупой покорностью раба?



## В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Лежат в земле прославленные деды,  
Что одолели вражескую тьму.  
Придите к обелиску в День Победы  
И низко поклонитесь вы ему.

Пусть от удобных кресел и диванов  
Вас уведет небесная звезда.  
Не любит Бог непомнящих Иванов  
И не простит забвенья никогда.

Побудьте там весеннею порою,  
Вглядитесь в список тех имен и дат  
И помяните вы своих героев,  
Отцов и дедов – умерших солдат.

Постойте молча вы у обелиска,  
Не так, как перед глыбою литой.  
А снова поклонитесь низко-низко  
Их незабвенной памяти святой.

Растают в вашем добром сердце льдинки,  
И вырвется невольный тихий стон,  
И упадут прозрачные слезинки  
На серый отшлифованный бетон.

Соприкоснитесь с прошлым в настоящем,  
Все надписи прочтите, не спеша.  
И вас своим крылом животворящим  
Коснется их бессмертная душа.



**ОТСТОИМ МОСКВУ!**

**АНДРЕЕВА**  
**Любовь Харитоновна**



**Дочь участника войны**

Родилась 29 апреля 1942 года в селе Заложное Варгашинского района в крестьянской семье. Трудовую деятельность начала рабочей, ученицей токаря, бетонщицей. Работала руководителем кружка при Дворце культуры завода «Химмаш». Вся её общественная деятельность связана с газетой, радио: редактор радиовещания, заводской многотиражной газеты.

В 1972 году заочно закончила литературный институт им. Горького Союза писателей СССР. Автор поэтических сборников: «Подснежник», «Стриженое лето», «Полдень», «Наедине с рекой», «Птицы летящие». Постоянный автор в альманахе «Тобол».

В Союз писателей СССР принята в 1971 году.



## ПАМЯТЬ

Грохотала война где-то там, в Белоруссии.  
У разбитых машин, на лесных большаках,  
В гимнастерках простреленных парни безусые  
Закрывали глаза у сестриц на глазах.

А у нас в Зауралье было грибно и ягодно,  
В огородах спокойно картошка цвела.  
Но война из района неожиданно, негаданно  
К нам а деревню вперед почтальюна вошла.

Эту жуткую ночь ни старухи, ни женщины  
До сих пор не могли и не могут забыть.  
Они шили кисеты, а на сердце трещины –  
Разве можно какой-нибудь ниткой зашить!

А мужчины курили и хмурили брови,  
Горевали, что сено не успели сметать.  
Поутру избы крыши повязали по-вдовьи  
И одна из них стала похожа на мать.

## ОТЦУ

Искала твои следы  
В своей семилетней выдумке,  
В поле у лебеды,  
В лесу на заброшенной вырубке.

Отец, я не помню тебя.  
Но до сих пор не забыла,  
Как уверяла ребят.  
Что пуля тебя не убила.

Что ты самый смелый солдат,  
Смелей, чем у брата в книжке.

Вернешься и будешь катать  
Меня на правленском Рыжке.

Сегодня твоя родня  
На вечеринке спесивой.  
Как палкой, швырнула в меня:  
Отец твой был боязливый.

Молчу, а рюмки звенят.  
Тебя я так мало знаю.  
Но здесь не моя родня,  
Я среди них чужая.

Отец! Эти люди врут.  
Нахально врут, бессердечно,  
Я с ними на пять минут,  
А ты со мною – навечно.

\* \* \*

Я тихая, мне мама говорит,  
Что родилась я в тихую погоду  
На поле, возле дремлющих раки,  
Когда катилось солнышко к заходу.

Как будто знала, что идет война,  
Что мать моя хлебнет со мною лиха,  
Что Родине теперь не до меня,  
Я тихая и родилась без крика.

И умерла бы там, где родилась,  
Когда б телятница не откачала,  
И не узнала б никакая власть, –  
Была война, война бы все списала.

Я стала жить, как сверстники мои,  
Пила я квас из свекольных паренок,  
Делила хлеб с друзьями на паи  
И получала пенсию с пеленок.

Меня моя деревня берегла,  
Когда на пашню мама уходила.  
Она меня кормила, чем могла,  
И без отца, без бабушки растила.

Чужие бабки из чужих дворов,  
Они навеки стали мне родными.  
Поили молоком своих коров,  
Отхаживали травами лесными.

А сколько сказок было у меня!  
Теперь, когда я прошлое итожу, –  
Я понимаю, что моя родня  
И Родина моя одно и то же.



**АНИСИМОВА (Реутова)  
Ирина Ивановна**



**Племянница  
участника войны**

Родилась 11 августа 1951 года в городе Петухово Курганской области. В 1968 году закончила школу и поступила учиться в Уральский электротехнический институт инженеров железнодорожного транспорта. Но на третьем курсе тяжёлый недуг прервал её учёбу.

Литературным творчеством занимается с 1974 года. Автор поэтических сборников: «Иду к тебе», «Светотень», «Радость подарить». Её стихи в «Антологии глухих поэтов XX века», сборнике «Кастальский ключ», альманахе «Тобол». В последнее время выступает, как литературный критик. Живет в Петухово.

В Союз писателей России принята в 2002 году.



## БАБУШКЕ

Самого старшего сына война  
Навсегда от тебя увела.  
С тех пор ты единственной думой жила:  
«Навестить я Ивана должна!»

Бывало, расскажешь о нем.  
И наконец  
Школьную карту возьмешь:  
«Далеко ли будет от вас Топопец?», –  
Спросишь – и тихо вздохнешь.

Если зима наступала, к лету  
Ты собиралась в путь.  
Но, к сожаленью, тех сборов нету,  
Нет уж, их – не вернуть...

Горько вспомнить теперь об этом  
Приласкаться к тебе не смогла,  
Когда ты рассказ свой о сыне вела  
Или молча скорбила о нем.

Прости меня, бабушка!  
Что ж, молода...  
Я в Торопце непременно буду,  
И твой поклон ему передам,  
И горсть той земли привезти не забуду.



## БАБЕ ЛИПЕ

1

Как в яви – твой ковер,  
твоей задумки и твоей работы.  
Там солнышка палитра дружит  
с нежнейшим цветом  
утренней травы весенней.  
И раньше пряжа истончится,  
чем те цветы поблекнут...  
иные краски – нынче  
в твоих глазах...

2

Мы звали тебя  
Бабой Липой.  
А ты порой называла меня  
по имени мамы,  
то Катей, то Лизой,  
как младших своих дочерей,  
что встретили то лихолетье...  
Все длится взгляд твой  
через войну –  
старшему сыну вослед.

3

Как нам не хватает тебя,  
Баба Липа!..  
Все вижу тебя я  
в кофточке ситцевой полинялой.  
И льется с губ моих  
имя твое.  
И тихо-тихо в сознании  
клен шелестит,  
что рос под окном  
и ветвями тянулся  
на запад,  
где улицы было начало...  
Баба Липа...

\* \* \*

...А вдоль тропы шел запах травяной.  
О, этот незабвенный запах лета!..  
Мы только-только тронулись домой,  
Была я в платье легкое одета.  
И все силенки крепких детских ручек  
за бабушкину юбку уцепились:  
над нами вдруг, ворча, поплыли тучи  
и страшною грозой сойти грозились.  
И ветер вдруг совсем не горячо  
ударил нам в колени и в лицо,  
И бабушка свой теплый пиджачок  
сняла скорей – вот мне и пальтецо.  
И рассказала про своих детей:  
однажды мама с братом в лес пошли  
и пиджачок забыли. И нигде –  
как воротились после – не нашли.  
– Уж горевали!.. А в Иван Купалу  
приходим в церковь... Глядь – а он висит.  
А кто нашел – поди-ка расспроси.  
Самим-то, верно, горюшка хватало...  
И тихо-тихо с болью досказала:  
– Ах, Ваня, Ваня, Ванечка, сынок...  
Полынь стелилась горькая у ног,  
и капли первые седую пыль прибили...  
Я знала: дядю  
на войне убили...  
Давно уже я за себя в ответе,  
смелей мой взгляд и сдержанней слова.  
А там, в степи, –  
все тот же стылый ветер  
и та полынь – печальная трава...

\* \* \*

Дом, дерниной крытый,  
Дранкою обитый,  
Чисто побеленный.  
С чердака – окошко.  
Перед домом – клены,  
А за ними – картошка.  
В бочке плавал ковшик –  
Бок на солнце нежил.  
...То не черный коршун,  
Что без крови не жил, –  
Над полями с хлебом  
Враг ворвался в небо.  
Дядя скор на сборы,  
В сапоги обулся.  
«Сидор» взял, – мол, скоро  
Буду, – улыбнулся.  
...Вновь вернулись птицы,  
Снова зелен сад.  
Что же половицы  
Под дядей не скрипят?  
Дни летят – не лечат  
Никакие сроки.  
Пусть бы покалечен,  
Только б – на пороге!  
И, глядя в светло поле,  
Тот чердачный глаз  
Уж не прячет боли  
От повзрослевших нас.  
...Под солнышком ли добрым,  
В дождик ли, в бураны,  
Так и жил тот домик  
Со сквозною раной.



**БЕЙ НАСМЕРТЬ!**

**БЛЮМКИН**  
**Леонид Моисеевич**



**Сын участника войны**

Родился 4 декабря 1944 года в городе Кургане. Трудовую деятельность начинал бетонщиком «Курганпромстроя», работал рабочим на заводе колесных тягачей, инженером-технологом ремонтно-механического завода.

Закончил Курганский машиностроительный институт. С 1971 года его профессией стала журналистика. Работал редактором, комментатором Курганской гостелерадиокомпании.

Автор стихотворных сборников: «Времени виток», «Миг уходящий», «Всё земное», «Осенние костры».

В Союз писателей России принят в 1996 году.

В настоящее время живёт в Германии, сохранив своим творчеством право остаться на учете в нашей писательской организации.



## ЖЕНЩИНАМ-ФРОНТОВИЧКАМ

Ваши лики, словно солнце,  
согревали на войне.  
Как сегодня вам живется  
в позабытой тишине?  
Как вам дышится, как спится  
в дальних селах, в городах:  
Как вам нынче по больницам,  
с сумками в очередях?  
Снайперы и медсестрички,  
фронтowej лихой народ.  
Как вам утром в электричке  
по пути на огород?  
Вы во времени жестоком  
сквозь пространство с боем шли.  
Вам не очень одиноко  
на клочке родной земли?  
В ваших комнатах на стенах  
фотоснимки прошлых лет  
и веселых, и степенных,  
тех, кого на свете нет.  
Романтичные девчонки,  
на войне вам – черт не брат...  
Караул стоит почетный,  
молчаливый долгий взгляд.  
Вам шинель пришлась по росту,  
так уж было суждено.  
А ответы на вопросы  
все получены давно.  
Коль Отчизне в лихолетье  
вы сумели послужить,  
то теперь – приказ последний:  
надо выжить, надо жить!

\* \* \*

Лежит на койке госпитальной  
Старик восьмидесятилетний,  
Вся жизнь, как в записи скрижальной  
В лице морщинистом и бледном.

Глядит недвижно древним оком,  
не помня сам, когда родился.  
И кажется война далекой  
почти что битвой Бородинской.

Лежит на койке госпитальной  
солдат восьмидесятилетний.  
Свидетель жуткой бойни давней,  
но, к сожаленью, не последней.

В кровати, как на поле минном,  
пижаму в кулаке сжимая,  
он по весне простившись с миром,  
живет до будущего мая.

Лежит на койке госпитальной  
боец восьмидесятилетний.  
Как в юности сентиментальной,  
он снова в час исповедальный  
готов к Победе или к смерти.

ОТЕЦ

Телевизор марки «Рассвет» –  
35 по диагонали.  
Сколько лет прошло, сколько лет.  
Мы давно его доконали.

Был отец и такому рад.  
Он в экран смотрел, не мигая.

Там военный шагал парад,  
как пора его боевая.  
Плохо видел и слышал он.  
Переспрашивал непрестанно:  
«Кто проходит? Какой батальон?  
Артиллерия или танки?»

Он комбатом в войну служил.  
Непарадные знал походы,  
и смертельные рубежи  
сотоварищи брал в пехоте.

У экрана вблизи сидел,  
разбирая смутные знаки.  
Неподвижно на них глядел,  
забывался и тихо плакал.

Много лет прошло, много лет.  
Телевизор мы доконали...  
А на памятнике портрет –  
строй наград по диагонали.

#### УЧИТЕЛЬ

Разгильдяи, пираты,  
смущенно стихали мы вмиг:  
в класс входил литератор,  
не старый еще фронтовик.

Двухметрового роста,  
а может, казался большим,  
он как будто бы грозно  
смотрел, как мы нервно молчим.

И в протяжной минуте,  
ловя настороженный шум,  
выговаривал: «Нуте-с,  
кого я к доске попрошу?»



Разве дело в ответе,  
хорош ли он или он плох,  
если в огненном ветре  
учитель дал первый урок.

Если в нашем девятом  
читал нам стихи про войну,  
затуманенным взглядом  
отворачиваясь к окну,

Если наши проказы  
терпеливо пережидал,  
но как резким приказом,  
вдруг словом до слёз обжигал,

Рваным почерком быстро  
писал на шершавой доске.  
Мел крошился на искры  
в беспалом его кулаке.

Мысль высказывал четко,  
замедлив размеренный шаг.  
И светились колодки,  
и сыпался мел на пиджак...

#### ДУХОВЫЕ ОРКЕСТРЫ

Люблю духовые оркестры,  
их яркую, звонкую медь.  
И нынче сурово и честно  
они продолжают греметь.

А впрочем, не в громкости дело.  
Едва заиграет труба,  
как в сердце печально и смело  
врывается чья-то судьба.

Как только ударят литавры,  
и звукам вдруг станет тесней,

я где-то, забывшись, летаю,  
как в детстве летаю во сне,

Как только внушительный голос  
подаст геликон по ладам –  
и музыка сразу уносит  
к далеким и строгим годам.

Туда, где тачанки и танки,  
и неба не видно окрест.  
И грустно играет «Славянку»  
сколоченный наспех оркестр.

А вдовы томятся и плачут  
на станциях встреч и разлук.  
И дует, усердствуя, мальчик  
в холодный и жесткий мундштук.

Оркестр, к тишине не привычный,  
оркестр скорбей и знамен  
призывно звучит и трагично  
на сложных распутьях времен.

Он с нами, где взлет и отвага,  
он с нами у красного стяга.  
Он с нами и с горькой толпой  
идет до последнего шага  
уже за предельной чертой.

**ВЕРХНЕВА**  
**Лариса Анатольевна**



**Внучка участника войны**

Родилась 27 марта 1962 года в городе Ташкенте. Закончила филологический факультет Ташкенского госуниверситета. В 1992 году переехала на жительство в село Светлый Дол Белозерского района. Работала учителем русского языка.

В 2000 году создала районное творческое объединение «Муза» и стала его председателем.

Регулярно печатает стихи в районной, областных газетах, альманахе «Тобол». Автор поэтических сборников «Певницей бескрайней ночи...», «Рассказать хочу...», «Родного очага благословенье».

В Союз писателей России принята в 2001 году.



## РОДОСЛОВНЫЕ

Помнит о подвигах ратных Россия,  
Свято чтит память великих сынов,  
Тех, кого нежно, с любовью взрастила,  
Жизнь кто отдать за нее был готов.

Воины Невского знали победы,  
Дмитрий Донской стал грозой для Орды...  
Если на Родину сыпались беды,  
Враг недалеко был и сам от беды.

Петр Великий, Суворов, Кутузов –  
Громкими стали в веках имена.  
Подвигов ратных бесстрашнейших руссов  
Массу познала любая война.

На рубеже двух великих столетий,  
Мы – поколение старших времен,  
Славных героев и внуки, и дети –  
Носим в сердцах цвет победных знамен.

Битвы Отечественной, без сомнений,  
Кровью пульсируют в каждом из нас –  
В память грядущих земных поколений  
Пишем историю здесь и сейчас.

Памяти книги, фамилии, даты  
Нам предоставит не только музей.  
В каждой семье похоронки, награды,  
Письма хранятся – отнюдь не князей –

Тех, кто и жизнью, и кровью немалой  
Нас защитил, наши мирные сны.  
Мы родословные чаще, пожалуй,  
Гордо ведем от героев войны.

## ОБЕЛИСКИ

И снова войны годовщина  
Победным салютом гремит.  
Слезу утирают мужчины,  
Душа и поет, и болит.

Великое знамя Победы,  
Как кровь миллионов бойцов,  
Трепещет волнующим цветом  
В глазах потерявших отцов.

Эпоха та страшная снова  
Из памяти льет все свежей,  
Но знают солдатские вдовы:  
Война не вернет им мужей.

Для правнуков же День Победы –  
Лишь экскурс в семейный альбом,  
Где рады и молоды деды.  
А что же случилось потом,

Поведает бабушка внукам,  
Держа фотографии гладь,  
Рассказ будет первой наукой,  
Как надо страну защищать.

Чтоб с миром входили рассветы  
В дома городов, деревень,  
Салютом гремит День Победы,  
Бедой не стареющий день.

Каким бы российским селеньем  
Ни вел меня солнечный диск,  
Повсюду застывшим мгновеньем  
Сверкал небольшой обелиск

Под сенью зеленой прохлады  
Иль в жарких небесных лучах –  
Земле дорогою наградой,  
Врученный за доблесть в боях.

И жесткая правильность граней,  
И строгий порядок имен...  
Поток самых разных мечтаний  
Войною в века унесен.

Погибли отец и три сына  
На разных военных фронтах,  
Однако семьей единой  
Остались в родимых местах.

И имя отца повторяя,  
Фамилии трех сыновей  
Глядятobeliskовой стаей  
Вслед клину живых журавлей.

Но вновь салютует Победа  
Веселой весенней грозой  
Разрядов мелькающим светом  
И тучи небесной слезой.

А вотobelisk породнее,  
Он в нашем воздвигнут селе.  
Здесь ели вокруг зеленеют  
И звезды стремятся к земле.

Вглубь пышного школьного сада  
Дорожки упрямо бегут  
От простенькой редкой ограды  
И сходятся вежливо тут,

Где много знакомых фамилий  
Написано черной войной.  
В селе их носившие жили,  
Мечтали под полной луной,

Любили мам, жен и девчонок,  
Вернуться давали обет...  
Вернулись в листках похоронок,  
Затмив ими солнечный свет.

В порядке посмертного списка  
Застыли навек земляки  
На гранях стальных обелиска,  
В суровой линейке строки.

Вокруг полыхает Победа  
В невиданной россыпи звезд,  
И тихо вздыхает планета,  
Впитавшая множество слез.

Всеобщей минутой молчания  
Гуляет по душам война,  
Взгляд, полный тоски, и рыдания  
Вновь в людях рождает она.

Но залпы победных орудий  
Сердцам возвращают уют.  
Салютом любят люди,  
Любуется ими салют.

И пусть беспокойное время  
Летит без заминок вперед,  
Гордиться страна будет теми,  
Кому воевать за народ

Нелегкая выпала доля,  
Кого жег военный кошмар  
И, съев злополучный пуд соли,  
Кто мир принес Родине в дар.

Не видели нас наши деды,  
Исчезли в дорожной пыли  
И в день долгожданной Победы  
Живыми навеки ушли.

Высоким торжественным словом  
Мы чтим память павших не зря,  
Не зря в небе снова и снова  
Сияет салюта заря.

И вот над стальным обелиском  
Стал ветер дыханьем ночным,  
В поклоне склоняются низко  
Российские звезды пред ним.

Шум дня до утра отодвинув,  
Гуляет вокруг тишина;  
На землю лучи свои скинув,  
Торжественно светит луна.

Сплошную огромную тенью  
Волнуется ласково сад.  
Божественным славным творением  
Глубины вселенной молчат.

Все дышит любовью и благом  
В весенней прозрачной тиши,  
Под пленкою лунного лака  
Родные места хороши.

Ночной красотой укрытый,  
Хранит обелиск имена  
Героев родных, не забытых.  
Их всех поглотила война.

Стоят обелиски по селам –  
Дань памяти русских людей  
О времени прошлом, тяжелом  
О горе военных путей.



## ПИСЬМО НА ВОЙНУ

Пишу я на войну из девяностых  
Тебе, мой незнакомый милый дед.  
Наверно, было небо в тех же звездах  
И, как сегодня, спел тогда рассвет,  
Когда война внесла в свой черный список  
Твое средь множества других имен.  
И стал конец пути ужасно близок –  
Не передать уже семье поклон.  
Ты еще верил в чудо возвращения  
На свою родину – в далекую Сибирь,  
Где ты гулял под облачную тенью,  
Дарил любимой летней ночи ширь.  
Но в январе под небом Украины  
Настигла смерть тебя, в единый миг  
У ребятни – отца, у мамы – сына  
И у тебя отняв предсмертный крик.  
Забрав с собой часы воспоминаний,  
Ты, внукам подарив спокойный сон,  
Им не успел оставить завещаний,  
Носить созвучия каких имен.  
И в детстве я завидовала тайно  
Той девочке, чей дед пришел с войны,  
Хотя тобой гордилась чрезвычайно  
И о войне смотрела часто сны.  
Но в них ты не пришел ко мне ни разу  
А я росла и знала назубок  
Тех лет сороковых событий массу –  
Ведь это ты мне преподал урок.  
Я сына назвала души велением,  
Без долгих размышлений, в твою честь.  
Теперь могу сказать я без сомнения:  
Ты в жизни моей был и нынче есть.

**УРАЛ**



**ФРОНТУ**

**ВЕСЕЛОВ**  
**Вячеслав Владимирович**  
(22.11.1937 – 25.02.2003)



**Сын участника войны**

Родился 22 ноября 1937 года в селе Сараса Алтайского края. Трудовую деятельность начал в городе Кургане токарем-карусельщиком. После армии поступил в Ленинградский государственный университет им. Жданова, филологический факультет. С 1964 года профессионально занимался журналистикой. Заведовал литературной частью Курганского областного театра, редактор Курганского отделения Южно-Уральского книжного издательства.

Автор книг прозы: «Чья-то судьба», «Футбол на снегу», «Угол опережения», «Путешествие», «Записки отличника», «Дом и дорога».

В Союз писателей СССР принят в 1985 году.



## МАЛЕНЬКАЯ ВОЙНА ШТУРМАНА СТОГОВА

(отрывок из повести)

До запуска моторов оставалось четверть часа. Навроцкий с непокрытой головой (шлемофон он держал в руке), в хорошо пригнанной летной одежде, разгуливал по стоянке и с рассеянной улыбкой слушал Преснецова. Тот курил, что-то весело рассказывал. До меня долетали обрывки фраз:

– ... нет, нет... а-а... вернусь, сделаю...

«Вернусь!». Он, видать, забыл, куда мы идем. К черту же на рога лезем! Я не думал об этом перед первым вылетом, но теперь знал, что нас ждет. Страшно было подумать! А они смеялись – такие молодые, такие живые... Я все не мог настроиться на полет, в голову лезла разная ерунда. Вдруг вспомнил, как Навроцкий стирал носовые платки, как Преснецов раскладывал на подоконнике папиросы для просушки. Эти мелочи, казалось, потеряли для нас всякое значение. Но их-то я и вспомнил, словно табак и постирушки привязывали нас к жизни: «Вернусь, сделаю...».

Штурман на флагманской машине открыл астролук, поднял над головой ракетницу и выстрелил.

Пора было занимать места.

Я поднялся к себе, затащил трап и закрыл створки люка. Все. Теперь на семь часов эта клетушка станет моим домом. Протер фланелью плексигласовые стены светелки (остекленную штурманскую кабину одни у нас называли «светелкой», другие - «моссельпромом»), достал карандаш, навигационную линейку, карту. Моя бортовая карта была в порядке: расстояние, расчетное время, магнитный курс записаны, линия маршрута проложена, контрольные ориентиры обведены кружками.

Грехов запустил двигатели. Рядом на малом газу стреляла машина Преснецова. Я натянул шлем, не глядя, нашел гнездо внутреннего телефона.

– Проверить пулеметы.

Я поднял ствол к горизонту и нажал на спуск. Острые вспышки трассирующих пуль растаяли в сумерках.

Грехов спустил машину с тормозов, она качнулась, и мы по-

катили на старт.

Механики потянулись со стоянки. Они разговаривали на ходу и, верно, уже забыли о нас. Меня это вдруг задело.

А вокруг мигали бортовые огни самолетов, которые выруливали из леска и со стороны хуторских построек: группа подтягивалась на старт.

Раздался скрежет тормозов, меня резко толкнуло вперед: мимо нас рулил флагманский самолет. Следом катила машина Рытова. Летчик смотрел строго перед собой, а штурман на нас. Я помахал лейтенанту Кахидзе рукой. Он улыбнулся и показал большим пальцем на запад: встретимся над Берлином.

Переваливаясь с крыла на крыло, самолет начал разбег. Громко стучали стойки шасси. Я всегда жалел машину, когда слышал этот грубый стук. Ревели на полную мощность моторы, скорость росла, нос машины по короткой дуге плавно пошел вниз, хвост поднялся, и теперь моя кабина летела параллельно земле.

Легкий толчок. Самолет оторвался от взлетной полосы, на миг завис над землей и медленно пошел в небо.

Ушли под крыло хуторские постройки, мелькнул и пропал тусклый свет в окне старого Михксля. Старик, наверное, дожидался дочерей, сидят под висячей лампой, ужинают... Мне вдруг захотелось на землю, в тепло.

Грехов сделал энергичный разворот и быстро нагнал машину Рытова. В зеленоватом свете кабин лиц, конечно, не разглядеть, но я узнал рытовский самолет по бортовому номеру. Мы пристроились в левый пеленг. Справа и чуть ниже нас летел Преснецов.

После сбора группа легла на заданный курс и пошла с набором высоты. Я хорошо видел языки пламени из выхлопных патрубков.

Земля по левому борту быстро погружалась во тьму, море наливалось чернильной густотой. А здесь у нас плавали розоватые облака, на них догорали последние закатные лучи. Грехов хорошо выдерживал курс. Картушка моего компаса мягко ходила слева направо на один-два градуса. Мы шли, все дальше зарываясь в холодную мглу. Скоро облака остались под нами, сверху было только белесое, неживое небо, а на горизонте закат - застывший, холодный, недобрый. Я бросил взгляд на вари-

ометр: мы продолжали набирать высоту.

Стрелка компаса неожиданно поползла вправо.

– Командир, курс! Мы отклоняемся.

Грехов не ответил, но стрелка тронулась влево. Ага, проснулся! Налегает на колонку управления, ворочает штурвалом, нажимает на педали.

Мы встали на курс. Я заглянул в пилотскую кабину. Грехов сидел неподвижно, на его лице играли отсветы приборных ламп.

– Командир, – позвал Грехова стрелок, – я отсырел.

– Потерпи, Ваня, немец тебя выжмет.

Мы перевалили 4000 метров и надели кислородные маски. Мерзли ноги. Следовало бы немного размяться, но мне не хотелось шевелиться. Голова была тяжелой, тянуло в сон. Я склонился над картой: линии двоились... Неожиданно я почувствовал тошноту, глаза залило холодным потом. Хотел вытереть лицо, но руки меня не слушались: они были тяжелые, будто чужие. Я проверил кислородное оборудование. Кран баллона был открыт полностью, но я дышал как загнанная лошадь.

В кабине было тридцать шесть градусов ниже нуля, окоченевшие пальцы с трудом удерживали навигационную линейку. Ноги мерзли все сильнее. Недотепа, опять надел новые носки. Они были мне тесноваты. Хотел их выбросить, но вот надел. Карандаш выскользнул из руки, попрыгал по столу и упал. Я не стал его искать, сдвинул колени, снял перчатки и засунул руки в унты.

Вдруг машина из головной группы, которая летела чуть левее и выше нас, клюнула носом и посыпалась к земле. Кто это? Лазарев? Дробот? Неужели потерял сознание? На миг самолет пропал из виду, потом я увидел выхлопы, моторы заработали, машина полезла вверх.

– Командир, как дела?

– Ни черта не вижу. Перед глазами красные круги.

– Это кислород. Надо снижаться.

Грехов убрал газ, отдал штурвал. Мы потеряли полторы тысячи метров, но дышать стало немного легче. Зато тут же наши кабины стала затягивать противная морось, стекла покрылись каплями воды. Небо было зашторено многослойными облаками. Впереди бушевала гроза. Меня охватила злость на синоптика, словно он все это устроил. Слева и справа от нас вспыхива-

ли молнии. Болтанка таскала груженный бомбами самолет из стороны в сторону: то мягко толкала вверх, то с силой тащила к земле.

– Командир, возьми мористее. Мы лезем прямо на наковальню.

Стрелки приборов бешено крутились.

– Высота! – крикнул радист. – Мы падаем!

– Спокойно, Маркони! Я на месте. – Голос у Грехова был почти веселый. – Вывожу.

Впереди по курсу я ничего не видел. А мне предстояло вывести машину на контрольный ориентир. Правда, скоро в облаках появились разрывы.

– Командир, надо набрать еще тысячу метров.

– Не валяй дурака, Паша! Я еле ворочаю штурвалом.

– Надо, командир.

– Не могу, штурман... Я устал.

Грехов все-таки набрал эту тысьонку. На высоте сильный ветер безобразно таскал машину. Она скрипела всеми узлами, то проваливалась, то уходила вверх. И вдруг облачность растащило. Я увидел звезды.

– Проходим остров Борнхольм. Разворот на юг.

Все было в порядке. Мы шли заданным курсом и выдерживали расчетное время.

– На траверзе порт Кольберг.

Мы пересекли береговую черту. Облаков стало еще меньше, над нами ярко горели звезды. И тут подал голос радист:

– Командир!

После долгой паузы Грехов спросил:

– Ну, что там у тебя?

– Это звезда, командир, – сказал радист виновато. – Думал, истребитель...

Когда на развороте звезда вдруг сорвалась с места и полетела на машину, я тоже, признаться, принял ее за прожектор истребителя. Я представил тесный радиоотсек, окоченевшего от холода Рябцева и неожиданно испытал к нему нежность, хотя откровенно говоря; никогда особенно не любил нашего радиста.

Немецкие широкоэвещательные станции наяривали марши. Я настроил радиополукомпас на одну из них: стрелка устойчиво

показывала курс. Хорошо немец работал, и мой РПК вел себя отлично.

После Кольберга я сделал промер ветра. Выключил освещение, лег на пол своей светелки и начал искать знакомые по карте ориентиры. Под нами, на самом дне ночи, проплывали одинокие огоньки. Я поймал на курсовой черте точку и снял угол сноса. Потом рассчитал направление и скорость ветра. Когда я записывал путевую скорость, у меня сломался карандаш.

– Штурман, – услышал я голос Грехова. – Мои компаса барахлят.

– Спокойно, мой работает.

Я стащил с ног меховые чулки и обложил ими котелок компаса: погрееется.

– Сколько до Берлина?

– Подходим к Штеттину. До цели тридцать минут.

Вокруг нас уже набухали черные шапки разрывов. Но я обрадовался: мы точно вышли на Штеттин.

– Дает прикурить фашист! – подал голос стрелок.

После Штеттина мы шли в сплошных разрывах, машина вздрагивала и качалась до самых пригородов Берлина. Небо подпирали дымные столбы прожекторов. Слева и справа по курсу проносились желтые фары истребителей. Одна пара прошла совсем рядом пересекающимся курсом.

– Огня не открывать, – произнес Грехов вполголоса, точно немцы могли его услышать.

Я уточнил путевую скорость и установил на прицеле угол сноса. Голова у меня раскалывалась от боли, в ушах стоял звон. Проклятый кислород!

Флагман резко качнул с крыла на крыло: «Приготовиться к бомбометанию!». Группа рассредоточилась: одни пошли на Шпандау, другие – на Лихтенберг. Сильный встречный ветер относил гул наших двигателей.

Берлин лежал во тьме, но его контуры просматривались довольно хорошо. Кое-где искрились дуги трамваев, слабый свет сочился из каких-то щелей, ну а уж нашу-то цель – металлургический завод – и вовсе трудно было спрятать.

Прямо по курсу ветер таскал колбасу аэростата. Я убрал карту и приник к окуляру прицела:



– На боевом!

– Засек.

– Теперь ни градуса в сторону! Сетка прицела медленно надвигалась на цель. Стрелки приборов застыли, и лишь одна, тонко подрагивая, бежала по циферблату секундомера.

Машина дрогнула, раздался сухой хлопок – открылись створки люка.

– Сброс!

Я по привычке задержал дыхание, большим пальцем утопил боевую кнопку и тотчас почувствовал мягкие толчки – бомбы пошли на цель.

– Паша, поддай немцу огонька!

После первых разрывов ночь раскололась, ярко-желтый сноп света ударил по глазам. Застучали зенитки. Огонь был настолько плотным, что дым разрывов не успевал рассеиваться. Машину швыряло из стороны в сторону, в кабину било едким запахом взрывчатки. Рядом ходили качающиеся столбы прожекторов, вспыхивали и гасли «бусы» - огненные россыпи трассирующих снарядов.

– Японский городской! – крикнул Грехов. – Ну и фейерверк!

Он резко бросил машину на крыло и принялся таскать ее из стороны в сторону. Это был противозенитный маневр: несколько секунд прямо, поворот влево, короткая прямая, поворот вправо. Вот такой змейкой, теряя высоту, мы уходили на северо-восток. На траверзе Мемеля самолет начал «плавать». Я понял, что пальцы у Грехова немеют, он терял штурвал.

– Командир!

Грехов ответил после долгого молчания:

– В чем дело?

– Так... Все в порядке.

Не мог я предложить ему свою помощь – вот в чем штука! Он все равно бы отказался. Но, видать, этот гнилой кислород и Грехова измотал. После пролета Мемеля командир приказал мне взять управление на себя.

Я вставил в гнездо ручку дублирующего управления и повел машину домой. У меня и сейчас еще плечи начинают болеть от одного воспоминания об этом полете. Ил-4 - капризная машина: чуть расслабился, она начинает рыскать, задирает нос или заваливается в крен. Чтобы выдержать заданный режим поле-

та, приходится непрерывно ворочать штурвалом.

Незаметно наступил рассвет. Я выключил подсветку приборов. Остров был затянут жидким туманом, но он быстро таял под ветром. На холодном рассветном небе черной иглой торчала кирха

13

– Командир, – спросил механик, – как над Берлином?

– Неважно... Неважно над Берлином.

Механик присел под плоскостью.

– Хорошо вас обделали.

Нижняя обшивка крыла была разорвана в нескольких местах.

– А я все думал, чего это оно посвистывает, – весело сказал Грехов.

Он распустил «молнию» на комбинезоне, хотел снять шлем, но неожиданно сел на землю.

– Чёртов кислород! Горло дерет и голова дурная... А как ты, Ваня?

– Я тоже малость не в себе.

Глаза у стрелка слезились. Грехов стащил с головы шлем.

– Ребята, не спать. Сейчас начальство приедет. Вон кто-то уже пылит.

Ему не ответили. Штурман дремал, прислонившись к колесу. Рябцев сидел рядом, уронив голову на грудь, и что-то мычал во сне. Стрелок отошел от самолета, упал лицом в траву и мгновенно заснул. Через минуту Шинкаренко перевернулся, поскреб щеку. Спал он по-детски, с широко раскрытым ртом.

Сорокапятилетний оружейник старшина Соломон Гуйтер молча разглядывал спящий экипаж. Возле него, повизгивая, вертелась трехлапая собачонка, но он ее не замечал.

### *Рассказывает Стогов*

После завтрака я побрел к своему земляку Паше Рассохину забрать часы, которые он отремонтировал, но забыл перед вылетом отдать («Прости, штурман, запамятовал!»). Шел я по коридору и думал про умельца Пашу. Вот это-то и дико: помнил, что часы надо взять, а то, что не вернулись они, что нет их больше

– ни Рытова, ни Паши, как-то еще не доходило...

В комнате у них был порядок. Само собой! Беспорядка Рытов бы не потерпел.

Часы я сразу заметил: они лежали на подоконнике. Рядом стояла открытая тумбочка, набитая пачками «Казбека». Рытовская, скорее всего. Он был заядлым курильщиком.

Над кроватью штурмана Кахидзе висел портрет Багратиона. Я как-то спросил у него: «Земляк?» Кахидзе отложил книгу и улыбнулся. Хорошая была у него улыбка! «Нет, князь родом из Кизляра. Сержант Астемиров ему земляк». Та книжка валялась поверх одеяла. Я полистал ее. Это была грузинская книжка, написанная не по-нашему, черными такими червячками.

На подушке у стрелка лежало открытое письмо – листок из ученической тетради в косую линейку. Наверное, Колышкин читал его перед вылетом.

«Дорогой сыночек Гришенька! Кровиночка моя! Где ты сейчас и что с тобой? Я не сплю ночами и все думаю о тебе. И все плачу. А сон увижу худой, и сердце ноет. Видать, и тебе плохо, сынок? Трудно? Тяжело? Я уже стала забывать твое лицо. Как мне хочется увидеть тебя! Кончайте войну, и приезжай домой. Мы с Нюрой ждем тебя. Мне с ней не так одиноко, она мне как дочь. Мать у Нюры умерла, а брата убило на фронте. Нюра сильно хворала, а теперь, слава богу, поправилась. Тебя помнит и шлет тебе привет. А я, Гришенька, еще работаю и все успеваю. Только вот ногами стала маяться. Храни тебя господь, сынок! Возвращайся живым до дому».

Об экипаже Рытова немного было известно. Радист капитана Дробота рассказывал, что видел большой взрыв в воздухе «Мы чуть не опрокинулись от взрывной волны!». По времени и месту там должен был находиться самолет Рытова.

Я оглянулся на пороге. Комната показалась мне незнакомой. Я забыл, зачем приходил сюда.

14

Сергей Лазарев все чаще стал замечать, что чувство опасности делается для него привычным. Длительные ночные полеты выматывали, волнение и страх тонули в усталости. Теперь он не испытывал не только страха, но забывал даже обычное вол-

нение пред целью – работал. То не была тупая привычка. Всякий раз, как только штурман бросал: «На боевом!» – с ним происходило уже знакомое, но прежнего подъема не было.

Что-то медленно умирало в нем, он становился другим и не узнавал себя. В войне он видел теперь только работу: следил за подвеской бомб, беззлобно ругался с механиком, проверял кислород, подгонял ремни, поднимал в воздух машину... Ничего больше и не было, лишь работа и привычное горе, привычная тоска на душе от потерь. Смерть вошла в обиход. Живой человек улетал и не возвращался. Не увидишь больше никогда, не переговоришь... был – и нет.

А душа убывала, леденела... Ничего, кажется, в ней не осталось, кроме самых простых чувств – боли, ненависти. Ненависть все больше вымораживала душу, лишь где-то на самом дне ее жила уже не смертельная тоска, а тихая печаль и горькая нежность к тем, кто не вернулся.

И тогда он вдруг начинал вспоминать детство, теплый, летний город, свою юность, жену, дочь. Он тянулся к этим воспоминаниям, точно искал у них защиты.

Студентом Лазарев много читал, читал, не помышляя о критике, но однажды заметил, что пристально и ревниво приглядывается к биографиям писателей. Он боялся думать, как однажды, быть может, и сам что-то напишет. Он понимал: из одного только желания и готовности писать мало что может получиться, оттого робел и не верил себе. Для курсовой работы он выбрал тему «Воображение и память». Руководитель семинара улыбнулся: мол, это труд для целого академического института. Думая о так и ненаписанной курсовой, вспоминая недавнее прошлое, Лазарев обнаруживал в себе неожиданную остроту памяти, способность восстанавливать не только исчезнувшие картины, запахи, цвета, звуки, но и самое ощущение – волнение, озноб, радость. Минувшее оживало, память тащила из прошлого полузабытые картины, заветные мелочи... Здесь, на острове, на аэродроме, в пилотской кабине, он вдруг ощущал слабый жар детской щеки, шероховатость дедовского верстака, запах отцовского самосвала, слышал тихое дыхание жены, чувствовал сладость ее сонных губ...

Он держался воспоминаний, чтобы не умереть душой, заново

открывал медленное течение реки и точно впервые переживал запах тины, тяжесть весел... Лодка скользила в черной воде, над рекой поднимался парной туман, мерцали в тумане огоньки, вдалеке была слышна песня. Он испытывал радость от этого узнавания, хотя вспоминал какие-то мелочи – теплое золото куполов в утренней дымке, зеленый двор, белье на веревке, тенистый переулок, дождь в листве... Другая, мирная, исчезнувшая жизнь. Утрата! Оттого и грусть, и боль, которой он не знал раньше.

... Это был яростный летний ливень – молодой, ликующий, с каким-то радостным напором, с оглушительным громом и треском, со слепящим светом молний. После кино они с женой переждали дождь под старинными воротами. В глубине их еще держался теплый запах пыли и прогретого за день камня, а с улицы тянуло озонной свежестью, кипели под ветром деревья, мигали в листве фонари. Ливень кончился разом: не стихнул – оборвался, и они услышали, как по горбатой мостовой со звоном несутся ручьи.

Они вышли. Блестели под фонарями вымытые камни мостовой, ласково блестела листва, на черном асфальте площади роились огни.

Они забрели в яру освещенный магазин и оказались там единственными покупателями в этот поздний час. Продавщицы смотрели на них из-за прилавков. Им ничего не было нужно, но он неожиданно остановился перед зеркальной витриной с рядами пестрых бутылок. И жена, никогда не любившая вина, закусок, застолий, вдруг сказала: «Возьмем вина?».

Оба они были никудашными пьяницами, и он не знал, что делать с большой и нарядной бутылкой крымского вина. Жена принесла от соседей спящую дочку, уложила ее, вернулась. Он все так же стоял посреди комнаты, и жена сказала: «Что же ты?».

Лазарев достал бокалы, разлил вино. Они сидели рядом, говорили шепотом. Внезапно он замолчал и, смущаясь и робея, словно она была его невестой, осторожно поцеловал жену и почувствовал, как дрогнули ее губы и как она замерла в его руках...

Спал он недолго и проснулся с тем же ощущением острого счастья, с каким прожил дни короткого отпуска. Ему пора было уезжать, но не было тоски, которая всегда накатывала на него перед

отъездом: жена с дочкой должны были через месяц приехать к нему.

Стараясь не шуметь, Лазарев поднялся, прошел на кухню и открыл окно. Под утренним ветром лепетала листва. Неслышно подошла жена: «Почему ты не спишь?». Она стояла в халатике, розовая со сна, теплая. Вздохнув, жена закрыла глаза и тихо прижалась к нему.

Он поцеловал спящую дочку, обнял жену. Она улыбалась, уже одетая, в прохладной кофточке, довольная, что успела приготовить ему завтрак.

Бодрый и радостный, в отутуженной форме, Лазарев расхаживал по утреннему вагону. За окном бежала свежая зелень, солнце быстро поднималось, приветливый проводник в белой тужурке разносил чай.

... А через несколько дней под Двинском лейтенант Лазарев, задыхаясь от едкого дыма в кабине, пытался удержать на курсе тяжелую машину, которая уже не слушалась рулей.

### *Рассказывает Стогов*

После второго полета на Берлин в отряде стряслась история, в которой я не сразу разобрался. Да и после, через много лет, когда прочитал о ней в записках бывшего наркома ВМФ, тоже, честно сказать, мало что понял. Ну, а в те августовские дни история эта и вовсе казалась несуразицей, каким-то тоскливым бредом.

Мы сидели в классной комнате. После разбора полета нам сообщили, что высокое командование выразило пожелание, чтобы удары по Берлину были более мощными. Мы и сами этого хотели. Потому все молчали: о чем было толковать. Но оказалось, это были не просто пожелания, а приказ. Вот в чем штука! То есть были даны конкретные указания: брать в полет не «сотки» и не «двухсотпятидесятки», а бомбы крупного калибра - ФАБ-500 и ФАБ-1000.

– Да что они там! – у Грехова заходили скулы. – Я с ФАБ-250 и пятью «сотками» едва через изгородь переваливаю.

– Меня не надо убеждать, – мрачно сказал командир полка.

Мать честная, да кто его убеждал! Известно, что Ил-4 может нести на внешней подвеске крупнокалиберные бомбы. Будь на

наших машинах новые моторы, взлетай мы с бетонки – тогда о чем разговор! Но здесь и последнему мотористу все было яснее ясного: изношенные двигатели, короткая грунтовая полоса...

– Сегодня же проведем совещание с инженерно-техническим составом...

Командир полка по-прежнему был мрачен. Мы смотрели на него и не могли взять в толк, о чем еще тут совещаться. Откуда нам было знать, что накануне он разговаривал с командующим авиацией флота и приводил все те же доводы: маломощные двигатели, короткая полоса... Командующий прочитал ему телеграмму из Москвы и велел подумать. Короче, все шло с самого верха. Там, наверху, тоже были трения, однако нарком ВМФ не смог переубедить Верховного. Но тогда, в августе сорок первого, мы этого не знали.

Я шагал за молчаливым Греховым и снова, в который раз уже, прокатывал в уме все известное. Честное слово, я был растерян. Почти на всех наших машинах стояли моторы с выработанным ресурсом, они недодавали мощности. Внешняя подвеска крупных бомб вызывала дополнительное сопротивление воздуха и, следовательно, – повышенный расход горючего. А мы и без того добирались домой с сухими баками... Нет, ни черта не складывалось!

Оставалось ждать, что скажет инженер отряда. Но «дед» ничего не сказал – выполнял приказ. Он осмотрел двигатели, проверил их формуляры и выбрал самолет Преснецова. «Дед» знал свое дело: преснецовская «девятка» была одной из лучших наших машин. Под нее и подвесили ФАБ-1000. Самолет Лазарева с двумя ФАБ-500 должен был взлетать следом.

Вечером народ потянулся со стоянок поближе к старту, чтобы увидеть взлет тяжелых машин.

Преснецов зарулил на самый край полосы, впритык к леску - добирал так необходимые ему метры.

– Может, этот вытянет, – сказал Грехов.

– Родя у нас коренник в любом деле, – усмехнулся Навроц-

к и й .  
Грехов засопел и отошел от нас.

Преснецов опробовал двигатели и отпустил тормоза. Ревели моторы, самолет дрожал от напряжения, но скорость нарастала очень медленно. Бомбардировщик не бежал, а лениво катил по земле. Вот уже половина полосы осталась позади, а он дрыгает, все катит и катит. Жутковатая была картина!

«Девятка» проскочила рубеж, отмеченный флажками. Теперь взлет прекращать нельзя – впереди овраг, кустарники, валуны.



**ЗА РОДИНУ,  
ЗА ЧЕСТЬ, ЗА СВОБОДУ!**



**ВИНОГРАДОВ**  
**Александр Михайлович**



**Сын участника войны**

Родился 12 сентября 1936 года в городе Челябинске. Трудовую деятельность начинал слесарем на заводе «Полиграфмаш» в Шадринске. Закончил Шадринский пединститут. С 1968 года работал здесь же преподавателем литературы, заведующим кафедрой.

Автор нескольких сборников стихов, в том числе – «Добрая весомость», «Россия росная», «Вешница», «Путём добра и света», «Сокровенное», «Лесная азбука» и других. Печатался в журналах «Урал», «Подъем», «Литературной России», «Комсомольской правде» и других. Лауреат премии губернатора области. Награждён Почетной грамотой областной Думы.

В Союз писателей СССР принят в 1980 году.



## СЫН ФРОНТОВИКА

Между четких длинных теней  
Завлекает белизна,  
Где следов хитросплетенье,  
Как природы письма.

На поляне кривобоко  
Черкнул косач крылом.  
Кромку вышила сорока  
Косо-накосо крестом.

Проскакали две косули –  
Маховой в снегу провал.  
Наста чуточку коснулись –  
Сразу след, сверкнув, пропал.

Хитрый нарыск лисовина.  
Командорский шаг лосей.  
Где ж беляк петлял – не видно  
По окрестности по всей.

Вспомнишь давние приметки –  
И заветным мыслям в лад  
Разглядишь: у снежной ветки  
Уши заячьи торчат.

Воздух призрачен и сочен –  
Точку снайперски наметь,  
И на лапах бурых сосен  
Белый явится медведь.

Благодарно-благодатна  
Боровая тишина...  
Автоматной дробью дятла  
Обрывается она.

Пусть усердней дятел долбит,  
Не дает нам забывать...  
В командирской шапке столбик  
С вещей датой – 45.

\* \* \*

Затарахтела машина –  
Дрогнул задумчивый вяз.  
Вечная нерасторжима  
В мире взаимная связь.

Сколько потеряно близких!  
Тесно в сердцах именам.  
С острых высот обелисков  
Звезды спускаются к нам.

Глянeshь – пестреют поляны.  
Чьи имена расцвели?  
Все Васильки да Иваны –  
Кровные дети земли.

Станeshь – и в звоне колосьев  
Отзвуки песен слышны:  
Вдовьих – глухих, проголосных –  
Из незажившей войны...

Только качнет колокольчик  
Тихой своей головой,  
Голос курантов – чуть звонче –  
Долго плывет над Москвой.

\* \* \*

С дороги глянешь пристально  
Теряются вдали  
Не крыши – треугольники,  
Как те, что не дошли.  
Ни адреса знакомого,  
Ни почты полевой,  
Ни штемпеля цензурного,  
Ни точки пулевой...  
Родимое, далекое,  
Военное село  
По крыши-треугольники  
Снегами замело.  
Зимой сорок второго  
По-взрослому суровы,  
Мы приходили в класс.  
Учительницы-вдовы  
Сирот учили, нас.  
Чернила перемерзли –  
Из сажи на воде...  
Вчера бои шли возле Ельца.  
А нынче где?  
В противогазной сумке  
Букварь на пятерых...  
Что на фронтах за сутки?  
Скорей бы перерыв!  
И завтрак наш обычный:  
Картошек до пятка,  
С затычкою тряпичной  
Чекушка молока...  
Не позабыть деталей  
Неизгладимых лет.  
Мы для себя шивали  
Тетрадки из газет.  
Поверх тяжелых сводок,  
Где плыл сражений дым,  
Мы выводили твердо,  
В нажим: «МЫ ПОБЕДИМ!»

## ВОКЗАЛ. ЯНВАРЬ 43-ГО

Вокруг торопится народ.  
Потемки. Холод.  
От мамы я бегу вперед:  
Какой он, город?  
И вдруг – солдат на костылях!  
Глаза я поднял –  
И понял, что такое страх.  
Навек запомнил.  
Качалась на его спине  
Нога чужая.  
В деревне о протезах н-не...  
Не знал тогда я.  
И от беды небывалой  
Я просыпаюсь опять...  
Сколько годов миновало,  
А не дает забывать.  
Не отойти от бывшего  
Детям закланной войны:  
Хлеба ведь вдоволь, любого!  
Снятся ж голодные сны.  
Странно другим, ну а мы-то,  
Мы понимаем втройне:  
Как позабыть, коль досыта  
Ели мы только во сне?



**КАЖДЫЙ РУБЕЖ  
— РЕШАЮЩИЙ!**

**ВОЗМИЛОВА**  
**Ольга Ильинична**



**Дочь участника войны**

Родилась 20 апреля 1953 года в деревне Ганичево Шатровского района. После окончания финансового техникума была направлена на работу в Шатровский райфинотдел на должность экономиста. В настоящее время работает главным специалистом администрации Шатровского района.

В 2003 году в издательстве «Парус-М» вышел первый сборник стихов «Испытание любовью», в 2005 году здесь же издана книга стихов и новелл «Пред ликом любви».

В Союз писателей России принята в 2006 году.



*Посвящаю моему отцу  
Белову Илье Федоровичу,  
участнику Великой Отечественной войны,  
летчику, в день 60-летия...*

Шестьдесят славных лет, шестьдесят трудных лет:  
Сколько было в них горя, труда и побед.  
Были голод, сиротство, война, высота,  
Но смертям всем назло выживала мечта –

Чтобы мир наступил на Советской земле,  
Чтобы хлеб был в достатке на каждом столе,  
Чтобы взрослые дети вблизи и вдали  
Честь свою и страны, как святыню, несли.

Шестьдесят долгих лет, шестьдесят быстрых лет  
Пролетели недаром, коль жив вишен цвет.  
Каждый год в День Победы - салют и цветы.  
К той Победе народной причастен и ты.

В славный день юбилея с любовью прими  
Поздравленья от всей нашей дружной семьи.

1983 год



**ВОСТРЯКОВА**  
**Наталья Александровна**



**Племянница  
участника войны**

Родилась 29 мая 1975 года в Каргаполье. Детство и юность прошли в селе Кондино Шатровского района. Окончила исторический факультет Курганского государственного университета с «красным» дипломом. Здесь же закончила аспирантуру и работает старшим преподавателем кафедры философии.

Автор поэтического сборника «Диалектика».

В Союзе писателей России принята в 2007 году.



\* \* \*

За детством, далеким и радужным,  
За дымкой исчезнувших лет  
Мне видится милая бабушка,  
Мне чудится ласковый дед.  
Они то как дождь, то как солнышко,  
Порой то хваля, то браня,  
Меня собирали по зернышку  
И были мне, словно броня.  
У них я училась, как надобно  
К колодцу приладить ведро.  
От них услышала, что надо бы  
Дарить людям только добро.  
Мир детский фантазией наполненный  
Надолго запомнилось мне,  
Как с бабушкой мы в тихой комнате  
Читали стихи о войне.  
И стены дрожали беленые,  
Когда мне казалось, что тут  
Шли танки мазутно-зеленые,  
И сыпался майский салют.  
А дед мой слыл мастером знающим:  
Клал печи и ставил стога,  
Гармошку любил и меня еще  
Учил щекотать ей бока.  
С тех пор горки сделались кручами,  
Ушли беззаботные дни.  
И стало понятно, что лучшее  
В меня заложили они.  
Прижавшись ко мраморным камешкам,  
Я тихо шепчу им вслед:  
«Прости меня, милая бабушка!  
Прости меня, ласковый дед!»

## ВETERАНЫ ПОБЕДЫ

*Бессмертным героям 40-х  
от благодарных потомков*

Нас миновала грозная война,  
Мы гимнастеров грубых не носили,  
Но с восхищеньем помним имена  
Несломленных защитников России.  
И нам порою верится с трудом,  
Что именно они пришли живыми.  
Им и сегодня мирный летний гром  
Напоминает взрывы фронтовые.  
Они не могут думать о войне  
Без слез обиды, боли и печали.  
И все еще не верят тишине  
Короткими июньскими ночами.  
Уже и не узнать в седых бойцах  
Лихих парней, в смертельный бой идущих.  
Немало лет они хранят в сердцах  
Скорбь о погибших, гордость за живущих.  
И тем себе покоя не дают,  
И в том себя винят неоднократно,  
Что вот они так все еще живут,  
А тех, других, не вернуть обратно.  
Как жаль, что через столько лет к весне  
Мы вновь недосчитались чьих-то близких.  
Теперь намного больше на земле  
Мемориальных плит и обелисков.  
Они уходят в молодость свою.  
Они уходят поздно или рано.  
Но до последних дней стоят в строю  
Великой той Победы ветераны!



*На Запад!*

**ВОХМЕНЦЕВ**  
**Яков Терентьевич**  
(16.01.1913 – 11.06.1979)



**Участник  
Великой Отечественной  
войны**

Родился 16 января 1913 года в деревне Вохменка Юргамышского района в крестьянской семье. В 30-е годы работал вздымщиком леспромхоза, землекопом, слесарем кирпичного завода, литсотрудником различных газетах.

С 1965 по 1974 год – руководитель Курганской писательской организации. Автор поэтических книг: «Степная песня», «Положа руку на сердце», «Ученый кот» (басни), «Не ради красного словца», «Дело не в возрасте», «Про нас» (книга для детей), «Разговор с друзьями», «Слышу зов земли», «Живет на свете человек», «Третья зрелость», «Застенчивая профессия».

Его стихи публиковались в «Литературной газете», «Литература и жизнь», в журналах «Новый мир», «Огонёк», «Октябрь», «Москва», «Наш современник», «Урал», «Уральский следопыт» и других.

В Союз писателей принят в 1958 году.

## РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Он по жнивью, по травам росным  
Ступал спокойно босиком.  
К старинным песням проголосным  
Незнамой силой был влеком.

Ухватистый в делах и в речи,  
Вдали от чопорных столиц,  
Любил он щедрость русской печи  
И скрип скобленных половиц.

Не он ли, грозен и неистов,  
Чтоб краше жить в родном селе,  
Стряхнул с себя капиталистов  
И пригвоздил нужду к земле?

Не он ли, как фашизм нагрянул,  
Встал, чтобы дать отпор?  
И вот  
Кровавый Гитлер в Лету канул,  
А русский человек живет.

Живет и в камне, и в металле,  
Забыв навеки боль и страх.  
Не он ли там, на пьедестале,  
С чужим ребенком на руках?

Не он ли тут, в краю упрямом,  
Венчает недр глубинный зов?  
Кипящим венником по шрамам  
Похлещет – и опять здоров.

Не он ли здесь, среди колков тощих,  
От знаменитых мест вдали,  
Все силы отдает на то, чтоб  
Утроить мощь родной земли?

Не он ли, нежный по натуре,  
В иных делах, как дьявол, смел,  
В степном, полынном Байконуре  
Берет планеты на прицел.

Межзвездье недоступно слабым,  
Безмерна даль, мороз велик...  
Но к стуже и к большим масштабам  
Я, русский, с детских лет привык.

## РОДИНА

Страна моя родная велика:  
Тут лишь светает, там уже темнеет.  
В короткий день ее наверняка  
Всю осмотреть и солнце не успеет.

Но ты сегодня не найдешь угла  
В пределах государства-великана,  
Где б ни вздымалась к облакам стрела  
Хоть одного строительного крана.

Нет, не напрасно в дружбе с давних пор  
Вся сила наших пашен и заводов.  
А как могуче вздулись мышцы гор,  
Как мощно бьется пульс нефтепроводов!

И день грядущий нам несет не страх...  
Так отчего ж случиться оробелым?  
У нас людей полно во всех домах,  
И каждый взрослый занят мирным делом.

Но если завтра, ярость распалив,  
Враги попробуют сразиться с нами,  
Тогда, на миг дыханье затаив,  
Земля из недр своих извергнет пламя.

А тот огонь родит рои ракет  
Почти что из волшебного металла.  
На свете силы не было и нет,  
Чтоб перед нашей мощью устояла.

Но я хочу...  
Да разве я один?  
Тем озабочен разум всей планеты,  
Чтобы во веки не было причин  
В бой посылать глобальные ракеты.

### СТАРИК

Смерть никогда не знала, чей черед –  
Ей только б тлен распространять по свету.  
Уже не рад старик, что он живет...  
Кому бы жить да жить, того давно уж нету.  
Два сына у него шли сквозь огонь войны.  
Враг при своем падении свалил их,  
Они лежат в земле чужой страны,  
Куда отец и съездить-то не в силах.  
Сидит старик, в былое взгляд вперив -  
Последнее звено оборванного рода.  
Он, как Царь-колокол, тяжел и молчалив,  
И дума у него, как он, белоборода.  
Разбитые, дай срок, воскреснут города,  
Но труп не станет человеком снова.  
Смерть не придет вовеки лишь туда,  
Где не найдется никого живого.  
А жизнь и так не больно велика.  
В ней даже дряхлым нету дней спокойных:  
Вот и сегодня душу старика  
Терзают вести о далеких войнах.  
Сидит он, очень слаб и одинок,  
Как изваянье скорби и печали.  
Не будь войны, теперь у этих ног  
Наверняка уж правнуки б играли.



\* \* \*

Я ни зверей не бил, ни птиц.  
И только вражеская сила,  
Что хлынула из-за границ  
Меня к оружию приучила.  
Сперва я долго отступал,  
Шел на восток зимой и летом.  
Все ж нынче знает стар и мал,  
Чем завершилось все это.  
Не ясно только дуракам,  
Что злоба – враг наш самый лютей!  
Что воздвигают за века,  
То разрушают за минуты.  
И мне опять грозят войной,  
Дошедшие до озверенья.  
Хотя верю – будет верх за мной,  
Но не хочу я повторенья.

## УМИРАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Медленно колышется процессия –  
Трауром наполнен весь Курган.  
Не могу сейчас сидеть на месте я –  
Он и мертвый властен, ветеран.

Он водил в бои полки победные?  
Или чем другим был знаменит?  
Ведь недаром эти трубы медные  
Заиграли по нему навзрыд.

Нам, навьюченным нелегкой ношею,  
Этот марш вонзает когти в грудь:  
Друг за другом старики хорошие  
Отправляются в последний путь.

Не они ль, еще бойцы безусые,  
В пиджачках, проношенных до дыр,  
Делали святые революции,  
В мыслях обживали целый мир!

Никаких в душе у них надломов –  
Только чувство вечной правоты.  
Шли без аттестатов и дипломов  
Хоть на министерские посты.

А потом они гордились внуками,  
Роясь в биографиях своих.  
Что ж ты, умудряемый науками,  
Размышляешь с завистью о них?

**ГИЛЁВ**  
**Виктор Константинович**  
(30.01.1942 – 4.01.1991)



**Сын и брат  
участников войны**

Родился 30 января 1942 года в селе Заложном Варгашинского района Курганской области. Закончил Литературный институт им.Горького Союза писателей СССР в 1972 году (заочно). Работал рабочим арматурного завода в Кургане, литсотрудником в районной газете, областной молодежной газете «Молодой ленинец», заместителем и редактором районных газет в Шумихе и Куртамыше.

Автор поэтических сборников: «Гусли», «Подовый хлеб», «Разговор с любимой», «Вербный край».

В Союз писателей России принят в 1991 году.



\* \* \*

Ах, какой над деревней дождь  
Прошумел по листве  
И крышам!  
И плывет,  
И дымитя рожь,  
Я дыханье колосьев слышу.  
И березы глаза слепят  
Предосенним прозрачным светом.  
И село  
С головы до пят  
Пахнет всеми цветами лета!  
Мама милая!  
В край берез  
Проведи под зеленым ливнем,  
Чтобы крепким таким же рос,  
Как в войну  
На борще крапивном.  
В беспокойном своем труде  
Ты себя не щадила, мама,  
На картошке  
И на воде  
В детстве ты меня поднимала.  
Как ты робко, мама, идешь,  
Разучилась словно ходить ты,  
И плывет,  
И дымитя рожь,  
Как по сыну твоя молитва.  
Я прислушиваюсь, чуть дыша:  
Солнце соком в деревьях бродит.  
Знаю, мама,  
Твоя душа  
Неотступно за мною ходит.

\* \* \*

Край родимый мой!  
Изначальный.  
Обнаженный ветром овес.  
Тут под ивовую печалью  
Ряской серою пруд зарос.  
Тут поля в золотой остуде.  
Шум березовый над водой.  
Тут красны работою люди,  
Щедрым сердцем  
И добротой.  
Люди!  
Ваша беда и муки  
Стали вечной моей бедой.  
До сих пор пахнут  
Ваши руки  
Той военною лебедой.  
Не согнула вас непогода  
По-над пеплом родной земли.  
Люди,  
В самые трудные годы  
Вы остаетесь  
Людьми смогли.  
Грустный запах  
Крушины.  
Дождь и ветер в полях.  
И буксуют машины,  
Утонув в колеях.  
Хоть душа бы живая –  
Лопухи  
Да пеньки...  
А в домах доживают  
Век  
Одни старики.  
Вот и мы повзрослели,  
С гнезд родимых снялись.

Что же в дали и в самом деле  
Слаще сахара жизнь?  
И глядит на дорогу  
На отшибе изба:  
– Что, вкуснее namного  
Там чужие хлеба?  
И буксуют машины.  
Ветер ставней гремит,  
И от духа крушины  
Вдруг в груди защемит.  
Непогодю взвинчен  
В бездорожье устав,  
Как я счастлив, что нынче  
Снова в отчих местах.  
И какую же силой  
В нашей сложной судьбе,  
Уголочек России,  
Тянешь сердце к себе?

\* \* \*

Победный день,  
Священный день весны.  
Прозрачная березовая пролесь.  
Еще живет надежды  
Слабый проблеск,  
Что он придет,  
Воротится с войны.  
...Напрасно ждать в родимый край отца,  
Погибшего  
У вражеского дота.  
Но яблоня,  
Как матушка с крыльца,  
Его встречать  
Выходит за ворота.

## СЕНТЯБРЬ

Деревьев золотеющая осень.  
Звенит сентябрь  
В березовой России.  
В такой же вот, наверно, ясный день,  
Погиб на фронте  
Брат старшой  
Василий.  
Но враг не сумел  
Прервать родства.  
В родном краю торжественно и звонко.  
А в палисадах копится листва,  
Как в сорок первом  
В избах похоронки.

\* \* \*

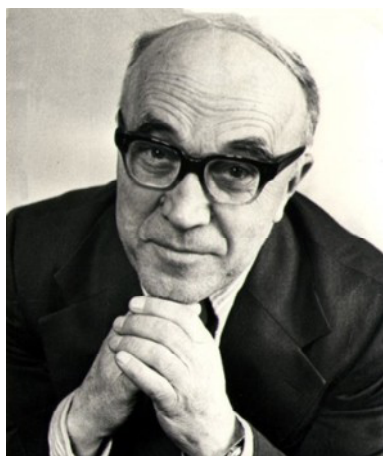
Опять в полях  
И дальних колках  
Прошел июньский спелый дождь.  
И выстрелил  
Овес в метелку,  
И колос  
Выбросила рожь.  
И вижу я, как бабка вышла  
К колодцу,  
Ведроми звеня,  
И плечи ей ласкают вишни  
В саду  
У рыжего плетня.  
Потом она в платочке синем  
Подолгу смотрит из окна.  
А, может, ждет  
Письмо от сына,  
Забыв, что кончилась война.

**ВСТУПАЙТЕ**  
В РЯДЫ  
**НАРОДНОГО**  
**ОПЛАЧЕНИЯ!**





**ЕЛОВСКИХ**  
**Василий Иванович**



**Участник**  
**Великой Отечественной**  
**войны**

Родился 25 января 1919 года в поселке Шайтанка Свердловской области. Трудовую жизнь начал токарем.

После войны работал редактором «Последних известий» на Тюменском радио, редактором районной газеты. После окончания Высшей партийной школы был председателем радиокомитета, директором книжного издательства. В Кургане с 1964 года. Работал редактором литературно-музыкальных передач на областном радио, консультантом в писательской организации, уполномоченным по охране авторских прав.

Кавалер орденов и медалей.

Первый рассказ опубликовал в 1940 году. Автор более 50 книг. Лауреат премии губернатора области и городской премии «Признание».

В Союз писателей СССР принят в 1964 году.



## СОЛДАТ И МАЛЬЧИК

(отрывок из рассказа)

Он лежал на травянистом пологом берегу речушки, боясь пошевелиться, тогда боль в раненом плече становилась нестерпимой, чувствуя, что слабеет с каждой минутой; кружило голову, шумело в ушах, и все время хотелось пить. Мокрая гимнастерка прилипла к телу. Он часто с присвистом дышал, ему не хватало воздуха.

Еще вчера утром зарядил дождь, сыпал весь день, всю ночь, все сегодняшнее утро, частый, бесшумный и мелкий как пыль. Иван и раньше не терпел таких дождей, они нагнетали тоску, портили ему настроение. А сейчас дождь и неподвижные, будто уснувшие в тихой мокроте сосны, ели, кустарники были просто невыносимы; казалось Ивану, что он весь опутывается водяной сеткой, она мягка, неслышна, но страшна своей бесконечностью, и нестерпимо хотелось, чтобы все это кончилось, чтобы проглянуло солнце, подул ветер, зашумели сосны, застучали дятлы, запели птицы или уж пошел бы настоящий дождь, крупный и шумный. От кого-то он слышал, что герои произведений Достоевского любили такую погоду, она ослабляла их душевные страдания. Ивану это непонятно. У него было как раз наоборот.

Он второй день в лесу. Вчера очень хотелось есть; он пожевал мелкой и какой-то кисловатой малины, которая попалась по пути, съел несколько совсем уж невкусных сыроежек. Возле ручья в траве увидел лягушку и вспомнил, как красноармеец из их взвода, на гражданке работавший учителем, рассказывал, будто французы всю уплетают задние ноги (почему только задние?) каких-то зеленых лягушек, считая это лакомством. Лягушку можно поджарить на костре под елкой. Он подумал об этом и сплюнул от омерзения... Сегодня есть уже не хотелось. Хотелось пить. И он долго, жадно пил из тихой речушки, громко причмокивая, а потом лежал на траве, то и дело погружаясь в глубокий сон.

Позавчера вечером был бой, первый бой, в котором участвовал красноармеец срочной службы Иван Киселев. Впрочем, ка-

кая уж тут срочная, война все перемешала. Иван впервые видел в туманной сини вечера слегка согнутые, какие-то крадущиеся фигуры, вражеских солдат и не мог понять, почему они кажутся такими черными. Он стрелял в них. А потом был страшный удар, землю будто разорвало на части, и Киселев полетел куда-то в холодную глубину далекого неба, в бесконечный мрак, и потерял сознание. Ночью пришел в себя. Странно тихо. И совсем темно. Невыносимая ноющая боль в плече; у плеча, на груди, на животе тепло и липко, – кровь. Он лежал один живой среди множества убитых. Впрочем, Иван не знает, множества ли; когда он, привстав, покачиваясь и постанывая, зашагал в глубину леса, ему попали под ноги двое убитых красноармейцев. И немцы, и наши были уже где-то далеко отсюда.

На рассвете он прошел мимо безлюдной деревушки из нескольких домов, точнее, не домов даже, дома были сожжены, а печей и труб, нелепо торчавших среди головешек и золы.

Вчера Киселев еще шагал понемножку, одолев километра два, может, три, а сегодня к утру до того обессилел, что не мог подняться, лежал, задыхаясь, постанывая. Он все время старался убедить себя в том, что скоро увидит своих солдат или кого-то из советских людей, хотя где-то в глубине мозга давно сидела колкая пугающая мысль, что все эти надежды напрасны, фронт, видимо, уже откатился далеко на восток.

Третьего дня, еще до ранения, ему всю ночь снились тяжелые сны, будто очутился он под землей, в пещере, один, бегаешь, бегаешь там по бесконечным узким галереям, пытаешься выбраться наружу, к свету, и не можешь, кругом тьма, и земля нависла над ним, вот-вот обрушится. Он потерял пальто, ботинки, кепку... А сегодня виделись приятные сны: летел над рекой, лесами и полями; далеко внизу – люди, коровы, а он летел, руки как крылья, взмахнет раза два-три и опять поднялся; радуется и дивится: почему не летал раньше, ведь можно? И все было яркое, цветное; краски играли, исчезая и вновь появляясь. Получалось как бы две жизни: легкая, яркая, в цвете, когда спал (раньше Иван знал только черно-белые сновидения), и тяжелая, когда открывал глаза и видел унылый лес, нудный дождь, туманную серость... Красивые сновидения пугали его, они казались ему предвестниками какой-то беды или, во всяком случае, говорили о его тяжелом

состоянии и подавленном настроении.

Мысли лезли в голову все больше бессвязные, обрывочные – обо всем, воспоминания – случайные, ненужные. Почему-то часто вспоминались марш-броски. Винтовка, скатка, малая лопата и вещевой мешок надоедливо тяжелы, спина мокрехонька, а он бежит, бежит вместе со всеми, ничего не видя, кроме мокрой спины впереди бегущего и мокрых плеч справа и слева. Многие падали обессиленные. А он никогда не падал. Хотя и маленький, а вынослив. Черноволосый и вообще какой-то черный, как ворон, с горячими цыганскими глазами. Может, он и в самом деле цыган. Воспитывался в детдоме, где мать и отец – не знает. Поговаривали воспитатели детдома, что был он подброшен куда-то младенцем.

Он пролежал на мокрой траве весь остаток дня, тупо глядя на пухлое мутное небо, пролежал весь вечер, всю ночь, до утра. Дождь постепенно утих, и стало почему-то холоднее. Ивану казалось, что в лесу душно, как в обкуренной конуре, он быстро, жадно хватал сырой воздух раскрытым ртом. Попытался встать, опираясь о сосенку; голову обкружило, все поплыло куда-то вправо – сосны, речушки, трава, небо, и Киселев рухнул на землю. Опять лежал, глядя на небо и макушки сосен. Надо полежать. Еще полежать. Но сколько же можно лежать? Какая слабость и тяжесть. Его мозг жил уже как бы отдельно от тела, тело, обмякшее, холодное, больше не подчинялось ему. Голова тяжелая. Покруживает.

Он подумал, что может скоро умереть, и удивился тому, что подумал об этом без страха. Потом мелькнула мысль, что умрет он не где-нибудь, а здесь вот, возле речушки, в лесу, вдали от людей, тело его растерзают звери и птицы, и от этой мысли ему стало не по себе. Умрет – и некому, совсем некому будет вспоминать о нем: единственный его друг погиб в первые минуты того боя, а бывшие детдомовцы разъехались кто куда.

Не надо уверяться, что скоро умрешь. Если уверишься, считай, что наполовину умер, сама по себе мысль эта вносит в душу смертельный яд. И Киселев, наверное, в тот же день умер, если бы...

Впрочем, всему свое время. Давайте перенесемся пока в маленький поселок, до которого было километров пятнадцать.

Погреб глубокий, дно погребя неровное: одна половина ниже, другая выше. В той, которая ниже, была вязкая жижа. А на высокой половине лежала старая доска, узкая, мокрая и какая-то противно скользкая. Сережка и Петька сидели на доске, прижавшись друг к другу, подогнув босые ноги и опираясь о земляную стену, тоже мокрую и скользкую. Мерзли ноги, руки, лицо. Сидели и дивились: в погребе мокро, не застыло, а такая холодна, хуже, чем зимой. Сидеть неудобно, ни сядешь хорошо, ни ляжешь – то поясицу ломит, то ноги немеют.

Где-то далеко наверху глухо разрываются снаряды. Один раз разорвалось совсем рядом, и в погребе посыпалась земля.

Час назад за поселком начался бой, и Сережка с Петькой выскочили на улицу. Сережина мать приказала ребятам бежать в амбар и лезть в погреб, а сама зачем-то побежала к подружке. Сережка надел большой дырявый пиджак, оставшийся от отца, а Петьке дал свое пальтишко.

И вот они тут... Прошло, по-видимому, уже много часов, а Сережиной матери все нет и нет. Больше им ждать некого. Петькина мать умерла еще до войны. Отцы – в армии.

Петька дрожал не то от холода, не то от страха и бормотал:

– А если бомба сюда падет?

Он вцепился Сережке в руку. Сережка отодвинулся, протянул ногу и, коснувшись холодной, будто ледяной, жижи, испуганно дернулся.

Тыме и глухим взрывам, кажется, не было конца. Что-то тяжело ударило в крышку погребя. Петька испуганно захныкал. Потом стало тише, и мальчишки забылись в тревожном сне, поживаясь, тесно прижимаясь друг к другу и к стенке. Когда Сережка, вздрогнув, проснулся, в щель крышки проникал слабый колеблющийся свет. Прошло еще сколько-то времени, колеблющийся свет постепенно сменился сильным и ровным; светлая полоса падала на лестницу, которая вела к крышке, на жижу и земляные стены. Было тихо. Сережка попытался откинуть крышку. Но она не подавалась.

– Откройте!

Никто не отозвался.

Тогда они, почти по-мужски кряхтя, стали толкать крышку вдвоем. Она приподнялась, но Петька устало опустил руки, и тяже-

лые доски ударили Сережку по голове.

Они все же вылезли наружу. Вылезли, и у обоих захолонуло сердце. За ночь сотворилось страшное: не стало дома, где жил Сережка, бани и ворот, на их месте лежали черные головешки, от которых кое-где поднимался дымок. Среди головешек стояла нетронутой печь с трубой. Труба показалась почему-то слишком длинной. Вроде бы и не своя она, печь, а чья-то чужая, какая-то слишком грязная. А печурка с надбитым кирпичом своя. Еще весной Сережка, балуясь, отбил кусочек кирпича у печурки, и мать тогда сильно ругалась. Одна из каменных стен амбара разрушилась. Крышу и потолок истопили еще в прошлую зиму. И хорошо, а то в эту ночь ребятишкам пришлось бы плохо. Улицу будто подменили: дома сожжены, вместо кирпичного здания, в котором размещалась когда-то пекарня, стояла лишь одна стена. Уцелел маленький кривобокий тополь. Его листья поблескивали и трепыхались на ветру.

Возле тополя валялась кисть руки, обыкновенной человеческой руки, темная, почти черная под белым пухлым небом, с чуть согнутыми пальцами.

– Мама! – крикнул Сережка. – Мама!

Петька плакал и издавал какие-то странные звуки, будто захлебывался. Никто не отвечал им, на улице ни одного человека. А Сережка, глядя на пожарище, все кричал:

– Ма-ма!

Они шли, не зная куда. Дошли до кирпичного двухэтажного дома, половина которого была развалена, будто обрублена чем-то, повернули за угол и увидели площадь. На конце площади у сваленного прясла лежала женщина с запрокинутой головой. Вместо подбородка и рта у нее было кровавое месиво, к которому прицепилась маленькая белая щепка.

Из соседнего переулкa доносился какой-то неясный, тревожный шум и грубые мужские голоса:

– Шнэлер!

– Байзайтэ ниht трэтен!

Стало слышно, как стонут, тяжело вздыхают люди, и множество сапог шаркает о землю. Через площадь шли русские военнопленные. Они шли рядами по четыре человека, с понурыми головами, небритые, в грязных, измятых гимнастерках. Головы и

руки у некоторых перевязаны тряпками, из которых сочилась кровь. Молоденький красноармеец со страдальческим лицом тяжело волочил левую ногу и стонал. Двух раненых в центре колонны тащили под руки. Возле колонны шли немецкие автоматчики и покрикивали грубыми охрипшими голосами:

– Шнэлер! Шнэлер!

Военнопленные ушли, а Сережка и Петька еще долго молча и тупо смотрели на дорогу. Сейчас им можно было дать лет по пять, не больше, хотя Сережке исполнилось десять, а Петьке – восемь.

Повернули в переулок и услышали повелительный голос:

– Алло, мальшик, ити сюта!

На скамье возле уцелевшего деревянного домика сидели два немецких солдата в расстегнутых кителях, один длинноногий и длинноносый, другой толстый, широкомордый. Разные вроде бы и в то же время чем-то неуловимо похожи. Спины полусогнуты, точь-в-точь как у баб, когда они вечерами на завалинках отдыхают. В домике играли на аккордеоне что-то веселое.

– Ити сюта, мальшик!

Говорил длинноногий. Он распрямылся и смотрел насмешливо. Ребята испугались, насторожились, но шли. Поняли: нельзя не идти.

– Почему ходиль? – спросил немец, глядя на обоих. – Я спрашиваль.

Чужие страшные голоса, чужие, не русские лица, чужая, неприятная одежда.

– Мамы... нету, – пробормотал Петька. – Сгорело все...

– Ходиль не можно. Можно наказываль.

Солдат схватил Сережку за руку, подтянул к себе и стал щелкать по носу широким синеватым ногтем. Сережка вскрикнул, хотя не так уж больно было, рванулся, но левая рука немца держала его, как клещами. Отшвырнув Сережку, длинноносый схватил Петьку. При каждом щелчке Петька вздрагивал, всхлипывал, но покорно подставлял нос истязателю.

Длинноносый неторопливо и сердито делал свое дело, поджав губы. Толстый немец растянул губастый рот в неподвижной улыбке. Хоть и неподвижная улыбка, а довольная. Потом длинноносый махнул рукой: убирайтесь! Толстый немец что-то быст-

ро протараторил на своем языке и бросил далеко на землю кусок хлеба. Кусок был с ладонь, твердый, как камень, и пах бензином.

Сережка съел половину куска. И еще больше захотел есть. Он не помнит дня, когда бы он не хотел есть; с утра, позавтракав, ждал обеда, без конца думал об обеде, пообедав чем бог пошлет, ждал, когда мать позовет на ужин. Плохо было с продуктами — война. Петька вяло жевал хлеб. Проглотив последние крошки, сказал:

- По-полежать бы...
- Ты чего, заболел?
- Полежать бы...

Сережка потянул Петьку за рукав, но тот чего-то заупрямился, замычал и вдруг лег на траву возле сваленной изгороди. Сережка просил, ругался, но Петька не хотел вставать:

- Полежу.

Укрыв его пиджаком, благо солнце стало пригревать, и самому можно было остаться в одной рубашке, — холодновато, но не шибко, Сережка сказал:

- Ладно, полежи, а я сбегаю...

Он снова ходил по улице, искал мать, но улица была пуста. Головешки на месте их дома больше не дымили. Все в той же неловкой позе, в какой живой человек не сможет пробыть и пяти минут, лежала женщина.

Светило холодноватое затуманенное солнце, оно было одинаково равнодушным ко всему и вчера, и сегодня.

Проходя мимо разрушенного дома, он услышал стоны. Зашел. На кровати лежала старуха, разбросав руки, волосы и платье покрыты слоем пыли.

– Не подходи! — крикнула она. — Я болею... Мать у тебя, видно, убили, — продолжала старуха безжалостно. — Ты беги в деревню Тепловку. Дотуда километров десять. Но... ничего. Там как-нибудь прокормишься.

В Тепловку они пришли на другой день. После того как Сережка поговорил с больной старухой, он еще раза два бегал к своему дому. Ночевали у тихой безлюдной дороги, возле березы, прижавшись друг к другу. Петьке всю ночь мерещились немцы, он дрожал, всхлипывал и выкрикивал что-то бессвязное. Утром Сережка



долго искал грибы и ягоды, но не нашел. Он тащил за руку Петьку, тот едва двигался и все порывался лечь.

Деревня тоже была разрушена и сожжена. Среди куч пепла виднелись кое-где печи с нелепо вытянутыми трубами. Одна улочка домиков в десять возле опушки леса оставалась нетронутой. Ребята ткнулись в первый попавшийся дом. Старуха хозяйка, назвавшаяся теткой Нюрой, накормила их вареной картошкой и хлебом. У Сережки вспучило живот и появились рези. Петька съел две картофелины и лег на сундук. Старуха потрогала его лоб и сказала, что у Петьки жар, он болеет, а чем болеет, она не знает, и узнать не у кого.

Во сне Петька звал Сережку, кричал: «Отдай мой ботинок!» Под утро затих. И когда на рассвете тетка Нюра подошла к Петьке, он был совсем плох.

– Ну, что с тобой, сынуля?

– Немцев нету?

– Нету. Не бойся, нету.

Сережка тоже занемог, почувствовав вдруг, что в избе стало что-то очень уж жарко. Болела голова. Тетка Нюра уложила его на кровать сбоку от Петьки и не велела вставать.

Весь день стояла тишина, будто и войны не было, и немцев не было. Но в тишине этой чудилось и ребятишкам, и старухе что-то тревожное, зловещее. Изредка приходила маленькая женщина с добрыми глазами, шепталась на кухне с хозяйкой и неслышно уходила. Тетка Нюра все время чего-то боялась; половица скрипнет или на улице кто крикнет – вздрагивает, крестится, ходит по избе и шепчет непонятно что; скажет громко слово-два и опять шепчет. С ребятами разговаривает редко. А если спросят о чем, бормочет:

– Чего!..

Утром, вскочив с постели, Сережка пошел в лес. Он все еще болел. Но не было дров, и кто, кроме него, мог принести их? Тетка Нюра едва ходила, согнувшись коромыслом. Сыпал мелкий дождь, в лесу было сыро, туманно, скучно.

Через полчаса после его ухода громко, начальственно стукнула щеколда калитки. Тетка Нюра выглянула в окошко и затряслась, проговорив про себя:

– Зачем это?..

В избу ввалились двое в мундирах ядовитого серо-зеленого цвета без погон, молодые, ростом под потолок. У одного на жирной красной щеке шрам, длинный и ровный, будто по линейке делали. У второго левый глаз закрыт черной лентой, а правый смотрел недоверчиво и зло.

В избе запахло спиртом и чесноком.

– Коммунистов не прячешь, бабка? – спросил человек со шрамом и весело ухмыльнулся.

Одноглазый подошел к Петьке.

– Ты чей? Как твоя фамилья? Бузин, слышь, какая у него фамилья? Кондратович.

– Еврейчик, как пить дать, – отозвался Бузин, и лицо его недобро оживилось. – Русский! Ишь ты! А морда?..

Бузин захохотал, оголяя длинные, узкие зубы, и оборвал смех:

– Где у тебя мать? Где, я спрашиваю?! А отец где? В армии? Петька кивнул.

– Бузин, посмотри-ка, сколько здесь картошки! – протянул одноглазый из подполья. Он уже успел спуститься туда. – И свекла. И морковь. Редька!

Бузин издал какой-то странный звук, будто захлебывался, пробежал комнату и прыгнул в подполье. Несколько минут снизу доносились грубые голоса. Ступив на пол, Бузин заорал:

– Ты!.. Ты что, старая ведьма, вчера говорила старосте? А?! Вези ее к Андрей Маркельчу.

– Чего возить. Сам пригрози.

– Вези, говорю! Она ж, сволота, ни фунта немецкой армии не сдала. Староста сказал – не сдала. Дескать, у меня ничего нету. А здесь вот целый склад устроила.

Он схватил старуху за кофту. Легонько, надо сказать, схватил. Но тетка Нюра охнула и закричала, неожиданно для Сережки, громким визгливым голосом:

– Христопродавцы! О господи!..

– Молчи! Или я тебе заткну хайло по-настоящему.

Они стояли возле старухи и слегка пошатывались. У Бузина на отвисшей нижней губе поблескивали слюни. Пьяные.

– Вези. Маркельч прочистит ей мозги.

Когда одноглазый увел тетку Нюру, Бузин приказал Петьке собраться, а сам сел за стол, открыл флягу и стал пить из нее.

Пил медленно, помаленьку и все чего-то морщился.

Сыпал холодный дождь. Они вышли за околицу и миновали бедное, грустное деревенское кладбище с покосившимися крестами и столбиками.

Петька спросил: «Ты куда меня?..» – но Бузин повелительно махнул рукой. «Я не пойду. Я не могу». – «Иди, говорят!»

По скользкой грязной дороге трудно идти даже Бузину. А Петьке и вовсе. Он сел.

Бузин пнул его в спину, раз, другой. Больно пнул. Он смотрел на Петьку совсем не так, как на тетку Нюру; на ту насмешливо-сердито, а на него с холодной ненавистью.

Грязь, дождь, унылые березки. Ступни у Петьки немели от холодной мокрой травы. Он вроде бы уже и не чувствовал ног, шел как на ходулях.

У окопа, протянувшегося по невысокому холму, Бузин остановился и скомандовал:

– Снимай пальто.

– За...зачем? — прошептал Петька.

– Снимай, говорят!

В глазах Бузина столько злобы, так колют эти глаза, что Петька мелко задрожал, сколько-то секунд помедлил, прижимая руки к телу, и стал снимать пальто. Отлетела пуговица. Петька поднял ее, очистил от грязи и положил в карман пальто.

Бузин стоял, расставив ноги, сунув руки в карманы брюк.

Петьку поташнивало, нестерпимо хотелось сесть. Бузин хочет сделать ему что-то плохое. Очень плохое. Надсмеяться, избить. Убить! Да, хочет убить. Петька с самого начала отгонял от себя эти мысли, хотя они без конца долбили его мозг. Убить!! Нет, только не это! Нет, нет, нет!!! Он думает, что Петька еврей. А он русский. Мать говорила: «Мы – русские». А может быть, он еврей? А если еврей, то зачем его убивать? Хочет, чтобы Петька умер. Умер!!! А может, хочет избить? Избить – это хорошо. Петька фальшивил сам пред собой, сам себе врал, что не будет смерти, будто это вранье могло ему как-то помочь. Мать говорила: падают на колени и просят... Все эти мысли вместе с беглыми мыслями о том, что в лесу сыро и холодно, промелькнули в голове Петьки за какие-то секунды. Он не упал на колени, не просил. Он вдруг – что с ним стало? – крикнул, крикнул с силой, на какую только был способен:

– Чего тебе надо от меня?! Уходи от меня!! Уходи!!! – И, плача, схватил пальтишко.

Последнее, о чем он подумал, это: «От пули больно...»

Но больно не было. Был удар в голову, и Петька потерял сознание.

Бузин толкнул мертвое тело в окоп, кое-как забросал землей, поддевая ее сапогом и палкой с бруствера, и, подняв пальтишко, отплеываясь и пыхтя, зашагал по скользкой дороге обратно в деревню.

Сережка нес вязанку хвороста. Маленькая женщина (он узнал ее, она приходила к тетке Нюре), стоявшая у калитки крайнего в деревне дома, поманила его пальцем и заговорила, плача и сдавленно всхлипывая:

– Не ходи туда. Парня твою... полицей... р...расстрелял.

– Что? – вскрикнул Сережка, хотя все уже понял.

Женщина видела, как Бузин вел Петьку. Потом, когда Бузин, уже один, снова прошагал по деревне, она сходила к окопу и набросала на могилку земли, решив, что попозже с помощью стариков по-настоящему похоронит мальчишку.

– Беги, парень!..

Дождь все шел, вода стекала с головы на лицо и была противно солоноватой. Но Сережка не обращал на это внимания, он съежился и сразу стал почти на голову меньше, губы заострились.

...Ночь тоже была дождливой. Во тьме непроглядной светился один только дом, там пировали два немецких солдата и Бузин. У немцев сломалась машина, и они решили заночевать.

Немцы что-то говорили, резко, лающе. А Бузин пел:

*Степь да степь кру-гом,  
Путь далек ле-жит...*

Песня как песня, она нравилась Сережке прежде, а сейчас казалась такой же противной, как и хриплый голос полицейя.

Наконец в доме утихли, и свет погас. Дождь по-прежнему лил, печально шебарша и булькая. Сережка вылез из сарая, он весь вечер просидел там, в соломе. Сарай – наискось от дома, в котором пировали полицейя и немцы. Озираясь, пригибаясь и пыхтя, стал таскать сено к дому фашистов. Вытащил зажигалку – она все дни войны была с ним – и поджег.

Только бы не проснулись.

Но когда по двору заматались тени от огня и чернильная темнота, будто живая, стала сжиматься, нервно и неровно пульсировать, отступать, немцы и Бузин проснулись, заорали и высоко-

**ЕРАНЦЕВ**  
**Алексей Никитович**  
(28.02.1936 – 30.12.1972)



**Сын участника войны**

Родился 28 февраля 1936 года в селе Павловское Алтайского края в крестьянской семье. В 1961 году закончил факультет журналистики Уральского государственного университета (Свердловск). Работал литсотрудником газеты «Советское Зауралье», редактором Южно-Уральского книжного издательства.

Автор книг стихов: «Вступление», «Ночные поезда», «Кумачевые журавли», «Глубокие травы», «Лирика», «Талица», книги прозы «Разомкнутые берега»

Член Союза писателей СССР с 1966 года.



## УЧИТЕЛЬ

Прихрамывая, в класс холодный  
Вошел он в кители морском,  
Журнал прикинул на ладони  
И поздоровался баском.  
И в тот же миг под громкий шепот  
Глазами был изучен весь –  
От аккуратной круглой штопки  
На левом, тощем рукаве  
До узких орденских колодок  
И чуба в снеговой пыли...  
В тот день мальчишки из шестого  
Домой, прихрамывая, шли.

## В СОРОК ТРЕТЬЕМ

Мы у крыльца седлали хворостины,  
Неслись, крутя над головой клинки,  
И, словно бурки, хлопали по спинам  
Холщевые порожние мешки.  
Дорога прокаленная бежала  
Туда, где под обрывом у реки,  
Самих себя  
От нетерпенья жала,  
Щетинились крапивные полки.  
У них мундиры были лягушачьи  
И каждый лист, как жгучая ладонь,  
Но не от боли, а от злости плача,  
Рубил их босоногий эскадрон...  
Помощников встречая у порога,  
Усталых, прокоптившихся в пыли,  
Дивилась мать, что снова слишком много  
Крапивы мы для супа принесли.

## НЕМЕЦКИЙ ДОТ

По плечи вбитый, не грозит  
Ни детям, ни полям зеленым.  
И вырван огненный язык  
Из пасти железобетонной.  
И пулеметные глаза  
Ушли под каменные веки.  
Растет из трещины лоза,  
В три гильзы свищет резкий ветер.  
Война осталась в черных снах.  
И там, под черепом повинным,  
Четырехлапый серый знак  
Плетет из праха паутину.

## ЛАДОНЬ

Мы даже вскользь не спрашивали о том,  
Чья здесь вина.  
Пустой рукав запавшим ртом  
Сказал: «Война».  
Предупреждая сочувствие и протест,  
Чтоб не мелькнула фальшь,  
Зубами скрипел его протез,  
Ударившись об асфальт.  
И каждый не сразу к тому привык,  
Что рука, уцелевшая на войне,  
Камни ворочала за двоих,  
Ношу ворочала за двоих.  
И раздавалась в ладони она,  
Становилась крепче в кости,  
И все заменить пыталась она  
Ту, что не отрастить.  
Катались его желваки, тверды.  
Он шел, как по целине.  
Он был всегда на ладонь впереди,  
На ладонь,  
Оставленную на войне.

## ПЕРВАЯ ПОСЛЕВОЕННАЯ ВЕСНА

Прозрачны от горя и корья,  
Тянули бабы плуг,  
Тянули цугом.  
Осколочная рыжая стерня  
У лемеха выламывала зубы.  
Выкручивала плечи бичева  
И, словно рашпиль, обдирала тело,  
Но – хоть разбейся – ни одна вдова  
Идти за вдовым плугом не хотела.  
И, за рога железные держась,  
Вел борозду с молитвой дед Прокопий.  
А жаворонок заливался всласть –  
Последний снег подтаивал в окопе.

## ДУМА

Дума с думой для песни сойдутся,  
Сердце матери – с сердцем земли,  
И тогда из багрового солнца  
Вылетают мои журавли.  
Кумачовыми крыльями машут  
Над избою с луной набекрень –  
И никем я вовек не обманут,  
Не убит и не предан никем.  
Юность Родины в шлеме крылатом  
Вырастает лицом на зарю.  
И опять с неизвестным солдатом  
До утра у костра говорю.  
В сине море уходит кораблик,  
В землю талую – лунный сошник.  
И отцовская старая сабля  
Родником под пластами звенит.  
Песня с песней для думы сойдется,  
Сердце матери – с сердцем земли,  
Затрубят обгаренные солнцем  
Журавли, журавли, журавли.



**ЗАХАРОВ**  
**Алексей Анатольевич**



**Внук участника войны**

Родился 30 июля 1971 года в городе Кургане. В 1993 году закончил Курганский машиностроительный институт. Работал инженером-механиком, менеджером, журналистом.

Прозу начал писать в 2002 году. Принимал участие в форумах молодых писателей, проходивших в Красноярске (2005) и в Москве (2005-2007). По итогам форума молодых писателей России 2006 года в Москве стал стипендиатом Федерального агентства по культуре и кинематографии.

Публиковался в журналах «Москва», «Литературный Башкортостан», «Тобол», в коллективных сборниках. В 2008 году вышла в свет его первая книга «Ловцы звезд».

В Союз писателей России принят в 2009 году.



## ФАНТОМНАЯ БОЛЬ

(отрывок из рассказа)

...В сорок третьем году старик был двадцатилетним сержантом Медведевым. В один из ясных августовских дней пуля из немецкого МГ-42 безнадежно разворотила ему ногу под левым коленом. Он и старшина Касымов – узбек по национальности, – пробирались по разбитым улицам пригорода Харькова, возвращаясь из разведки и неожиданно попали под обстрел неприятельского секрета, который засел в цокольном этаже почти разрушенного артиллерийскими снарядами дома.

Пулемет ударил где-то слева, совсем близко, длинной раскатистой очередью. Среди образовавшегося продолжительного затишья его рывканье показалось им нереальным и совсем чуждым. Пулемет зло выплюнул в них стаю остервенелых пуль, которые, посшибав по пути высокие стебли мальвы, разнесли в пыль соседний кирпичный угол. Удивительно, но первые выстрелы не причинили ему и Касымову никакого вреда. Немецкий стрелок видно не отличался особой меткостью. Разом пригнувшись, они втянули головы в плечи и метнулись к пустому оконному проему ближайшего здания. Вслед за первой очередью сразу же грохнула вторая. Вот после нее в каждого из них и угодило по пуле. Одна тут же убила старшину – вошла сзади, в наголо обритый загорелый затылок узбека, снеся Касымову верхнюю часть лица, – а другая – досталась ему.

На последней секунде сознания он успел ввалиться в полупустое помещение и тут же потерялся в беспамятной мгле. Когда через неопределенное время он пришел в себя, то первое, что увидел – своего мертвого друга, Ибрата. Труп повис поперек низкого оконного проема, обращенный лицом вверх. Поднимающееся летнее солнце ярко освещало убитого. Его лучи без стеснения скользили по линиялой гимнастерке, играли на эмали неестественно оголенных зубов, гранях серебряной солдатской медали, и, проникая внутрь здания, освещали треть большой комнаты, в которую он запрыгнул. Солнце совершенно обыденно и отстраненно воспринимало факт смерти человека. Происходившее на земле никак не волновало его. Оно с одинаковой силой и щедростью светило и для немецкого пулеметчика, и для

мертвого старшины.

Касымов не успел добежать до спасительного укрытия всего шаг. Одна половина тела находилась внутри, другая снаружи. Руки Ибрата безвольно свисали к полу, пальцы касались осколков ломаного красного кирпича и мелких стекол. На пыльных досках, под головой старшины образовалась желеобразная кроваво-грязная масса. От лица постоянно улыбающегося тридцатилетнего узбека сохранились лишь приоткрытые губы и подбородок...

Медведев отвел от убитого товарища взгляд и посмотрел на свою изуродованную ногу. Пуля прошла навывлет, но он догадался, что кость все же задета. Штанина напиталась кровью и сделалась черной. Под сапогом образовалась небольшая лужица. «Видимо в сапоге тоже кровь», – расплывчато думал он.

Несмотря на тяжесть ранения, ему все же здорово повезло. Чудо, но ни один крупный кровеносный сосуд не был поврежден выстрелом, лишь только поэтому он не истек кровью пока лежал без сознания и не умер.

Он с трудом подполз к простенку, приподнявшись на слабых руках, сел на пол и прислонился к прохладной кирпичной кладке. Потом снял ремень, обвил им бедро и, кусая кислый от пота брезент зубами, что есть силы затянул пряжку. Пока возился с ремнем, сильно устал. Закончив, он закрыл глаза и просидел, не двигаясь, около получаса. Мысли блуждали в его мозгу неясными размытыми образами. Путались, приобретая странные формы, а порою вовсе пропадали. Иногда он почти выпадал из действительности, каждый раз готовый провалиться в сумрачное полузабытье, но в последний миг усилием воли заставлял себя разомкнуть веки и сосредоточить взгляд на одном из предметов, находившихся в комнате.

Здание, в которое он попал, когда-то было административным. Какой-то архив или канцелярия. Об этом свидетельствовали многочисленные вещи, сохранившиеся от прежнего интерьера. У дальней стены громоздились два пустых книжных шкафа с распахнутыми покосившимися дверцами – удивительно, но в одном шкафу все стекла оказались целыми, – рядом на полу в беспорядке валялись многочисленные листы бумаги, обрывки газет и несколько книг с замятыми страницами. На середине комнаты валялся сломанный стул и прямоугольная деревянная рама то ли от зеркала, то ли от большого номенклатурного портрета.

Он еще раз обвел глазами помещение, но ничего кроме осыпавшейся штукатурки и колотого кирпича больше не обнаружил. Очень хотелось пить. В пересохшем горле пылало. Он поднял с пола снятую с ремня фляжку, отвинтил крышечку и, не в силах остановиться, сделал несколько жадных глотков.

«Сколько сейчас времени? Как долго я пролежал без сознания?» – гадал он. Он помнил, что они с Касымовым возвращались к своим в десять утра. Часов у него не имелось, но, судя по характеру солнечного света на улице, теперь уже стоял полдень.

Он посмотрел на мертвого старшину. Он знал, что у того в галифе лежат дореволюционные «Павел Буре» с отломленной верхней крышкой, у которых конец стальной цепочки был намертво пришит к ткани штанов. Хозяйственный узбек очень дорожил часами и боялся их потерять. Но даже мысли о том, чтобы попытаться вынуть часы из кармана мертвого старшины у него не возникало. Если немец заметит движение в здании, может закидать гранатами или применить огнемет. «Сожжет как мышь в ведре с мусором», – мелькнуло у него в уме. О приблизительном течении времени можно ведь судить и по смене дня, рассудил он, а рисковать и тратить последние силы ради старых часов ему не хотелось. К тому же до наступления темноты пытаться выбраться наружу не было никакого смысла. «Нужно отлежаться, набраться сил, а там поглядим. Ползти в светлое время опасно». Он снова поднес фляжку к губам, глотнул, после завинтил крышечку и, поболтав флягу, определил примерное количество оставшейся воды: «Надо экономить, питья осталось совсем малость».

Он попытался осмотреть раненую ногу и пошевелить пальцами, но тут же отверг эту идею. Каждое прикосновение к ноге доставляло нестерпимую боль. Сильное кровотечение прекратилось, и это было главным, а в остальном он все равно себе сейчас ничем помочь не мог.

Он осторожно наклонился вперед, дотянулся до приклада ППШ и придвинул автомат к себе.

Августовская полуденная жара достигла пика силы. Солнце пылало точно в июле. В оконных проемах по синему небу лениво плыли разморенные жарой грузные облака. Порою теплый ветерок легкими порывами врывается в разоренное помещение, донося до него запахи зрелого украинского лета, смешанные с гарью близкого пожарища. Сидя у стены, он то следил за движе-

нием облаков, то пытался фиксировать в памяти размер и положение солнечного пятна на коричневых досках пола, а временами из-за потери сил и под действием резких приступов боли забывался, отступал от реальности на несколько шагов, проваливаясь в бездонную темень. Спустя минуту он вновь возвращался в сознание. Левую ногу нестерпимо ломило до самой поясницы, все мышцы драло огнем. Время от времени беснующаяся боль с силой выстреливала в разные части тела. В такие мгновения он до скрежета сжимал зубы и глухо постанывал. Затем боль ненадолго, будто устав терзать его, успокаивалась, и он переводил дух, отваяясь спиной на стену.

Часы тянулись изматывающе медленно. Снаружи ничего не происходило. Иногда где-то вдали слышались одиночные выстрелы. Они звучали смазанными, потерявшими из-за дальности расстояния силу звука, какими-то ненастоящими, совсем не страшными. После все замолкало, и он опять различал голоса насекомых беззаботно стрекочущих под выбитым окном.

К концу дня вода в алюминиевой фляжке закончилась. Он аккуратно, стараясь не уронить ни капли, вылил последние остатки в рот и, не глотая, подержал до тех пор, пока вода не превратилась в клейкую массу. Он помнил, что у них с Ибратом на двоих была всего одна фляга, а значит, теперь он остался без питья. «Может быть, дотерплю», – подумал он со слабой надеждой. Но не дотерпел. У него поднялась температура. Начался жар. А до наступления темноты оставалось еще часа три.

Мучаясь жаждой, он держался, сколько мог. Потом стиснул левой рукой ППШ и на правом боку, пересиливая боль, выполз из комнаты через высокие двустворчатые двери. Осмотрелся в длинном полутемном коридоре и, выбрав наугад направление, пополз, в надежде отыскать воду. Уже в соседней комнате он к своей радости обнаружил две тонкие трубы. Они выходили из подвала, затем тянулись вдоль пола и через несколько метров исчезали в кладке простенка. Опять выбравшись из комнаты в коридор, он стал разыскивать вход в следующее помещение.

Через несколько метров, в полусумраке прохода, он различил пустой проем с сорванной дверью и тут, в этот момент, вдруг услышал отчетливый стук печатной машинки. Стук был сбивчивый, неумелый, с различными интервалами между неуверенными тычками. Иной раз удары клавиш следовали торопливой сухой дробью, иногда прерывались на несколько секунд, а иногда

человек, работавший на машинке, видимо, отыскав нужную букву, совершал одиночное нажатие, и вновь наступала длительная пауза.

Он положил палец на спусковой крючок и, внутренне сжавшись, стараясь не шуметь, начал красться к комнате, из которой доносился настороживший его звук. Добравшись до дверного проема, он осторожно высунул голову и заглянул внутрь.

Помещение оказалось меньше того, где он просидел целый день. В комнате было два больших окна с вынесенными стеклами. В двух метрах от правой стены располагался массивный письменный стол, затянутый темно-синим сукном. Другой, точно такой же, был опрокинут набок посреди комнаты. Возле левой стены горой лежали поломанные стулья. Рядом с опрокинутым столом на голых досках пола, вполоборота к дверному проему, на коленях сидела девушка, и увлечено стучала двумя пальцами по клавишам печатной машинки. На девушке было светлое летнее платье с круглым отложным воротником и демисезонные мужские полуботинки на босу ногу.

Продолжая быть незаметным для девушки, он еще раз цепко охватил глазами комнату и перевел взгляд на машинку, высокую и массивную, с круглыми клавишами-кнопками и с чудным не нашим названием – «Ундервуд». Лист в каретке отсутствовал, девушка просто забавлялась, набирая на каучуковом валике воображаемый текст. Рядом с машинкой валялись расколотая стеклянная чернильница-непроливашка и пустая картонная папка для бумаг.

Он опустил ППШ и негромко, но строго потребовал:

– Перестань стучать.

От неожиданности плечи у девушки вздрогнули. Кисти застыли над клавишами машинки. Она резко повернула голову на его голос, и он увидел, как отчетливо на лице девушки отразился непреодолимый, охвативший все ее существо, ужас. В эту секунду он вдруг почувствовал себя виноватым за то, что явился причиной этого нечеловеческого страха и, силясь заглядеть свою невольную вину, он растянул губы в усталой, искаженной болью улыбке:

– Не стучи, пожалуйста, с улицы услышат, – как можно мягче добавил он.

Взгляд девушки скользнул с ППШ на гимнастерку, перешел на пилотку, и только после этого ее лицо постепенно ожило. Он

переложил оружие в левую руку и, опираясь на правый локоть, с трудом волоча искалеченную ногу, вполз в комнату. Привалившись спиной к стене, которая отделяла комнату от коридора, он спросил:

– Ты здесь одна?

– Одна, – чуть слышно ответила девушка, все еще продолжая с пугливой настороженностью вглядываться в его фигуру.

– А как очутилась в здании? – он пристроил раненую ногу ловчее и внимательно рассмотрел свою собеседницу.

На вид ей было лет шестнадцать-семнадцать. Невысокого роста, худенькая – аж светится вся насквозь, – прямые русые волосы были заплетены сзади в короткую тугую косу, тонкая шея смешно выглядывала из круглого воротника платья. Слегка вытянутое лицо с тонкими чертами, глаза темные, кажется карие, аккуратненький прямой нос и плотно сжатый упрямый рот – нижняя губа была чуть полнее верхней. Он молча изучал ее, а девушка, развернувшись к нему, продолжала сидеть на полу, сложив на коленях руки.

– Спряталась, – сдержанно, как-то по-детски ответила она. Она заметила его рану, и теперь все ее внимание было приковано

окровавленной штанине. – Вы ранены?

– Да, попали в ногу.

– Вам, наверное, очень больно? – она с искренним участием в лице посмотрела на него.

– Терпимо, если сидеть неподвижно и не шевелиться.

– А вы здесь с кем? – в свою очередь поинтересовалась она.

– Разве вы здесь один?

– Один. Моего товарища утром убили. Слышала утром пулеметные выстрелы?

– Слышала, но побоялась выглядывать из окна. Я почти до самого обеда просидела вон в том углу, – призналась девушка, указав за стол с синим сукном.

– Ну и правильно сделала, что просидела. Только стучать на машинке зря принялась, немец все еще может быть где-нибудь рядом. Тебя звать-то как?

– Таня, – ответила девушка и тут же поспешно поправилась, – Татьяна.

Он едва заметно улыбнулся и снова спросил ее:

– А где родные-то твои, Татьяна? Почему одна? Почему не с

домашними?

Мышцы у девушки затекли, прежде чем ответить на его вопрос она поерзала на месте, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую.

– Я с бабушкой жила, а месяц назад она умерла от почечной болезни, – сказала Таня, – а больше в городе у меня близких нет.

Девушка привстала, высвободила из-под себя уставшие ноги и, опершись на руку, села на пол. Подогнув колени, она другой рукой тщательно расправила подол платья.

– Ты давно здесь прячешься? – поинтересовался он.

Его сильно знобило, он почувствовал, как на него в очередной раз взялась наваливаться слабость, перед глазами поплыло. Из всех сил он старался не потерять непрочную нить, связывающую его с действительностью.

– С самого утра.

– А на машинке зачем печатать надумала?

– Чтобы отвлечься, – виновато улыбнулась Таня. – Мне надоело все время сидеть в углу. К тому же одной страшно, а тут в комнате нашлась старая машинка. Я сперва просто опускала пальцы на клавиши, не ударяя по ним, а после увлеклась и не заметила, как стала по-настоящему печатать. А потом вдруг вы появились...

– Что же ты такое печатала, что так сильно увлеклась, – он прикрыл на пару мгновений глаза, позволив себе чуть расслабиться. Он не услышал ответа, поэтому снова приоткрыл веки и посмотрел на девушку. Таня сидела, потупившись, и молчала.

– Секрет? – попробовал пошутить он. – Наверно, какому-нибудь молодому человеку письмо писала.

– Нет, маме, – едва различимо отозвалась девушка.

– Кому? – переспросил он, с напряжением вслушиваясь в ее голос.

– Я маме письмо писала, – опустив лицо, все также тихо проговорила Таня.

– Маме? – повторил за ней он. – Ты же говорила, что вы вдвоем с бабушкой жили.

– В самом начале войны мама пыталась добраться до нас из Ровно. Мы с нею в Ровно жили. А в Харьков я на каникулы к бабушке приехала. Но их поезд не пришел и больше мы..., то есть я о ней ничего не знаю.



– О чем же ты писала маме?

Странное дело, он понимал, что был старше этой девочки всего на три, ну может четыре года и, тем не менее, он сейчас ощущал себя в разговоре с ней очень взрослым и многоопытным человеком, из другого, более старшего поколения. Она обращалась к нему на «вы», а он, будто так и положено, называл ее на «ты». Внутренне он причислял себя в эту минуту к тому поколению людей, к которому относился старшина Касымов и большинство других тридцати-сорокалетних солдат его роты, оставших в родной стороне дома, хозяйство, жен и детей. Два года фронтов, военная форма и ППШ с ободренным прикладом заставляли его ощущать себя рядом с этой девочкой совершенно взрослым человеком. Сейчас в этой комнате он был главным, он отвечал за все. Два года они вместе с Ибратом Касымовым воевали ради вот таких вот девочек. Два года он воевал ради двух своих сестер-подростков, которые остались в маленьком городке за Уралом. Да, целых два года...

– Обо всем, – просто ответила Таня и на этот раз смело и открыто взглянула ему в лицо. – Я разговаривала с ней, рассказывала, что с нами произошло за последнее время, написала, что нашей бабушки больше нет, что я осталась одна. Сообщила, как я по ней сильно-сильно скучаю и очень ее жду.

Девушка опять опустила лицо, пытаясь спрятать глаза, и ему показалось, что он заметил в них блеснувшие, едва сдерживаемые слезы. Он промолчал. Успокаивать и произносить пустые слова ему не хотелось. Ни к чему. Эта хрупкая девочка все понимала не хуже его.

Таня быстро и мужественно справилась с эмоциями, взглянула на его раненную ногу и предложила:

– Давайте я вам чем-нибудь помогу. Я умею перевязывать.

– Нет, не нужно, – он торопливо замотал головой. Казалось, даже одна мысль о том, чтобы потревожить рану вызывала в ноге стремительное ожесточение боли. – Кровотечение прекратилось, а больше пока ничего не сделать. Скажи-ка лучше, здесь вода где-нибудь поблизости есть? Мне пить сильно хочется.

– Да, есть, – ответила Таня. – Через комнату отсюда находится огромный чугунный титан, в нем сохранилось несколько ведер воды. Я пила из него утром. Правда вода пахнет железом, но для питья пригодна.

Он облегченно вздохнул, провел по губам шершавым языком

и от этого ощутил еще большую жажду.

Девушка оперлась на руки, собираясь встать:

– Я принесу воды. Тут рядышком.

– Нет, подожди, – он приподнял руку, принудив ее задержаться. – Через минуту сходишь. Скажи лучше, тебе мама снится?

Девушка послушно опустилась на пол, снова старательно расправила подол платья на ногах и негромко ответила:

– Раньше, когда война только началась, часто снилась, а теперь стала реже. Видимо, я привыкла.

– Ты с ней разговариваешь во сне?

– Разговариваю, – кивнула Таня и доверчиво улыбнулась.

Он отвел взгляд и промолчал. У него сжалось в груди и тревожно защемило. Ему тоже захотелось поделиться с этой девочкой, что и он во сне видит мать, что он с нею всегда разговаривает, спрашивает про дом, про отца и сестер, про друзей. Но он не знал, как это сделать. С чего начать. Он совершенно разучился. Он утратил естественную способность доверять самое сокровенное другому человеку. В суровых военных буднях, в скупой на эмоции повседневной мужской атмосфере, он совершенно отвык от таких простых человеческих чувств. И сейчас возникшие в его душе понятные каждому человеку переживания, обрушившиеся на него захлестывающим бурным потоком, показались ему чем-то давно забытым, почти неестественным, навсегда оставленным в той, мирной, довоенной жизни. В той жизни, в которой он еще был совсем зеленым и неопытным, был беззаботным неунывающим пацаном. В той жизни он еще многого не знал и не видел. До этой минуты он полагал, что ему уже больше никогда не стать прежним, что все отмерло и заглохло, и поэтому родившееся в нем чувство, позволившее ему вновь ощутить себя обычным человеком, не солдатом, одновременно вызвало в нем и смутение и радость. С одной стороны он почему-то стеснялся того, что происходило с ним. Что подумает о нем эта девчонка, ведь он для нее взрослый? Война приучила его быть сдержанным. Почти равнодушным. Каждый день смерть проходила рядом с ним, и он видел, как она опрокидывала и забирала с собой тех, с кем он еще утром разговаривал, курил и обменивался шутками. Вот и сегодня днем, когда он очнувшись смотрел на убитого Ибрата, он почти не испытывал никаких особенных шевелений в душе. Глядя на разбитое пулей лицо друга, он лишь думал об оставшейся во фляжке воде и карманных часах: И ни о чем больше. Смерть человека сделалась для него буднич-

ным делом. Но с другой стороны ему все же неудержимо хотелось поделиться своєю душевной тоской с Таней. Ведь этой жгучей, томящей тоски накопилось в его сердце за два последних бесконечно долгих года так много, что больше не было сил удерживать ее внутри себя. Все это время он старался не замечать ее, а если и замечал, загонял все дальше и дальше, вглубь. Так ему было легче выживать здесь на войне, день за днем.

Он неуверенно глянул на девушку пришибленными глазами. Он искал в ее лице помощи. Кажется, вот-вот и признается, расскажет ей обо всем. Но в последнюю секунду все же не смог. Война сломала в его душе что-то очень важное, живое, необходимое. Он неожиданно ясно осознал перемены, произошедшие с ним, и от этого понимания у него внутри стало пусто и ледяно.

Он опустил глаза и глухо сказал, стараясь сохранять интонацию голоса ровной:

– Так ты говоришь, что вода где-то поблизости, и ты сможешь ее принести?

– Да, совсем рядом, – с готовностью ответила Таня и легко вскочила на ноги.

«Вроде бы ничего не заметила», – с надеждой подумал он.

– Я быстренько, – сказала она, засветившись лицом оттого, что может оказаться хоть чем-то полезной, и протянула руку, чтобы взять фляжку.

Он подал ей ее. Девушка несколько секунд стояла молча, не решаясь сказать, но потом все же спросила:

– А вас как зовут?

Она стояла к окну спиной, окруженная мерцающим золотым ореолом, сотканным из проникавших через открытый проем лучей закатного солнца. Тоненькая и беззащитная. Отдельные выбившиеся из косы волоски отчетливо выделялись на ярком сияющем фоне окна причудливым воздушным кружевом. Маленькие ушные раковины насквозь просвечивали нежным розовым светом. Он чуть заметно улыбнулся и уже собирался ответить на вопрос, как вдруг заметил, что в оконном проеме, слева от головы девушки, что-то мелькнуло. Точно серая птица впорхнула с улицы в комнату.

В следующую секунду его приученный за месяцы боев мозг машинально распознал во влетевшем в помещение предмете немецкую гранату с длинной деревянной рукоятью. Снаряд упал позади девушки, со стуком ударился об угол опрокинутого стола

и завалился за него.

Он не успел ничего сделать, лишь в отчаянии выбросил вперед кисть с растопыренными пальцами и, собираясь закричать, разъял пересохший рот. В то же мгновение тишина натужно лопнула и грохнул взрыв. В его памяти на всю жизнь отпечатался этот момент: ослепительная вспышка и лицо совсем молоденькой девушки, немного удивленное и недоумевающее...

...Его сильно оглушило взрывной волной, однако осколками не задело. В тот день смерть не могла до него добраться. Массивная крышка опрокинутого письменного стола спасла его, защитив от огненного металла. Он пришел в себя через какое-то время и еще минуты две бессмысленно водил по стенам и потолку пьяным взглядом. Стены вокруг него двигались, пол раскачивался и плескался волною. Он не мог толком ничего сообразить. Голова раскалывалась - тупая боль орудовала внутри железным молотом. Когда дым рассеялся, а пыль улеглась, гудящая тишина повисла в упругом воздухе застывшим колокольным стоном. Или, может быть, это гудело у него в ушах? Он не понимал. Потом он увидел распластанную девушку на окровавленных досках грязного пола и окружающий мир с его ежесекундной опасностью перестал существовать.

Таня лежала рядом с пишущей машинкой и вздрагивала в судорожных конвульсиях. С одной ноги у нее слетел полуботинок, платье задралось. Он забыл про раненную ногу и, преодолевая тошноту, противно распиравшую грудь, подполз к девушке. Всюду валялись деревянные щепки, сколотые со стола осколками разорвавшейся гранаты, и крошево штукатурки. Несколько кусочков дерева, лежали на Тане. Он аккуратно собрал их, отбросил в сторону и поправил подол платья, сбившегося на оцарапанных ногах.

Таня умирала около часа. Из-за того, что она стояла рядом со столом в полный рост, осколки безжалостно посекали ее выше пояса. Один попал по касательной в шею, оставив хоть и глубокую, но безопасную царапину, еще несколько крупных, раскаленных кусков металла разорвали платье между лопаток и глубоко засели в худеньком девичьем теле.

Он осмотрел девушку. Торопясь и путаясь в рукавах, не замечая собственной одуряющей боли, стащил гимнастерку, свернул ее и подложил под истерзанную Танину спину, надеясь таким образом задержать выход крови. Затем взял ее голову в ладони и

склонился у нее над лицом. Таня почти все время находилась в сознании. Ее дыхание сделалось прерывистым и частым. Губы сморщились, обметались белесым налетом, под глазами залегли восковые тени. Ее взгляд блуждал по нему, полный неуверенности, тревоги и невыносимых физических страданий. Девушка не отпускала его лица и прикрывала веки лишь тогда, когда мучавшая ее боль вконец изнуряла, высасывала последние силы. В один из моментов она беспокойно пошарила рядом с собой, пытаясь нащупать его руку, не нашла и в иступлении принялась комкать ткань платья. Тогда он высвободил левую руку, взял Таню за кисть и, продолжая правой поддерживать голову девушки, осторожно положил ее себе на колено. Таня тут же схватила его ладонь, будто надеясь найти в ней успокоение, и лихорадочно сжала в холодеющих пальцах.

– Сильно меня, да? – выдохнула она, с трудом пошевелив губами.

– Нет не сильно, – солгал он. – Не разговаривай, молчи. Не тратьсь понапрасну.

Она в упор посмотрела на него:

– Зачем ты обманываешь? Я же знаю, что сильно... Наверное, потому что сильно, поэтому и знаю. У меня ноги очень мерзнут, а до этого не мерзли...

– Просто солнце садится... Вечер уже.

– Опять обманываешь..., – без упрека произнесла Таня. Из ее груди вырвался хриплый стон, она сухо кашлянула и на губах появилась кровь.

– Молчи, молчи.

– Я умру? – спросила девушка и вслед за вопросом ответила утвердительно сама себе. – Умру...

Он распознал в этом коротком, страшном слове столько невыказанного сожаления и горечи, что на этот раз не смог ей солгать. Отвел глаза и с ожесточением и ненавистью посмотрел на видимый через окно открытый кусок далекого тускнеющего неба.

– Я боюсь... – еле слышно прошептала Таня, – ты не уходи от меня... – она еще крепче сжала его кисть. – Ладно...? Раньше, когда мне становилось страшно, я всегда мысленно разговаривала с мамой... а сейчас... сейчас хорошо, что ты рядом...

По телу девушки пробежала судорога, и ее лицо пересекла боль.

---

– Так больно, что очень хочется плакать... – призналась она ему. Ее глаза наполнились слезами и несколько крупных капель быстро сбежали по щекам.

– Ты плачь, плачь... – с надсадой сказал он, преодолевая в горле комок.

Девушка неотрывно смотрела ему в лицо. Слезы продолжали катиться по ее бледной точно выбеленное полотно коже.

– И мне мама иногда снится... – внезапно признался он, секундно помолчал и добавил, – я с ней тоже разговариваю, как и ты со своей мамой...

Девушка ничего не ответила, она стала совсем слаба, только в глубине ее взгляда, сквозь толщу страха и телесных мук, он различил искру радости, затеплившуюся в ее глазах после произнесенных им слов. Ему показалось, что девушка едва заметно улыбнулась, и ощутил, как она погладила пальцами его руку. По ее телу прошла мелкая дрожь. Таня задышала часто-часто, судорожно хватая воздух обметанными губами, и опять с хрипом выплюнула сгусток черной крови. Он бережно вытер ее лицо ладонью и убрал со лба упавшие волосы. Он смотрел на быстро угасающую юную жизнь, и ему впервые за всю войну не верилось в то, что человек умирает. Нет, не может быть, чтобы эта девочка умерла! Его сознание безоговорочно отвергало подобную возможность. Оно не желало принимать ее и мириться с нею. Погиб Ибрат, в любой день мог умереть он сам, могли быть убитыми другие знакомые солдаты из его роты, что бывало часто, но не эта беззащитная девочка. Если такое случается в мире, значит в нем что-то неправильно, что-то не так. Такой мир не приспособлен для жизни. Если девочка на его руках умирает, значит, мир не имеет права на существование! Такой мир обречен! Нежизнеспособен!

Он отсутствующе уставился в стену напротив. Не понимая, что с ним происходит, он смотрел на разбитую штукатурку и тихонько гладил умирающую Таню по голове. Она слегка пошевелилась, и он поспешно, с беспокойством, посмотрел на нее. Девушка уже почти ничего не различала. Ее глаза блуждали по его лицу и не находили его взгляда. В этот миг что-то неконтролируемое произошло с ним, внутри ослепительно взорвалось, озарив сознание белым светом, и не в силах сдержаться он разрыдался. Из груди вырывались не то протяжные стоны, не то крики. Временами, уткнувшись себе в плечо и до крови, с ожесточением прокусывая кожу, он начинал в неистовстве выть. Его глухой, задавленный плач продолжался несколько минут. Он очнулся лишь тогда, когда Таня на удивление крепко схватила его руку. Взгляд ее сделался очень чистым и осмысленным, она с минуту спокойно рассматривала его лицо, будто пыталась навсегда запомнить каждую чер-

---

**КЕРЧЕНКО**  
**Михаил Степанович**  
(25.07.1922 – 12.07.2002)



Родился 22 июля 1922 года на прииске Чалдонка Читинской области. Закончил Новосибирский сельхозинститут, Институт пчеловодства в селе Рыбное Рязанской области. Работал агрономом Бийской селекционной станции, преподавателем в техникумах, сотрудником и собкором редакции «Красный Курган» («Советское Зауралье»), редактором газеты «Призыв» (г.Макушино).

Автор книг прозы «Лесной барабанщик», «Зори на просеках», «Янтарные соты», «Донника белый цвет», «Жизнь золотого роя», книг стихотворений «Я встретил вас», «Сиреневые лабиринты», «Золото в лазури», книг сказок «Тайна подземного замка», «Путешествие в Золотую долину цветов», повести «Годы странствий» и других.

В Союз писателей СССР принят в 1970 году.



## РАССКАЗ ПАРТИЗАНКИ

В то время я жила на Брянщине в деревне Рябки. Мой домик стоял у самой шоссейной дороги. Муж погиб в финскую войну, и я одна воспитывала трёх сынков. Война захватила меня и всех людей врасплох. Всего я ожидала, только не этой вести. В тот момент я не могла до конца постичь тот ужас, который таился в слове война! Люди на митинг сошлись на площади перед церковью. На грузовиках сюда приехали трактористы и шофёры, слесари и токари, доярки, свиарки. Начальник почты Трошин сообщил, что «началась война, что на нашу Родину напали орды фашистов и что советский народ во всеоружии встретит врага и разобьет его наголову». Все понимали, что это не простое дело: погибнет тьма людей...

Через неделю Трошин организовал отряд из шести человек (в том числе была и я) для спасения нашего чистопородного стада коров, которое надо было препроводить тайно до железной дороги, погрузить в вагоны и отправить в Сибирь.

Старшему сыну Пете наказала:

– Смотри, сын, ты остаёшься за хозяина. Тебе уже двенадцать лет...

Когда гнали стадо, нас настиг фашистский самолёт и начал бомбить. Стадо спрятали в лесу. Ночами передвигались...

... Когда мы вернулись домой, немцы уже хозяйничали в нашей деревне. По шоссе, около моей хаты, громыхая, шли день и ночь танки, самоходные пушки, тягачи, цистерны с горючим, машины с солдатами. Смотрела я на всё это и вспоминала страшную сказку, которую рассказывала мне в детстве бабушка. Сказку про гадов гремучих. Железные, многоголовые чудовища стадом ползли от села к селу, гремели и грохотали, наводили ужас на всё живое. Все под ними горело: поля, луга и даже земля. Вода превращалась в пар, камни плавились... Добравшись до деревни, они пожирала людей. И вот тогда я поняла, что фашисты - это те же гады гремучие. Жутко было смотреть на всё это. Многие наши жители разбежались кто куда: в лес, в дальние хутора. Каждое утро я выходила на шоссе и смотрела на восток: не появятся ли свои?



Весной в половодье весь мусор всплывает наверх. Так и в нашей деревне произошло: одни люди ушли в партизаны, а некоторые (лентяи и пьяницы) стали служить немцам. Как-то нас, рябковских жителей, согнали по немецкому приказу на площадь, которую окружили фрицы с автоматами в руках. Прошел слух, что они часто так делают, сгоняют людей в одну кучу и расстреливают. Вместе с немецкими офицерами поднялся на крыльцо Павлик, сын моей подруги Ульяши. Он знал немецкий язык и работал переводчиком по совету партизан. Павлик объявил, что немецкое командование назначает бывшего колхозного счетовода Кузика старостой, что все должны его уважать и выполнять его распоряжения и что на площади будет сделана виселица и послушники будут на ней повешены. Павлик объявил, что власти разрешают населению поделить между собой рожь в поле на корню и картошку. Впоследствии немцы очистили все наши закрома... Потом выступил офицер, прокричал:

– Ми ваш спаситель и освободитель, ви должны жить с нами в добри согласи. У-р-р-я!

Гробовое молчание. Офицер снова прокричал:

– Мы вас научим кричайт ура.

Вечером, когда я во дворе доила корову, меня кто-то окликнул. Я обернулась: «Тю, перепугал. Ты кто?»

Это был невысокого роста, сутулый человек в сером, из грубого брезента плаще. Глаза пронзительные, колючие. Он наклонился и сказал:

– Ясной, Арина Емельяновна. От партизан. Тебе есть поручение. Слишком откровенно он начал разговор. Я насторожилась.

– У тебя на лбу не написано: кто ты такой. Партизанить не собираюсь. У меня дети. Я должна уберечь их.

– Успокойся. Никуда не надо идти. Поглядывай, что делается на шоссе, какие танки идут, сколько? Мы будем поддерживать с тобой связь. От немцев не отворачивайся.

– Иди-ка ты, мил человек, туда, откуда пришел. Ты ошибся адресом.

Он помолчал, страшно усталый и озабоченный.

– Ариша, можно к вам прислать на квартиру одноглазого

сапожника?

– Так, может, ты за этим и пришёл? У меня часто бывают посторонние.

– Так это хорошо: больше доверия. У него документы в порядке. Он вроде брат вашего покойного мужа из-под Москвы.

Я вдруг вспомнила, что в нашем альбоме есть фотография деверя с черной повязкой на левом глазу. Был слух, что он ушел из жизни.

– Значит, новый родственничек объявился, воскрес?

– Вероятно. Так надо.

– Петя, неси альбом. Вот мой деверь. Похож на сапожника?

– Это почти один и тот же человек. Хорошо, что фото сохранилось.

Мы жали хлеб серпами на своих полосках. И однажды недалеко от меня прошёл какой-то человек в шляпе, в тёмных очках и хорошем костюме, посмотрел на меня внимательно. Я поклонилась ему: «Здравствуй, пан!» – и отвернулась. Сейчас, думаю, каждому черту надо кланяться. Он ушел в лес, а я продолжала вязать снопы и складывать их в суслоны. Поднимаю голову, а передо мной тот самый пан.

– Тю, напугал. Откуда взялся и что надо?

– Не бойся! Я такой же пан, как ты пани. Ты Арина Емельяновна? А я одноглазый сапожник, твой, так сказать, деверь.

– Не похож. На фотографии – другой, – сказала я.

Он отвернулся, снял шляпу, очки, а когда снова повернул ко мне лицо, то на левом глазу оказалась чёрная повязка:

– Узнаешь? – спросил. – Так вот не падай духом. Победа рано или поздно будет за нами. Я ночью вселюсь к вам, если не возражаете. Идёт!?

... Жито на хромом коне я перевезла на свой огород и сложила в стожок. Метёлкой размела двор и превратила его в точок. Решила до дождей обмолотить все снопы и солому прибрать. Сама сделала цеп: на крыше сарая лежала сухая и лёгкая рукоять. Я привязала к ней сыромятным ремешком палку, величиной с аршин, и получился цеп. Надо уметь им махать и колотить по хлебным колосьям. Мне помогали дети. Развязывали снопы, раскладывали их веером по кругу так, чтобы колосья были внутри. Работа грубая, утомительная. Цеп птицей взлетает над головой и

легко, но хлѣстко опускается на колосья, выбивая из них зерно. Подошел офицер. Важно так постоял, пальцы за ремень засунул и, оттопырив губу, ногой подрыгал. Вот бы, думаю, вашему фюреру спину проутюжить вдоль и поперек этим крестьянским орудием.

– Што делает матка? – спрашивает, закуривая из красивого серебряного портсигара. Вижу: нашей работы. Часы золотые с браслетом, очки сверкают – все наше. Уже успел грабануть.

– Хлеб, – говорю, – молочу. Их чем-то надо кормить, – киваю на ребятишек.

– О, работящи баб, ми уважайт... Короша молотилка.

И навѣл на меня фотоаппарат. Я заслонилась рукой. Он крикнул:

– Погодит! Аи момент. Я имейт великий желаний сделает превосходны фо-то-гра-фи. Ми своим фрау пошлѣм, пусть поглядят, как ви молотит. Какой ви нищий. Совсем рабски труд. Холупи у вас дрянни. У нас корови в лучший хлев стоят. Ми спасѣм Россия от большевик.

«Ишь спаситель-грабитель», – думаю. А вслух говорю, как будто не понимаю, что к чему:

– Вот теперь вы нам построите хоромы, заживѣм в них и работать не будем. От работы кони дохнут...

– Нет, нет, матка. Вам лениви нельзя бить. Вам отдыхайт ошен вредно. Ви, как лошадь, должны в упряж кодить. Будешь досита работайт, вволю.

И он провѣл пальцем по горлу, сладко улыбнулся. Я раскрыла рот:

– А-а-а! Значит, все одно работать. А я думала: теперь будем гулять.

– Нет, – говорит он, – мы с фрау должны гуляйт досита, а вы работайт на нас.

– Скоро ли победите? – спрашиваю. Он подозрительно посмотрел на меня.

– Это военный тайн. Москва возьмѣм, и тогда капуйт вам...

Хотела сказать: «Наполеон был в Москве да сплыл». Но промолчала.

– Имеешь талант сделать из этого хлеба превосходни булька? – спросил.

– Как же! У меня в хате большая русская печь.

– О! Интэрэсно. Идём взирайт своим глазом.

Он переступил порог, втянул в лёгкие воздух, слегка выпучил глаза. Наверное, решила я, не понравился наш домашний дух. Хотя пахло вкусно: борщом и свежеиспечённым хлебом. Вижу: сам слюнки глотает, а кадык ходит, как поршень – туда-сюда. Он взглянул на мой старинный шкаф, заполненный книгами. Удивлённо поднял брови:

– Ви читайт книги? Ви не глупий женщин?

– Все это перечитала не на один ряд. Здесь есть и Гёте, и Шиллер, и другие.

– Ви немец тоже люпит?

– Это были гуманные немцы, - подчеркнула я.

– Я тоже гуман. Ошен гуман. Моя фамилия Клаус Штельцер. Майор.

Он потянул носом воздух.

– Ошшен вкусно. Покажи клерб, - сказал он.

Большие, пышные, с нежным румянцем булки лежали около стены на широкой желтоватой, как воск, чисто вымытой лавке под белыми рушниками. Я приподняла рушник, взяла булку, подала ему.

– О, вот это русский ка-ра-вай. – Он улыбнулся. – Как у вас коворят: на чужой ка-ра-вай рот не разевай!

– Правильно сказал: не разевай... Но попробуйте...

Он отломил кусочек, понюхал, пожевал.

– Ошень корош. Будешь делать нам превосходный булька. Печь клерб.

– Вот те на... Мука хорошая нужна. Дрова. Да мне некогда.

Он нахмурился и топнул ногой:

– Есть когда. Я прикажайт. Всё будет. Я нашальник. Буду жить близко в лесу...

– В лесу? А что вы будете там делать?

Он удивлённо вытаращил глаза:

– О люпопитный пап. (Значит: баба) Отдыхайт будем и кушайт твой клерб. И с фрау шури-мури, – засмеялся и поправил очки.

– Хлебного кваску не хотите отведасть? – предложила я. Он пожал плечами.

Я налила из жбана яристого кваса.

– Не бойтесь, не отравлен.

– Попробуем. Русски экзотик. – И выпил все до дна, не отрываясь от кружки.

– Очень вкусно. Кисли-пресни. Корош. Я буду ездить по субботам пить...

– Пожалуйста, господин Штельцер.

... Вскоре привезли хорошую русскую пшеничную муку, я завела квашню, испекла десять булок. За ними приехали фрицы на машине. Штельцер ездил по субботам пить квас. По деревне распространился слух о том, что я работаю на немцев. Одноглазый сапожник Егор Иванович очень обрадовался моей деловой связи с немцами. Мой дом не был для них подозрительным. Я понимала, что Егор Иванович не сапожник, хотя в его рюкзаке были все сапожные инструменты. Он все наши обутки привел в порядок. Ребятишки не отходили от него. Егор Иванович надел потёртую кожаную куртку, пёструю кепку с ушами, широкие штаны и старые туфли. Глядя на него, можно было подумать, что жизнь крепко помолотила беднягу.

Он наведлся к старосте Кузику, объяснил, что отсидел у большевиков десять лет, строил Беломоро-Балтийский канал, потерял здоровье и вот приехал к брату, которого уже нет в живых. Подрабатывает сапожным делом. Кузик долго копался в его документах и, возвращая их, сказал:

– Не вздумай воровством заниматься: вздёрнем или выколем последний глаз. Видать, что ты непробудный алкаш. Пошел прочь.

По совету Егора Ивановича я, при встрече с бабами, говорила:

– Навязался нахлебник. Не рада ему. Всю жизнь таскался по тюрьмам. Я ему уже показала порог. Сейчас где-то сапожничает. Непутёвый он.

Егор Иванович сидел целыми днями в задней комнате и наблюдал из окон за движением немецких танков, машин с солдатами и всё записывал на листок, потом жёг его и куда-то уходил, наверно, с кем-то встречался, передавал сведения. Всё это я поняла позже: он выполнял особое задание. Ему очень хотелось узнать, что строят немцы в лесу в стороне от шоссе. Они недаром окружили большую территорию тремя рядами колю-

чей проволоки и тщательно охраняли. Оттуда за хлебом ко мне ездили ежедневно.

Я превратила свою печь в маленький хлебозавод. Пекла не только для захватчиков, но и для партизан, которые подъезжали в виде немцев...

Как-то знакомый солдат Шульц, который работал на дорожном катке, укатывал шоссе, зашёл ко мне. Я угостила его борщом. Он рассказал, что его каток хотели отправить на строительство дороги к огромному складу боеприпасов, но потом передумали и он рад этому. Я об этом сообщила Егору Ивановичу. Он кивнул утвердительно головой: 'Я так и думал'. И ушёл, целую неделю не появлялся. И вот вернулся задумчивый:

– Арина Емельяновна, как вы думаете, завтра к вам пожалует майор Клаус Штельцер пить квас?

– В одиннадцать утра будет здесь. Он всегда точен.

– Что ж, приготовимся к приёму гостя. Я с ним должен поговорить.

Я с детишками ушла к брату в Болотный посёлок, а утром пришла домой, корову подоила, хромую лошадь спутала за огородом. Егор Иванович всё ещё не появлялся из своей задней комнаты. Что с ним?

И вдруг открылась дверь и передо мной возник стройный немецкий офицер, слегка похожий на Егора Ивановича. Он был весь в орденах, как тот Штельцер. Я растерялась, напугалась.

– Арина Емельяновна, не пугайтесь. Это я – Егор Иванович, чтоб в приличном виде встретить гостя.

– Так вы не одноглазый? Не немец, случайно?

– Ну, что вы! Я – русский. Но говорить со Штельцером буду на немецком. У меня тут еще три помощника. Вы не пугайтесь. Так надо.

Часов в одиннадцать утра у моего дома остановилась машина, шофёр вылез, а Штельцер остался в кабине. Это насторожило Егора Ивановича. Дело, которое бышо задумано, могло сорваться. Не шофер нужен был, а Штельцер. Шофёр с фляжкой в руках вошёл в дом. Послышалась возня, глухой вскрик – и всё затихло. Штельцер ждал минут десять, неторопливо поглядывал из кабины во двор, а шофера всё нет. Наконец, майор не выдержал и сам направился в дом. Я встретила его у порога. Он почти не взглянул на меня, спросил:

– Где шапер?

– В кухне, - говорю. – Иди туда.

Он шагнул через порог, и в этот миг перед моим носом кто-то захлопнул дверь. Я осталась в сенях. Там, в кухне, зазвучали сердитые отрывистые немецкие голоса:

– Хендехох!

Началось, думаю. Я выбежала во двор. К ограде подкатили два больших грузовика, в них сидели немецкие солдаты в касках, с автоматами в руках. Они кого-то ждали. Уж не Клауса ли Штельцера?

Ну, всё! Погибли! Сейчас заберут Егора Ивановича и, конечно, меня. А что будет с детьми? Хорошо, что я отправила их к брату в Болотный поселок. Я бросилась в землянку, где погреб, но завернула за её угол и посматривала на сени, откуда должен же, наконец, кто-то появиться. И появились. Вышел сам Клаус Штельцер, он нетвёрдо и неуверенно переставлял ноги, рядом в мундире немецкого офицера шагал Егор Иванович. Сзади трое. Все сели в легковую. За рулём, я заметила, очутился Егор Иванович. Машина тронулась. За нею по шоссе помчались два грузовика с автоматчиками. Как я потом узнала, это были переодетые партизаны. У Штельцера не было другого выбора. Под угрозой расстрела он пропустил партизан на территорию военной базы. Охрану разоружили и расстреляли, склад с боеприпасами взорвали. Ни один немец не ушёл живым. Взрыв потряс всё вокруг.

В тот же день после обеда люди видели, как «пьяный» Егор Иванович шёл по левевне и что-то напевал. «Этому война нипочём», – говорил

то большой от-

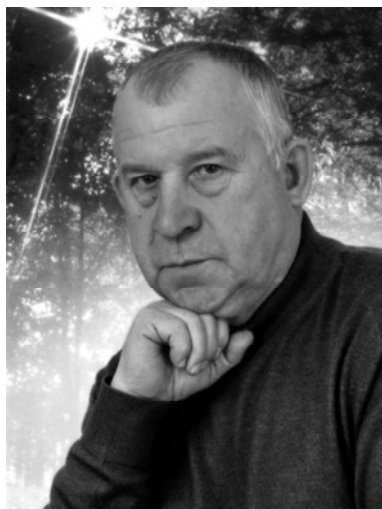




*Владимир Чалый.  
Война*



**КЛИМКИН**  
**Николай Петрович**



**Сын участника войны**

Родился 6 июля 1949 года в деревне Арцыбашево Милославского района Рязанской области. Закончил Ленинградское арктическое училище, но судьба распорядилась так, что всю жизнь проработал строителем. Ныне – генеральный директор управления механизации № 37.

Литературную подготовку проходил в творческом объединении «Юность» под руководством Вячеслава Веселова. Печатался в журналах «Тобол», «Сибирский край», в областной прессе. Издал две книги стихов: «Святая Русь» (2005), «У осени печальные глаза» (2007).

Благодаря его финансовой поддержке, писательской организацией, Каширинским литературно-краеведческим музеем, зауральскими авторами свершено много хороших и добрых дел.

Член Союза писателей России с 2008 года. Директор Курганского отделения «Литературный фонд России».



## ВОЙНЫ НЕ ВИДЕЛ Я РЕБЯТА

Войны не видел я, ребята,  
Не видел кованых сапог,  
Креста на шее у солдата,  
На пряжках надпись «С нами Бог».

Родился я уже позднее,  
Когда пожар войны угас,  
И пели песни фронтовые  
В селе по праздникам у нас.

А женщины, устав от горя,  
Рожали радостно ребят.  
Тепло струилось в бабьем взоре,  
Плач затихал у вдовьих хат.

И только дедова пилотка,  
Да фото в рамке на стене,  
Да лист шершавой похоронки  
Напоминали о войне.

\* \* \*

Я недавно случайно услышал рассказ,  
Как под камнем, в лесу возле Буга,  
Следопыты отрыли противогаз  
С документами Виктора Струга...

Он стоял в сорок первом у Брестской стены,  
Он стоял до последнего вздоха,  
И пробитый осколком в начале войны,  
Партбилет он запрятал под мохом.

Пересылка, тюрьма, лагеря, лагеря...  
Шесть побегов в течение года.  
И нашивку пришили на спину не зря,  
А он жил, веря в черта и Бога.

Он не рвался к немногим, стремящимся в рай,  
Он бежал от погони в дверь ада,  
Он бежал, словно в прятки со смертью играл,  
Полосой, где свистели снаряды.

Вот траншея, последний бросок,  
Впереди – каски с красной звездой,  
И скатившись за бруствер в горячий песок,  
Прошептал: «Русь, я снова с тобою».

Много жизней война унесла,  
Разбросала могилы по свету.  
Нет им, холмикам малым, числа,  
Скорбным холмикам нашей планеты.

*Герою-подпольщику  
Алексею ШУМАВЦЕВУ  
посвящается*

По лестнице, ведущей к эшафоту,  
Он шел с поднятой гордо головой.  
И автоматы сжав, застыла рота,  
Смерть насмехалась над его судьбой.  
Он шел, и все вокруг оцепенело.  
Садилось солнце в алую зарю.  
И на его истерзанное тело  
Палач готовил прочную петлю.  
Он шел на смерть, не сломленный душою,  
С блуждающей улыбкой на устах.  
И горе горькое повисло над землею,  
Слезами растворилось в облаках.  
Он шел в бессмертие, ему венки пеньковые  
Рука предателя безжалостно сплела.  
И приговор услышав тот суровый  
Россия-Мать от боли замерла...  
Кричала ночь уже вторые сутки,  
Качало тело ветром под луной.  
А на рассвете в город вошли танки,  
Туман расплавив красною звездой.

\* \* \*

На стенах побежденного рейхстага  
Мы ставили автограф в сорок пятом.  
Писали имена, фамилии и даты  
Своих друзей, погибших с нами рядом.

Еще гремели выстрелы в округе,  
Еще смотрели жители в испуге,  
А дети, пережившие войну,  
За хлебом потянулись в тишину.

И встал солдат с ребенком на руках.  
Цвели сады и девушки вздыхали,  
А в медсанбатах парни умирали  
У растревоженного мира на глазах.

И похоронки долго еще шли,  
Но, не найдя на месте адресата,  
Ложились на казенные столы  
С наградами погибшего солдата.

\* \* \*

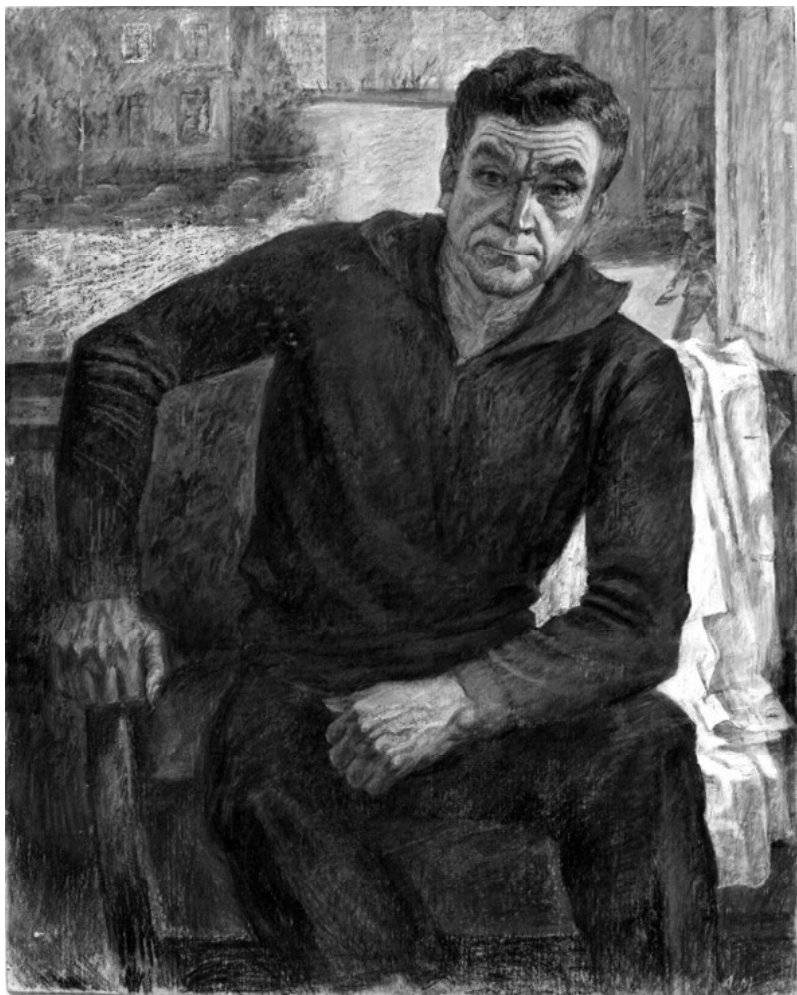
Вчера закончилась война.  
Всю ночь не спит передовая,  
А поседевший старшина  
Пьет чистый спирт, не разбавляя.

Пьем за медали, ордена,  
Пьем за Москву, за Братиславу,  
А над землей плывет весна,  
Весна, принесшая нам славу.

И этой славы хватит всем,  
Хватит от мала до велика,  
И по заслугам воздаст Кремль  
Своим сынам страны великой.

И будем каждый год встречать  
Мы этот праздник – День Победы,  
И со слезами вспоминать,  
Кто сколько горюшка отведал.

Давно закончилась война,  
Но нет конца еще потерям,  
А боевой мой старшина  
В Святую Русь с надеждой верит.



*Анатолий Морозов.  
Портрет ветерана войны,  
хирурга В.Ф. Семенова*

**КОЧЕГИН**  
**Павел Захарович**  
(14.02.1919 – 30.07.1997)



**Участник  
Великой Отечественной  
войны**

Родился 14 февраля 1916 года в деревне Новоспасовка Куртамышского района Курганской области в крестьянской семье. До войны окончил школу ФЗУ, работал фрезеровщиком на Челябинском тракторном заводе, заведующим учебной частью средней школы, учился в педагогическом институте им. Герцена в Ленинграде.

Окончил Одесскую школу военных пилотов. В 1939 году участвовал в освобождении Западной Белоруссии. Воевал на Карельском фронте в качестве командира эскадрильи. Кавалер ордена Красного Знамени, Отечественной войны II-й степени, награжден многочисленными медалями.

После войны работал редактором районной газеты, собкором областной газеты «Красный Курган», директором Куртамышского краеведческого музея, который сам и создал.

Автор книг прозы: «Человек-огонь», «В небе полярных зорь», «Под хмурым небом», «А шинель все пахнет порохом».

## ПЕРВЫЙ ТАРАН В ЗАПОЛЯРЬЕ

С первых часов войны летчики 145 истребительного авиационного полка, который был 4 апреля 1942 года переименован в 19-й гвардейский истребительный полк, предлагали, требовали немедленно нанести бомбово-штурмовой удар по аэродромам противника и этим упредить его. Однако без приказа из Москвы ни командование ВВС 14-й армии, ни тем более командование полка не решались это сделать. Сидели в самолетах по готовности номер два, глазели на небо, на самолеты с фашистской свастикой, которые летали над аэродромом.

И вот досиделись, доглазелись, когда 27 июня 1941 года группа бомбардировщиков под прикрытием истребителей «Ме-109е» шла бомбить Туломскую гидроэлектростанцию, «Тулом ГЭС», чтобы с выводом ее из строя вывести из строя весь участок железной дороги, работавший на электроотяге от Кандалакши до Мурманска, и этим отрезать Кольский полуостров с городом Мурманском и мурманским портом от Союза. По тревоге взлетела третья эскадрилья, которой командовал бывший сормовский рабочий, капитан Зайцев. За отличия в боях на реке Халхин-Гол и на Карельском перешейке награжден орденами Ленина и Красного Знамени. В строю находился кавалер ордена Красной Звезды, командир звена, лейтенант Иван Титович Мисяков, рабочий вагоноремонтного завода в городе Гомеле. Туломская ГЭС находилась в 18 километрах от аэродрома наших истребителей. К электростанции немцы и наши подошли одновременно. Завязался воздушный бой.

Работники электростанции с волнением наблюдают за воздушным боем. Командир эскадрильи капитан Александр Петрович Зайцев ведет летчиков в атаку на бомбардировщиков, его верный друг командир звена Иван Мисяков с ведомыми сковывает боем истребителей. Вот самолет с фашистской свастикой на руле поворота и с крестами на плоскости, щукоподобным снарядом мчится, чтобы убить нашего летчика. В тот момент почти под девяносто градусов к нему устремляется наш «И-16-й». Но что это? Летчик не открывает огня. И вдруг винт советского истребителя, как его называли летчики, «ишака» ударяет по хвосту «мес-



сера». Советский пилот берет вправо и скрывается за сопками. От удара у мессершмитта отвалилось хвостовое оперение и самолет упал в скалы. Старший лейтенант Иван Титович Мисяков не смог дотянуть до своего аэродрома и при посадке в валуны погиб.

Останки героя были с воинскими почестями похоронены на кладбище поселка Мурмаши, а вскоре газета летчиков 14 армии писала: ...»Смерть ищет трусов и паникеров и отступает перед мужеством героев. Но если умирает герой, то только смертью храбрых, до последнего дыхания уничтожает врагов. Летчик-коммунист Мисяков искусно дрался с фашистскими коршунами. И когда во имя достижения победы нужно было идти на смерть, он ни минуты не колебался. Своим самолетом Мисяков таранил фашиста. Героев войны тысячи. Их слава вечна, имена их бессмертны».

Иван Титович Мисяков посмертно был награжден орденом Ленина, его имя золотыми буквами вписано в музей боевой славы полка и на мемориале погибшим защитникам неба Заполярья.

## ПОДВИГ КОМСОРГА

Бесконечен полярный день. Солнце только коснется вершины гор и снова нехотя карабкается по небосводу. Непрерывно гудят моторы в бледно-голубом куполе неба, трещат пулеметные очереди, ухают пушки. По восемь-десять раз в сутки приходилось вылетать на боевые задания летчикам 145-го истребительного авиационного полка.

...10 июля 1941 года. Безоблачный солнечный день. Летчики сидят в самолетах, ожидая сигнала для взлета. Механики еще и еще раз осматривают машины, проверяя узлы крепления.

Механик самолета, мой земляк из Шумихи, младший техник-лейтенант Иван Григорьевич Воробьев поднялся на плоскость, любовно поправил лямки парашюта Алексея Небольсина. В это время над командным пунктом полка взвивалась зеленая ракета – сигнал к вылету. Иван помог Алексею запустить мотор и в самое ухо прокричал:

– Жду с победой!

– Спасибо, Ванюша, – ответил летчик.

Взлетели звеном. Впереди – ведущий командир звена старший лейтенант Николай Иванович Позднышев, слева и справа от него ведомые, лейтенанты Николай Пискарев и Алексей Небольсин.

Каждый раз, когда самолеты уходили на задание, механики с тревогой ждали их возвращения. И пусть они балагурят, рассказывают анекдоты, но сердца их и души там, в полете, вместе с летчиками. И как бы механик не был уверен в своей машине и в летчике, сердце его щемит и щемит от тоски.

Иван Воробьев взошел на капонир и стал наблюдать за воздухом, ждать возвращения своего друга, любимца братвы, комсорга эскадрильи лейтенанта Алеши Небольсина с победой из боевого вылета.

Идут томительные минуты. Но вот послышался гул моторов. Даже по далекому гулу Иван Воробьев почувствовал, что возвращаются не все. Вот на горизонте обозначились тоненькие черточки – силуэты самолетов. Их только два. Кто же не вернулся?

Из боевого полета не вернулся Алексей Захарович Небольсин. Друзья рассказали о подвиге своего комсорга.

На развилке дорог на Мурманск-Печенгу-Киявр, у высоты 105,3 истребители штурмовали подходившие к линии фронта войска врага. Уже сделана последняя атака, Алексей боевым разворотом выводит своего «ишачка» из пикирования. В это время осколок вражеского зенитного снаряда зажег машину. Высоты было достаточно, чтобы спасти свою жизнь, выпрыгнув с парашютом. Но тогда плен. И Алексей предпочел смерть позорному плену. Охваченный пламенем истребитель он бросает в пикирование, врезается в колонну бензоцистерн. Страшной силой взрыв потряс седые сопки Заполярья.

У Ивана Григорьевича Воробьева на висках появилась первая седина. В газете Карельского фронта было напечатано стихотворение лейтенанта Колесникова «Подвиг», посвященное герою-летчику, комсоргу эскадрильи Алексею Небольсину. Оно заканчивалось словами:

*Век пройдет, но останутся люди,*

*А у памяти век не скор –*

*Никогда земля не забудет*

*Погребальный герой костер.*

Это был двадцать четвертый боевой вылет героя. В восьми воздушных боях в группе с товарищами он сбил три самолета противника, от его метких очередей при штурмовках нашли себе могилу десятки гитлеровских головорезов.

Не только для однополчан, но и для всех летчиков Карельского фронта подвиг Атексея Небольсина явился зарядом мужества и самоотверженности. За свой подвиг Алексей Захарович Небольсин был награжден орденом Красного Знамени, его имя начертано на мемориале у высоты 105,3, где погиб герой, на памятнике в поселке Шонгуй; его фотографии экспонируются во многих музеях школ и средних учебных заведений.

## ЖИЗНЬ ЗА ТОВАРИЩА

Девятого сентября 1942 года четверка маневренных истребителей нашего полка под командой капитана Кулигина вела воздушный бой во взаимодействии с пятью скоростными истребителями из 19-го гвардейского истребительного авиационного полка, которыми командовал гвардии капитан Павел Степанович Кутахов, будущий дважды Герой Советского Союза, главнокомандующий Военно-воздушными силами Советской Армии.

На тридцатой минуте боя капитан Кулигин был ранен в левую ногу, а его истребитель серьезно поврежден. Кулигин стал выходить из боя. Один из «мессеров» погнался за поврежденным «Хаукер-Харрикейном», чтобы добить его. Лейтенант Кривошеев кинулся на помощь незнакомому другу. Горячий боец, он уже после многих яростных атак исчерпал боекомплект. Нажал на гашетку и спусковой крючок, но пулеметы и пушка молчали. Еще мгновение – и товарищ по оружию будет сбит. Тогда гвардии лейтенант Кривошеев дает полный наддув и всем корпусом своего истребителя ударяет по истребителю противника. Обе машины рухнули в скалы.

Таран Кривошеева поднял дух наших летчиков, еще яростнее стали их атаки. Фашисты были подавлены стойкостью и мужеством советских асов. Еще один немец с дымом пошел вниз, и вслед за ним поспешно стали покидать поле боя остальные самолеты противника.

Газета летчиков 7-й воздушной армии посвятила этому подвигу гвардии лейтенанта Кривошеева специальную статью. Один из участников боя, гвардии старший лейтенант Виталий Романович Семеньков писал: «Домой мы вернулись вчетвером. Но и пятый, тот, кто пожертвовал своею жизнью, чтобы уничтожить врага и спасти товарища, остался с нами. В каждом бою с ненавистным врагом Ефим Кривошеев будет с нами. И яростны будут наши удары, точна рука и ясен взор, озаренный беспощадной мезтью к врагу».

Как и предсказал Виталий Романович Семеньков, Ефим Кривошеев был до конца войны вместе с нами, вместе с нами был в жестоких боях и помогал одерживать победы. Он был для нас путеводной звездой. Ефиму Кривошееву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, его именем была названа школа в Днепропетровске, в которой он учился, пионерский отряд его имени в одной из школ Заполярья вел огромную работу по воспитанию молодых патриотов.

### ПОДВИГ ОСТАЛСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ

В конце мая 1943 года на должность заместителя командира третьей эскадрильи по воздушному бою и технике пилотирования прибыл старший лейтенант Сергей Алексеевич Ашев. В то время, после упразднения института заместителя командиров рот, батарей, эскадрилий по политчасти, я занимал должность заместителя командира эскадрильи, он же штурман. Мы быстро познакомились и сдружились.

Коренастый, приземистый, с «Красным Знаменем» на широкой груди, Сергей Ашев быстро завоевал авторитет у подчиненных и командиров: летал уверенно, в бою вел себя мужественно.

Сергей Ашев – кузнец одного из заводов города Новосибирска, в армию был призван по спецнабору ЦК ВЛКСМ. В сентябре 1943 года формировалась группа летчиков для поездки в Красноярск за новой материальной частью. Ашев был включен в нее. Однако начальник политотдела дивизии гвардии полковник Иван Феофанович Рекин внес поправку. Вместо Ашева послать за «Аэрокобрами» меня, возложив на меня

обязанность парторга группы. Таким образом, мы поменялись местами. Я улетел за новой машиной, а Сергей Ашев остался в Заполярье, в эскадрилье.

Когда же мы вернулись из Красноярска на новой материальной части, то узнали печальную весть: не вернулись с боевого задания отличные парни, прекрасные летчики старший лейтенант Сергей Алексеевич Ашев и гвардии старшина Георгий Степанович Ивин. «Не вернулись с боевого задания, пропали без вести», – было записано в извещениях о их смерти. И только в декабре 1969 года из дневника механика самолета Ивана Ивановича Буряка узнал о героическом подвиге этих парней.

В нем я прочитал: «26 сентября 1943 года. ТАРАН АШЕВА. День исключительный, осенний полярный день. До обеда дежурил на машине № 39, летал Барсуков. В 12-30 четверкой полетели прикрывать «Щ-2». АШЕВ и ИВИН не вернулись. На них напали шесть «Ме-109». Ивина зажали, а Ашев таранил. Хорошие были ребята, но их уже не вернешь. В этом бою Барсуков на моей машине сбил одного 109-го. Счет 2 на 2. Немцы черт с ними. наших ребят жалко».

В то время подвиг Сергея Алексеевича Ашева не был отмечен, нигде о нем не писалось, не говорилось. Он остался только зафиксированным со слов участников боя гвардии старшего лейтенанта Барсукова и гвардии лейтенанта Жильцова.

Рассказав Буряку о таране Ашева, командир звена из первой эскадрильи, гвардии старший лейтенант Алексей Сидорович Барсуков, видимо, не доложил об этом подвиге рапортом по команде, таким образом, не дал хода этому важному событию не только в жизни героя и его матери Прасковьи Николаевны Густайдис, которая жила в Дагестанской автономной республике, но и в жизни полка, дивизии и 7-й воздушной армии. А может быть, Барсуков и доложил командованию, но его рапорт где-то затерялся в бумагах штабов. Такое тоже иногда бывало.

Когда же я узнал о подвиге моего боевого друга, то было уже поздно возбуждать ходатайство: подтверждение этой записи было уже не у кого взять, да к тому же в это время вышло какое-то постановление правительства о прекращении награждения за Отечественную войну.

...Прости меня, дорогой друг, что я не сделал всего, что мог, чтобы советские люди знали тебя, как Героя, а молодежь подражала тебе в жизни.

## ОГНЕННЫЙ ТАРАН КОМЭСКА

С гвардии капитаном Николаем Афанасьевичем Кулагиным я встретился 12 мая 1942 года на фронтовом аэродроме вблизи города Мончегорска в Заполярье, куда прибыл на должность военного комиссара эскадрильи. Кулагин занимал должность командира первой эскадрильи 837-го истребительного авиационного полка. Жили в одной заплесневевшей землянке. Радости и горести делили пополам.

Николай Афанасьевич на должность командира эскадрильи был переведен с должности военного комиссара 53-го истребительного авиационного полка, знал все тонкости политработы в авиации, и поэтому мне с ним работать было легко. Он не только учитывал все мои предложения и советы, беспрекословно выполняя их и претворяя в жизнь, но всячески помогал мне в работе, иногда даже обижался на то, что я щадил его, не давая поручений по партийной линии.

За короткое время 837-й истребительный авиационный полк был сформирован, и мы приступили к боевой работе: вылеты на прикрытие важных военных объектов и воздушные бои, на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, на разведку ближних тылов противника. По несколько боевых, вылетов приходилось делать нам за световой день. Командир эскадрильи был неутомим, показывал личный пример храбрости и бесстрашия в боях.

В декабре 1942 года 837 ИАП расформировали, нас перевели в 19-й гвардейский истребительный авиационный полк: Кулигина командиром 2-й эскадрильи, а меня заместителем командира по политчасти в третью эскадрилью, о героических подвигах летчиков которой рассказано в предыдущих главах.

Грудь комэска стали украшать ордена Красного Знамени, Отечественной войны первой степени и Александра Невского. Не случайно же механик самолета Иван Иванович Буряк в своем дневнике записал: «26 июня 1943 года. Наши отражают налеты на Канда-лакшу. С того момента, как наш полк прилетел сюда, ни одного

раза немцы Кандалакшу не бомбили, а наши сбили 13 самолетов противника, О действиях наших истребителей сегодня рассказало Совинформбюро. Под командованием Героя Советского Союза гвардии майора Кутахова наши летчики в одном бою сбили 5 самолетов противника. О действиях нашего полка доносят лично товарищу Сталину. Где бы ни был прорыв в воздухе, всегда наш полк туда бросают. Скоро будет еще один Герой Советского Союза, это гвардии капитан Кулигин».

В июле 1943 года Кулигин был переведен в другую часть, стал командовать 153 истребительным авиационным полком и, как передавало нам «сарафанное радио», командовал неплохо.

Это произошло 22 мая 1944 года. Над аэродромом на большой высоте появился неприятельский разведчик. Дежурная пара что-то замешкалась с вылетом на перехват вражеского самолета. Тогда Николай Афанасьевич вместе с ведомым летчиком подбежали к своим самолетам и взмыли в воздух. Разведчик, маскируясь в густой дымке, быстро удалился. Догнал и сбил его Кулигин уже над вражеским аэродромом. Увидев вражеские истребители и бомбардировщики на стоянке, командир стал поливать их пушечным и пулеметным огнем. Несколько машин загорелось. Еще один заход, еще одна стремительная атака. В воздухе тоже рвались снаряды – это вели стрельбу зенитные орудия врага. Ведомый летчик, опасаясь о

– Куда? !  
щий.

В момен  
ряд. Объят  
ше всего б  
как произ  
этом он до

Среди им  
фронтовог  
ча.



зал веду-

ский сна-  
где боль-  
ча видел,  
оме. Об

имя моего  
анасьеви-



*Анатолий Патраков.  
Обелиск*



**КУЛИКОВ**  
**Леонид Иванович**  
(7.08.1924 – 5.09.1980)



**Племянник**  
**участника войны**

Родился 7 августа 1924 года в городе Иванове. В четырнадцатилетнем возрасте заболел неизлечимым недугом. В начале Великой Отечественной войны с семьёй приехал в Курганскую область. Прикованный к постели, учился писать стихи, занимался упорно самообразованием.

В Челябинске в 1957 году вышел первый сборник детских стихов «Скоро в школу». Затем стали выходить его книги для детей: «Храбрый Василёк», «Торопей», «Белочка-умелочка», «Солнечные зайчики», «Стихи и сказки», книга стихов «Преодоление». В 2005 году в Кургане вышел сборник «Живое слово» (избранное).

Принят в Союз писателей СССР в 1959 году.



## МАЯК СПАСЕНИЯ

Война, война! И небосвод расколот.  
Кровавый ливень хлынул на траву.  
А бомбы бьют и бьют, как тяжкий молот,  
Грозят убить Советскую страну.

И не забыто страшное доньине,  
Как погибали целые полки,  
Когда стальные танковые клинья  
Россию разрубали на куски.

Но поднялась невиданная сила,  
Фашистское нашествие круша.  
И не щадя себя, врагов гвоздила  
Разгневанная русская душа.

Когда грозила смерть всему народу,  
Бойцы сражались, не считая ран.  
Телами накрывали вражьи доты,  
Свои сердца бросали на таран.

За мирный день, за жизнь и за свободу  
Заплачена огромная цена:  
Могильный ров длиной в четыре года,  
А горю не было ни берега, ни дна.

Весь мир спасла великая Победа.  
Она рождалась в тысячах атак.  
И долго будет помнить вся планета  
Маяк спасенья, наш советский флаг.

## ЗЕРНО

Позади – огни сраженья,  
Впереди – прорыв кольца.  
Горький ветер отступленья  
Жег солдатские сердца.

Отходили, стиснув зубы,  
На восток фронтовики.  
В эти дни им были любы  
В поле даже васильки.

Грустный взор на поле бросив,  
Пехотинец молодой  
По пути нарвал колосьев  
И зачем-то взял с собой.

Он держал их на ладони –  
По привычке мирных лет. –  
Славный сорт у нас в районе,  
Вот такой, пожалуй, нет.

Я судьбы своей не знаю.  
Но уж если суждено,  
Испытаю на Алтае  
Это самое зерно.

С той поры зимой и летом  
Наш солдат носил в мешке  
Вместе с вышитым кисетом  
Эти зерна в узелке.

Бил врага в боях упорных,  
Мерз в снегах и шел на дно.  
Но хранил сухим, как порох,  
Драгоценное зерно.

Только раз – не без причины –  
Прикоснулся к узелку:  
Русских зерен половину  
Отдал немцу-бедняку.

Ой, смоленская пшеница!  
Где ты только не была,  
Прежде чем через границы  
До Алтайских гор дошла!

Отчий край весенним громом  
Встретил бывшего бойца.  
Фронтовик стал агрономом,  
Пыль походов смыл с лица.

А теперь в полях Алтая  
Та пшеница прижилась  
И стоит она – густая,  
Крупным колосом гордясь.

### ЗАУРАЛЬЕ

Что такое зауралец,  
Вам в Кургане скажет всяк:  
Левым боком он уралец,  
Правым боком сибиряк.

На зеленом разнотравье,  
Между колков и озер,  
Расстелило Зауралье  
Золотых полей ковер.

Я скажу о крае шире:  
Зауралье – это мост.  
От Урала в глубь Сибири  
Он заходит в полный рост.

Знойный ветер Казахстана  
К нам кидает свой аркан,  
И полярные бураны  
Не забыли наш Курган.

Мы большой родней богаты,  
Я в корнях не разберусь,  
Мы по картам – азиаты,  
Только в сердце светит Русь.

Я люблю свой край до донца,  
Здесь я жил, не зря старел,  
Обуралился на солнце,  
На снегах осибирел.

Трактор с песней пашет залежь,  
А в ответ шумит камыш –  
Сам себя ты не похвалишь,  
Как обиженный сидишь.

Нам нужды в рекламе нету.  
Без высоких каблуков  
Далеко видать по свету  
Наших славных земляков.

На ладони Зауралья  
Град Курган навеки встал.  
Он блестит стеклом и сталью  
И растет, что твой кристалл.



*Борис Сеницын.  
Портрет участника войны  
А.Ф. Кузнецова*

**ЛЬВОВ**  
**Анатолий Дмитриевич**  
(4.11.1949-9.02.2008)



**Сын участника войны**

Родился 4 ноября 1949 года в городе Кургане. Печатался в журналах «Урал», «Художник», «Театральная жизнь», коллективных сборниках. Член творческих союзов: журналистов, театральных деятелей, художников. Лауреат премии губернатора Курганской области, городской премии «Признание».

Автор сборников стихов «Эхо дней», «По кругу», «Детский парк».

В Союз писателей России принят в 2005 году.



## ВОЕННАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ КУРГАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

*«Счет мирных лет ведем  
мы неспроста  
по летоисчисленью  
от Победы».*  
Г. ПОЖЕНЯН

Война, отгремевшая пятьдесят лет назад, не миновала нас никого. Может быть, когда-то она и станет историей, как война 1812 года. Но пока она – с нами, она – в людях. В памяти фронтовиков, и если не в памяти, то в ощущениях поколений предвоенных и военных детей, не доросших до винтовки и окопов, но сполна хлебнувших лиха в военном тылу.

Среди профессиональных курганских художников нет воевавших, за исключением заслуженного художника России Н. А. Ромадина. Лишь он прошел сквозь фронт, плен, побеги, но, как давно замечено, художники-солдаты не рисуют батальных сцен, сражений и пожарищ. Чем дальше в прошлое уходит война, тем яснее выплывают в их творчестве лица людей. Н. А. Ромадин не стал исключением, когда, отказавшись в последние годы от практики театрального художника, все чаще стал писать портреты -акварельные портреты своих ровесников, фронтовиков. Так сложилась целая серия листов, на каждом из которых — яркая личность. Но при этом все они – сам художник, актер В. Шадровский, поэт А. Пляхин, авиатор М. Левицкий, журналист В. Василевский чем-то неумолимо схожи – может, особым выражением лиц, взглядом, устремленным сквозь годы – туда...

Военную живописную летопись в 1945 году в нашем искусстве начал заслуженный художник Аджарской АССР В. Ф. Илюшин. Лишь недавно приехавший в Курган, где в госпитале лечился его раненый на фронте сын, пятидесятисемилетний живописец пишет картину «Встреча победителей». Входящие в весенний город танки, радостные лица, яркие цветы и флаги. Оставшаяся незавершенной, картина, тем не менее, полна искренней радости и счастья.

За все послевоенное время лишь два курганских художника в





*Борис Евлентьев. Солдаты, 1941 год. 1984.*

своих композициях обратились напрямую к военным сюжетам. Впечатляющей картиной на выставке, посвященной 30-летию Победы, стала картина Г. И. Иванчина «Память отцов» (1975). Экспрессия и драматизм полотна были обусловлены сюжетом и стремлением автора придать сцене рукопашной схватки значение символа борьбы двух начал. Черные фигуры фашистов, противостоящие им советские солдаты; красное знамя в почерневшем небе — образ борьбы двух миров, человечности и мракобесия, жизни и смерти.

На выставке, отмечавшей День Победы, появилась одна из самых значительных картин Б. К. Евлентьева «Солдаты, 1941 год» (1984), ныне хранящаяся в Курганском областном художественном музее. Сюжет картины тот же, что в известных строках Юлии Друниной: «Качается рожь несжатая. Шагают бойцы по ней». В полотне, изображающем отступающих по горящим

хлебам наших солдат в первые горькие месяцы военных поражений, живописцу удалось главное – образы людей. У каждого из них, объединенных общей болью, обидой, жаждой мести врагу за поруганную землю, свой характер, своя биография, свой душевный мир и жизненный опыт. Светятся в золоте хлебов голубые искры васильков; но с дальнего конца поле уже горит, застилая дымом горизонт. В живописи фигур сплетаются те же цвета – охра и черная копоть. Художник пишет поле хлеба, ставшее полем боя: пишет тех, кто, как известно, «солдатами не рождаются». В типажах лиц угадываем вчерашних колхозников, рабочих, словом, далеких от войны еще вчера людей, становящихся солдатами только сейчас.

Но все же, когда речь заходит о военной теме в творчестве художников Зауралья, она предстает перед нами памятью детства. В 1941 году Б. М. Колбину было 12 лет; И. Я. Лохматову – 11; В. С. Коршунову и Б. Г. Синицыну – по 6; Г. А. Травникову – 4 года... Все они с полным правом могут считать, что и к ним относятся стихи Евгения Винокурова:

*Нас воспитала строгая эпоха.*

*Ей сетованья были не с руки.*

Тема нравственного подвига российских женщин, на своих плечах вынесших тяготы военного лихолетья, истинной цены и всегда-то нелегкого уральского хлеба, поистине нечеловеческих усилий простых людей, дававших хлеб и фронту, и тылу, стала главной в творчестве И. Я. Лохматова. Картиной его жизни стало полотно «Дороги солдаток. Хлеб. 1943 год» (1967–1970), начало работы над ней относится еще к 1964 году. Казавшийся окончательным вариант 1970 года нашел, тем не менее, дальнейшее развитие в картине «Хлеб фронту» (1984), в 1985 году экспонировавшейся на республиканской выставке «Мир отстояли – мир сохраним» в Москве, посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тяжелой гамме свинцовых тонов, в отчаянном порыве женских фигур, тянущих по разбитой дороге воз с хлебом – героическая трагедия военного тыла, реальность истории. С начала и до последнего варианта художник шел по пути усиления драматической выразительности сцены. От картины к картине увеличивается формат, усиливается динамика фигур, усложняется колорит полотна – от монотонно сближенного сочетания холодных тонов к большому напряжению плотных тем-

ных масс с пробивающимися сквозь них отблесками тревожных багровых.

По сравнению с «Дорогами солдаток» продолжающая эту тему «Страда сороковых», картина того же автора 1985 года, кажется менее страстной, рационально-холодной в статичном предстоянии тщательно отобранных персонажей – женщины, мальчика и старика. И здесь является главным образ женщины-солдатки, оплота тех, кто сражался на фронте; опоры старых и малых, что работали с ней на колхозных полях.

И. Я. Лохматов на редкость постоянен в своих сюжетно-тематических пристрастиях и последователен в их разработке. Через все его творчество проходит тема «Трудных лет России». Так назвал художник триптих 1987 года, каждая часть которого изображает одну человеческую фигуру на фоне пейзажа с низким горизонтом. Красноармеец времен гражданской, скорбно-застывшая женщина-мать и советский воин Великой Отечественной с Красным знаменем Победы в руках. Вновь в центре образ женщины, олицетворяющей Родину, стойкую и гордую душу народа, выстоявшего в испытаниях.



*Иван Лохматов. Часть триптиха  
«Трудные годы России». 1987*

Чувством личной причастности к происходящему, чувством памяти о тревоге и боли детства, пришедшегося на военные годы, исполнено большое полотно Б. Г. Сеницына «Мое детство» (1970-1971), удостоенное в 1974 году диплома Академии художеств СССР.

Звонящая напряженная тишина притаилась по всем темным углам ночной комнаты. В вечных трудах не спит мать, а на постели теплым комочком спит мальчишка, спит, пока молчит черная тарелка репродуктора на стене.

Этот же репродуктор наряду со сломанной скрипкой станет главным объектом картины-натюрморта «Тишина» Б. М. Колбина (1978), лаконичного и содержательного образа тревожного ожидания.

И как похож стриженной головенкой и костлявыми плечиками спящий мальчик с картины Б. Г. Сеницына на мальчонку, что держась за руку матери, небесной чистоты глазами глядит прямо на нас со взрослой мудростью, печалью и верой в счастье, которое не может не наступить, из центра полотна заслуженного художника РСФСР Г. А. Травникова «1945 год. Ожидание». Эта картина 1978 года тоже навеяна воспоминаниями детства и посвящена осиротевшим в войну детям, женщинам-солдаткам, матерям и женам, не дождавшимся сыновей и мужей. Далеко за околицу вышли они встречать тех, кто не придет. В голубом просторе поля и неба их тонкие фигуры словно колышутся ветром, в их молчаливом исступленном ожидании – неизбывная надежда и непреходящая боль.

Особой торжественной возвышенностью, выстраданностью темы обратила на себя внимание картина М. П. Булгакова «Мама» (1981), ставшая заметным явлением VI зональной уральской выставки. Для художника, до этого работавшего почти исключительно в камерных формах пейзажа настроения, картина открыла новый этап творчества. Портрет матери, сидящей в празднично убранной комнате рядом с четырьмя пустыми стульями на фоне стены с четырьмя фотографиями сыновей и мужа, которых сейчас нет, подкупает теплотой и человечностью. Заметим, что на одном из снимков – автор картины. Рассказ о семье становится рассказом о судьбе поколения. В живописи полотна с большими плоскостями синего, белого и красного цветов; в обилии орнамента; симметричности композиции ощу-

тима перекличка с народным, «наивным» искусством; создана атмосфера суровой праздничности. Это чувство близко к тому, что В. Е. Попков определил как «трагичность радостную», ибо воспевая нетленность человеческой памяти, художник утверждает добро как вечную нравственную ценность.

Как можно заметить, удачи в большой картинной форме случались тогда, когда, судьба и биография, личность художника впрямую сопрягались с судьбой и жизнью духа его героев. Не случайно появление автобиографических мотивов у разных художников, стремление ввести себя в круг своих персонажей.

Ведь и ту часть своего натюрморта – триптиха «Хлеб», что посвящена военным годам, В. С. Коршунов назвал «Хлеб моего детства» (1985). Наверное, искусство и начинается там, где есть это «мое», неповторимо личное для автора.

Память человеческая – странная вещь. Может забыться громкое, а запомниться тихое; неожиданная деталь заставит обыденное предстать героическим. Поэтому так трогают и тревожат отголосками минувших битв, унесших тысячи жизней, такие простые и мирные, на первый взгляд, акварели того же Г. А. Травникова, написанные на израненной земле Кольского полуострова; или картина 1985 года В. А. Пичугина «На Сапун-горе».

Тогда становится торжественной и значительной небольшая по размеру скульптура Т. Б. Лытченко-Меткой «День Победы. Ветеран» (1985). Встречающая посетителей в вестибюле художественного музея.



*Тамара Лытченко-Меткая.  
День Победы. Ветеран. 1985*

Тогда у нас есть право надеяться, что юбилейные торжества





*Валерий Хорошаев.  
Защитник Севастополя  
матрос Иван Никифорович Прохоров*

**МАЛАХОВ**  
Владимир Георгиевич



**Племянник  
пяти участников войны,  
из которых с войны  
вернулся один**

Родился 13 декабря 1938 года в селе Туманное Каргапольского района. В 1956 году, после окончания средней школы, был приглашен на работу в редакцию районной газеты, в которой ранее публиковались его стихи и рассказы. С тех пор его жизнь связана с газетой.

В 1967 году окончил (заочно) Уральский государственный университет, факультет журналистики. С тех пор работал, как журналист, до пенсии.

Автор книг: «Из великих туманов», «Колымские были». Многие его рассказы опубликованы в альманахе «Тобол». Живет в Шадринске.

В Союз писателей России принят в 1999 году.



## ЗА ЗЕЛЕНЫМ ГОРОХОМ

Над Зауральем буйствовали летние грозы. Только с утра немилосердно припекало солнце. Тогда и бегущие тени кучевых облаков казались в степи райским подарком. Но почти ежедневно, обычно к вечеру, с беспокойного запада чугунным катком наползали черногивые тучи. Они яростно сверкали огненными стрелами, сердито-добро душно перекатывая в своем чреве грохочущие громадные жернова и с неожиданным треском ломая гигантские доски неведомой небесной мельницы. Нередко перед грозой, когда тучи закрывали полгоризонта, на леса, степи и деревни обрушивался бесшабашный ветер. Он срывал с амбаров постаревшие крыши, буйно раскидывал жалкие остожья соломы, выметал из дворов и улиц мусор. Озеро Туманов в эти минуты бешенства ветра стонало и пенилось в песчаных берегах.

Несладко приходилось тому, кто попадал под грозу в степи. Сначала минуты две его безжалостно трепал свирепый ветер. Сек песком и землей, забивая рот, нос и глаза, если не было укрытия. А сколько было случаев, когда слабых таким ураганом сбивало с ног.

Набесившись вволю, ветер так же внезапно стихал. В этот момент тучами закрывало солнце, и тогда становилась видна их невероятная скорость на восток. В полной тишине за несколько десятков секунд темнело. Удары грома и блеск молний становились все зловещее, небо непрерывно рокотало. Наконец, в пересохшую пыль, на сгорбившуюся траву падали редкие крупные капли холодной влаги. И следом за ними на землю обрушивался водяной вал.

Он неудержимо катился под треск и грохот над землей, мгновенно заполняя ложбинки и колдобинки водой. И если еще минуту назад в воздухе клубилась поднятая ветром песчаная пыль, то теперь колыхалась пыль водяная.

Но уже светлеет на западе. Молнии трепещут над дальними лесами, куда быстро катятся тучи. Над головою лишь рваные лохмотья их плещут на поляны последние пригоршни холодных горошин. Радостно вспыхивает солнце, безудержно устремляя лучи свои на умытую помолодевшую землю. Над пашнями поднимается молочный пар. Затихают дождевые ручьи. Неведомо откуда на крышах и заборах появляются обалдевшие воробьи, скворцы и соро-



ки. Выползают из-под амбаров куры. Бойкие петухи ни с того, ни с сего пытаются петь, но смущенно умолкают: после драки кулаками не машут.

И тогда в полнеба, с ослепительной прелестью вспыхивает вдруг красавица-радуга. Как по сигналу ее в воздухе поднимается птичий гам. В деревне скрипят калитки, хлопают двери, перекликаются веселыми голосами селяне. А добрый прохожий, забыв о недавнем трепете, с благоговением улыбается голубому небу и цветастому знамени вёдра.

В обновленной природе радуется всё. И птицы, и звери, и деревня, и цветы. А больше всего – мальчишки. Можно побегать по лужам, исчезающим на глазах, поделиться с друзьями впечатлениями: «У нас в огороде громовая стрела ударила. Только место не могу найти, а то бы враз всем в деревне надсаду вылечил». А разве не интересен рассказ товарища: «Наша бабушка опять в голбце от молнии пряталась. А та возьми и обратись в шаровую. Влетела в подпол через продух-окно, совсем как уголек. Баба Таня обмерла да так и окостыжела. На уме одно – хоть бы не в нее шваркнула да не в кринку со сметаной. Только подумала – и трах: кринка на куски рассыпалась. Пропала сметана. Бабушка убивается, говорит, уж лучше бы в нее попала молния».

В этот день, тоже обсудив все происшествия, случившиеся во время грозы в деревне, ребята решили идти на горох. Вообще, как только стаивал снег, мальчишки переходили на довольствие к природе. На пашне собирали мороженую картошку, оставленную при уборке урожая. Тогда во всех домах появлялись серые твердые лепешки. Полностью насытиться ими было нельзя, да хоть голодок обмануть. А когда вскрывались болота, наступала пора рогалей, мучки и других болотных растений. Лакомством были и белые корни репея. И вовсе не жестокость толкала мальчишек на преступление перед природой – разорение птичьих гнезд: их мучил голод. А дюжина сорочьих яиц или пара-другая утиных помогала прожить очередные сутки.

Наевшись медунок, луковиц саранок, ребятишки сами походили на зеленые былинки. Костлявые, с лишаями и струпьями от чирьев на коже, они целыми днями носились по лесам и болотам. Нажитые за долгую зиму болячки лечили настоями трав, горячим озерным илом. Сытнее становилось, когда появлялись грибы-сморчки, веснянки, а потом и обабки. Пострадав недель-

ку животами, ребятишки входили в норму и уже без опаски поглощали лесные и полевые дары природы. Пучки, дидильки, гранатки не только ели, но и мастерили из них «брызгалки».

В эту пору не хватало чего-нибудь сладкого. И его с успехом заменял горох раннего сева. Молодые стручки ребята тщательно разжевывали, высасывая сладкий сок. Не так привлекали мягкие зеленые горошинки, как эти сахарные стручки.

Но вот беда – даже за сбор колосков, пролежавших на поле зиму, за копку мороженого картофеля на голодного деревенского жителя обрушивалась страшная кара – до десяти лет лагерей. Если попадался за этим занятием ребенок, – страдала семья. Власти могли конфисковать последнюю овечку, отрезать огород. И тогда – голодная смерть.

Семнадцатилетняя Фаина Дежнева, соседка Иванки Калинкина, несла с поля в рукавице несколько десятков колосков. У самой деревни остановили ее милиционер с уполминзагом: «А-а, государственное добро воруете, стерва!» И мыкалась Фая семь лет в северных лагерях за 200 граммов колосков.

Ребята знали все это и действовали скрытно. Время для похода на горох выбирали после грозы, когда на какой-то час полевые дороги становились непроезжими. Отправляясь в набег, оставляли на высоком месте «маяк» – самого востроглазого и быстрого мальчишку. За дежурство ему каждый участник похода должен был отсыпать часть собранных стручков. Зато никто не мог застичь ребят на гороховище врасплох.

Вот и сегодня после грозы десятка полтора мальчишек собрались возле согры, условившись идти на горох. Увязалась на ними и Танька Оринина с не отходившим от нее ни на минуту щенком Кубиком. А завела она себе эту симпатичную дворнягу по примеру Иванки, завидуя его дружбе с Чуйкой. Витька Дрожкин запротестовал, чтобы брать с собой слабую девчонку и шумливую дворняжку. Но в их защиту дружно высказались Толька Рыжий и Иванко. Ради того, чтобы Оринину взять на горох, быстрый Толька даже согласился «постоять на стреме».

Гороховое поле располагалось между колков за кладбищем. Договорились подойти к нему с пустуевской стороны, на пашню не заходить, чтобы не вытоптать стебли гороха, а собирать стручки только у межи. Рыжий же остался на подходе к полю, возле

кладбищенского холма. Если кто-то появится со стороны деревни, Толька должен был со всех ног лететь на гороховище. Предупрежденные им ребята успели бы колками, а потом и густо заросшим берегом согры благополучно убежать в деревню.

Но судьба-индейка на протяжении всей истории человечества противопоставляет великим замыслам поговорку: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Правда, в обиходе мальчишки употребляли более короткое изречение: «Не говори «гоп!»

В это лето набег на горох был первым. Тактику ребята за зиму успели подзабыть. Да и самый опытный из них – Толька Рыжий остался в охране. Поэтому выбор места был не совсем удачным. К полю подошли от опушки второго колка, дальнего от деревни. От первого поопасались, потому что он ближе к домам и тут быстрее заметят. В то же время не обратили внимания на такую «мелочь», как дорога. А второй колок от гороховища как раз отсекал конный проселок. Таким лесным проселкам никакие дожди не страшны. Вода с них скатывается или быстро впитывается и почву. Это только там, где автомашины ходят, дороги раскисают так, что ни пройти, ни проехать.

Рассыпавшись по кромке поля, ребята торопливо собирали за рубахи стручки с нижних стеблей. Выбирали не плоские, а с утолщением. В плоских еще и горошин нет, и они не сладкие. Горох буйно цвел средними побегами, а сверху белые и голубые цветочки только-только начали проклевываться. И, конечно, пузатых стручков было мало. Но постепенно рубахи раздувались вокруг живота, спины и боков. Самые юркие мальчишки уже начали блаженно лакомиться соком стручков. Плохо получалось только у Таньки Ориной. Пояска на платье у нее не было, чтоб спрятать добычу за пазуху. В подол собирать стручки она стеснялась мальчишек: как-никак второклассница. Сначала она чуть не заплакала, зажав в кулачках пяток стручков. Спасибо, Поскребыш надоумил, сердито зашипев на нее:

– Чего оканунела. Платок-от для че на башке. Вот уж, волос долог – ум короток.

– Знамо дело, – независимо, как любая девчонка, шмыгнула носом Танька, срывая платок и завязывая в узел концы. Блестя отмытыми веснушками, ей бросились помогать Иванко с Витькой Дрожжиным. Но, тая обиду на Витьку, Танька хмуро отвернулась от него, хотя платок не отдернула. Все же на сердечке было радо-

стно: никогда на нее не обращали внимания мальчишки, а тут наперебой помогают да еще ласково называют Танюшкой! И Кубик суматошно крутится под ногами, чувствуя светлое настроение хозяйки.

Платок уже был полон, когда щенок вдруг сорвался с межи на дорогу и звонко затыкал.

Председатель колхоза в Великих Туманах работал недавно. Перед самой посевной его привез на фыркающем «козлик-виллисе» представитель района. Наскоро собрали правление. Делая внушительные паузы, представитель привычно обрисовал беспокойную обстановку во всем мире. Рассказал о крепнущей и богатеей родной Державе, благодаря бессонным заботам отца всех народов. Прослезился сурово. И закончил речь:

– А тут, едрена вошь, портунист! И где? В самолучшем процветающем колхозе. – Представитель указал жирным пальцем на желтое небритое лицо Николая Старунова, проработавшего председателем почти всю войну. – Он, он виноват, едрена вошь! Где молоко? Кто веет семена? Тишина, едрена вошь!

– Сибирка была, – пытался защищаться тяжело больной Старунов. – Лучшие коровы пали. А семена уже в амбарах, провеяны.

– Ах ты, портунист, едрена вошь! – побагровел представитель. – Кто тебе велел осенью зерно разбазаривать?

– Так правление решило по пять кило на семью убитых фронтовиков выдать, – заступился за Николая бригадир Савелий.

– Тебя не спрашивают – не сплясывай, едрена вошь! – затряс беременным брюхом представитель района.

Савелий начал медленно бледнеть, зажимая единственный кулак. Но Настя Мохова испуганно потянула его за пустой рукав.

– Савелий, он же полудурок, молчи, ради бога, – шепнула она. То ли услышал представитель, то ли догадался, о чем шепот, но его вдруг взорвало:

– Ты, Настя, внучка кулака! Все вы тут, едрена вошь, враги народа! Осиное гнездо! Партия, едрена вошь, вам не будет доверять. Старунова – долой! Вот вам новый, едрена вошь, председатель! Кузьма Брюхов – проверенный партией человек. Из пролетарьята, едрена вошь! Чтоб сегодня же все дела ему сдать. Чтоб молоко, едрена вошь, было! И печать отдай теперь же, портунист! А ты, безрукий, не взбуривай! Попался бы мне, когда я в охране Особлага служил, едрена вошь!

Вдруг почувствовав, что ляпнул не то, представитель скукислся, закрутил мясистым, как у Анны Петихи, задом.

– Ну, мне некогда. Дел, дел! Еду, едрена вошь! Партия тратит все силы и знания. Мы хоть академиев не кончали, зато политики сталинской закалки. Всего, Кузьма Калистратович, руководи!

Последние слова представителя прозвучали уже за порогом. Хлопнула дверь. Зафыркал мотор. Под окном ухнуло: и «виллис» укатил.

Савелий скрипел зубами: «Сволочь, гад, дармоед». Настя Мохова молча плакала. 80-летний член правления, истинную фамилию которого почти никто не знал, а все звали его Пудом Недодельником за страсть к слову «недоделки», крякал сердито: «Что случилось, что такое?» Он был глух, как мартовский сугроб.

Кузьма Брюхов пытался скрыть испуг. Похожий дородностью и свекольным лицом на представителя, он не имел опыта в нахальстве и демагогии. Эти качества придут к нему не по дням, а по часам. Он в душе радовался, что обретает самостоятельность. «Уж я все выжму из этой деревенщины, полубуржуев», – мечтал он о славе. Ему уже мерещились ордена «за трудовые успехи» и высокие посты. Любимым у Кузьки Брюхо, как прозвали новое руководство в деревне, было скромное изречение: «Я – рядовой партии. Куда партия поставит, там и буду руководить, хоть на ферме, хоть в обкоме». Даже у оболваненных и забитых колхозников такое сравнение вызывало усмешку.

А Кузька Брюхо сразу развернул деятельность, следуя своим наклонностям. В деревню зачастили какие-то странные личности. Нашлись местные соглядатаи, которые обо всех, даже незначительных событиях, доносили председателю. По запискам председатель их подкармливал с колхозного склада, где хранились крупа, соль, сахар, масло. Остальным колхозникам путь туда был заказан.

Да и сам председатель страшно любил подслушать чужой разговор, крадучись последить за кем-нибудь. Когда ему донесли, что на одной из заимок кто-то из трактористов во время сева спрятал мешок пшеницы, Кузька Брюхо решил обыскать все заимки, найти мешок, а потом подкараулить вора. Как же, будет разоблачен еще один враг народа!

Под грозу Кузьма попал на последней заимке за Пустуевскими воротами. Переждал ее в избушке. И как только над головой повисла радуга, собрался в деревню. Неудача в поиске мешка с

зерном вывела его из себя. «Ну, я тебе покажу», – грозился он. Но кому? Он никак не мог вспомнить, кто из наушников донес ему о спрятанном зерне. Достав из-под сидения ходка початую бутылку, Кузька Брюхо приложился к горлышку. Не помогло. Прояснения в голове не было. Ругаясь, он залез в ходок и погнал лошадь. Надо успеть закусить и до дойки спрятаться на чердаке фермы. Ведь кто-нибудь да таскает домой молоко из доярок. В день литр два, и то набегают ой-ой-ой! Вот тебе и орден уплыл. «В лагерьх сгною», – свирепел, сжимая кнутовище, Кузька.

Когда лошадь вынесла ходок из колка, Брюхо задрожал от радости. Возле поля сновали дети, рвали гороховые стручки. Залаял впереди щенок. Ребятишки оглянулись, и в тот же миг самые проворные бросились в колок. Кузька вскочил в ходке на ноги и вытянул лошадь кнутом, отрезая дорогу к лесу. Прощмыгнуть успели двое-трое. Отчаянно взвизгнул и замолк под колесами щенок. Потрясенные не столько появлением председателя, сколько гибелью щенка, мальчишки застыли в борозде. А Кузька с ременным плетеным кнутом в руке уже спрыгнул с ходка и бросился на них, раздавая удары направо и налево. Кнут со свистом резал воздух и с потягом обрушивался на хрупкие плечи и спины. Первым досталось близнецам «Патке и Петке». Кнут порвал на них рубахи, но стручки смягчили удар. Хотя близнецы упали и отчаянно заревели, но тут же вскочили и бросились в лес. Витьке Дрожкину кнут прошелся по плечу и груди. Кожа, словно обожженная, сразу же вздулась жгутом. Одному из мальчишек хлыстик, вплетенный в конец кнута, рассек щеку и ухо. И он крутился по земле, брызгая кровью.

Чтоб не видеть избиения, Танька Оринина упала ничком и траву на меже и спрятала лицо в ладошки. В тот же миг плеть опоясала ее спину. Иванко Калинкин в порванной кнутом рубахе бросился под плеть, закрывая Таньку.

– Гадина, не смей девчонку! Меня бей! – кричал он. – Гад! – от следующих ударов на его спине лопнула кожа, он, захлебываясь болью, в отчаянии позвал:

– Мама! Чуйко, Чуйко! Помоги, Чуйко!

А кнут председателя молотил и молотил. В поту и скотской ярости Кузька уже не понимал, что делает, не видел, как на Иванку упал Витька Дрожкин.

\* \* \*

Толька Рыжий удобно устроился на углу кладбища. До горохового поля было с полкилометра, до деревни километр. Ему было все видно, как на ладони. Можно увидеть опасность и успеть добежать до ребят. Только бы стручков нарвали. Опасаться надо председателя, уполминзага, милиционера, да и то не каждого. Большинство из них жалели деревенских ребятишек, да и в Великие Туманы не всякий день заглядывали. А опаснее всех наушники председатели. Со свету сживут, если попадешь им на глаза. Но их-то Толька, как и многие в деревне, уже знал наперечет.

Толька оглянулся – ребята уже сновали в горохе – и стал с удвоенным вниманием наблюдать за всеми дорогами и тропинками, выходящими из деревни. Острым глазом он издали подметил, как от ветряной мельницы к кладбищу направились две собаки. Впереди бежал пес-великан, за ним след в след спешил чуть пониже ростом. «Э-э, да это ведь Шумно с Чуйкой, – догадался Рыжий. – Куда это они? Наверное, в Пустуевские колки».

Толька знал, что Шумко с Чуйкой охотятся в лесах самостоятельно, и не очень-то удивился. Через несколько минут собаки поравнялись с Толькой. Шумко, не сдерживая шага, равнодушно взглянул на мальчишку из-под лохматых бровей, а Чуйко весело поднял голову и помахал хвостом. Дорога от деревни была пустынной.

В это время за спиной Рыжего раздался вопль. Это дружно закричали от страха близнецы. Круто обернувшись, Толька видел, как они, держась за руки, улепетывали к лесу. Между берез мелькало еще несколько рубашек. А среди остальных ребят, метавшихся по меже, бушевал с кнутом в руке Кузька Брюхо. У Тольки задрожали губы, когда он увидел, как мальчишки падают и корчатся под ударами кнута. Задохнувшись от горя, он упал на землю. Вскочил. Метнулся к ближайшему могильному кресту. Опомнился. И со всех ног бросился к гороховищу, к своим товарищам. И тут до него донеслось жалкое: «Чуйко, Чуйко!»

Молодой пес недоуменно крутнулся на месте и, не разбирая дороги, наметом полетел на знакомый призыв. Шумко тоже остановился на мгновение и, видимо, поняв, в чем дело, бросился за Чуйкой. А тот, бешено хрипя, буквально распластался в стремительном беге над степной травой. Он уже четко различал, как высокий дородный мужик яростно хлестал кнутом по

куче ребятишек у своих ног. Вот из этой кучи и раздавалось тонкое: «Чуйко, Чуйко!» Несколько мальчишек, отбежав к березам, с горьким плачем смотрели на расправу. Даже лошадь, запряженная в ходок, испуганно косилась на неистовствовавшего Кузьку.

Чуйко рассчитал удар точно. Когда председатель выпрямился и взмахнул кнутом, он ударил его в спину грудью, одновременно целясь зубами в загривок. Но Кузька упал быстрее, чем ожидал пес, и зубы только порвали кожу на бритом затылке. Все же толчок был настолько сильным, что Брюхо с размаху ткнулся расперенной харей в мокрую глину, расквасил нос. Кнут вылетел из его руки. Вскочив на колени, он протер от грязи глаза. Схватился за затылок. Темная кровь текла у него из шеи, хлестала из носа. В трех шагах от Кузьки черно-белый пес остервенело грыз кнут, так что летели щепки и обрывки кожаных ремешков.

– А-а, бандиты, пса науськивать! Пересажу, запорю! – взревел Кузька, наморщив и без того низкий чугунный лоб. Поднимаясь на ноги, он вытащил из-за голенища широкий нож, намереваясь броситься на Чуйку, но на пути его встал Шумко. Наклонив голову, обнажив страшные клыки, он, не мигая, шагнул навстречу Кузьке, и на того повеяло холодом смерти. Он сразу же узнал старого охотничьего пса и понял, что для того вся сила Кузьки вместе с ножом – ничто. Можно еще справиться с волком, но с многоопытным Шумкой никакой обман не пройдет. Да и весом он не меньше толстобрюхого Кузьки.

Исполосованные кнутом ребятишки, всхлипывая и шмыгая носами, подняли головы и злорадно наблюдали за объятым ужасом Кузькой. Рыча, дорывал остаток кнута Чуйко. Пугливо всхрапывала лошадь. Председатель выронил нож и почему-то задрал руки вверх. Шумко медленно-медленно, пригнув шею, наступал на него, а он, скривив рот и выпучив глаза, пятился к ходку. В любой момент Шумко мог взорваться неудержимой стальной пружиной, и тогда бычья шея Кузьки только хрустнула бы в его могучих челюстях. Но пес ровным шагом наступал на жестокого верзилу, и это было жутко.

На свое счастье, Кузька уперся задом в ходок и, не опуская рук, повалился в него на спину. На счастье, потому что в этот момент Чуйко растерзал кнут и был готов расправиться с его хозяином. Когда он бросился, огибая Шумку, к ходку, Кузька дико заорал на лошадь: «Пошел!» Меринок рванул оглобли и понес по мягкой дороге галопом. За лошадью Чуйко не погнался. Шумко, подняв голову, равнодушно смотрел вслед подсакивающему на кочках председателю. Густая шерсть на его загривке опустилась, хвост нервно вздрагивал. Потянув носом воздух, он затрусил между мальчишек к лесу. На опушке остановился и,



**МЕНЬШИКОВ**  
Валерий Сергеевич



**Сын участника войны**

Родился 8 октября 1939 года в посёлке Стеклозавод Белозерского района. Закончил железнодорожное училище, служил в Советской Армии. Был литсотрудником областной молодежной газеты «Молодой ленинец». Работал в МВД. С 1977 года и до закрытия трудился редактором Южно-Уральского книжного издательства. Заочно закончил Уральский государственный университет (факультет журналистики) и Свердловский юридический институт.

Автор книг прозы: «Цветы на асфальте», «За борами за дремучими», «Глухарь замолчал на рассвете».

Лауреат премии губернатора области и городской премии «Признание», Всесоюзного конкурса «Всегда на посту». Награжден специальным призом Министра внутренних дел СССР.

В 1999-2003 годах руководил Курганской писательской организацией. Член Союза журналистов.

В Союз писателей России принят в 1991 году.



## И РАСПАХНУЛАСЬ ДВЕРЬ (рассказ)

Казалось, раздвинулись стены нашей избы и стало в ней намного светлее, а может, и впрямь, чья-то нерастерявшаяся рука успела в суматохе крутануть фитилек подвешенной к потолку семилинейной керосиновой лампы. Что делал я в ту минуту, не очень помню. Наверное, привычно слушал бесконечные вечерние разговоры о недавней войне, о том, сколько мужиков не вернется в поселок – будь он, немец, неладен! – и когда же, наконец, возвратится мой отец. К добру, видно, вспоминали, не к худу...

Отворилась неожиданно без всякого стука дощатая дверь, обитая изнутри соломенной матрасовкой, и седоватые клубы морозного пара медленно покатались от порога к моим ногам. Кто-то большой, незнакомый в мохнатой заиндевевшей шапке, длиннющем до пола тулупе заслонил темный проем двери, оборвав своим появлением неспешный ручеек поздней беседы.

– Сынок! – простонала бабка, может быть, еще и не узнав столь позднего пришельца, а почувствовав это своим материнским сердцем. – Сергуня!

Она безвольно протянула вперед свои темные, с вздутыми венами руки.

Разом все смешалось в нашем доме. Плач, смех, непонятные возгласы – на миг не стало видно того, кого бабка назвала Сергуней. Все бросились к вошедшему человеку, оставив меня на объемистом, обтянутом металлическими полосками сундуке. Мгновение я непонимающе смотрел на эту сцену, а потом из меня непроизвольно рванулся звенящий голос:

– Папка, папуля мой, роднень-кий!

И этот пронзительный крик, видно, проник сквозь рубленые стены избы, потому что разом на соседних подворьях лаем зашлись собаки. Я стучал голыми ногами по толстой крышке сундука и всем телом тянулся к большому клубку людей, к едва видимой мохнатой шапке. Скатился с плеч подношенный вязаный полушалок, обнажив мое мосластое, с несуразно большими коленками тело, едва прикрытое самодельной рубашкой и короткими штанишками на помочах.

Я видел, как тянутся ко мне уже освобожденные от тулупа руки, и отец – а это был он! – медленно, преодолевая сопротивление

прильнувших к нему людей, приближается ко мне. И они, опомнившись от моего крика, на мгновение отпрянули от отца, и он оказался рядом со мной. Мой отец! Темные провалы глазниц, запавшие, давно не бритые щеки, точечные бисеринки воды на рыжеватых бровях и ресницах...

Огрубевшая жесткая ладонь коснулась моей головы, и я обмер от этого прикосновения.

– Какой же ты худущий, сынок. Одни глаза...

– С улки не загонишь постреленка. Одни побегушки на уме, – услышал я виноватый голос матери. Не знала она, куда давать себя, застыдясь этой нежданно-радостной встречи. Суетливо металась по кухне тетя Лиза и ее дочь Нонка, потерянно стоял у рукомойника дед, и лишь бабка опомнилась первой и, смахивая фартуком счастливые слезы, деловито орудовала кочергой, подгребая под сухой штабелек березовых полешек из загнетки горячие уголья.

Я мостился у отца на коленях – мой он и только мой! – боясь прикоснуться к его седоватой щетинистой бородке, ладони произвольно гладили малиновые лучики звезды, перебирали холодные кругляши медалей. Отец заботливо укутывал меня в полушалок, бережно прижимал к себе, словно боялся раздавить мое хрупкое тело. И мои старшие братья Юрка и Генка смирились с этим, робко лепились к отцу с боков, преданно заглядывали ему в глаза.

Жаром дышала печь, отсветы пламени металась по белым стенам, слезилась снежная наледь на стеклах. Вода с подоконников по тряпичным жгутам сочилась в подвешенные тут же бутылки.

– Отец, ты чего столбом полати подпер, спроворь баньку, пока мы тут...

– Сейчас, мать, я быстренько, – с полуслова понял он бабку и, накинув фуфайку, молодцевато выскочил в сени.

А бабка уже спустилась в подпол, вылезла без привычных своих «охов», заглянула под занавесь лавки, в кухонный шкаф – тихо постукивала какими-то банками, горшками, чашками. А глазами зырк да зырк в нашу сторону. Веселая, проворная – разом помолодела.

В печи уже что-то шипело-шкворчало, по избе растекались дразняще-сытные запахи, и мать с теткой уже в который раз пробежали из кухни в комнату. Там по такому случаю был выдвинут

на середину зала круглый стол и накрыт белой скатеркой.

Вошел дед, присел на голбец, успокоил на коленях руки.

– Я, мать, сухоньких плашек накинул да бересты подложил. Она разом, банька-то, жаром возьмется, еще со вчерашнего не остыла. Пускай солдат наш попарится, снимет окопную усталь.

Сполна, день в день, отмерил дед германскую войну, хватил лиха и на Гражданской, а в эту повоевать не привелось. Староват оказался, хотя и очень сынов своих, нас, молодежь, заслонить от беды хотелось. Трех от сердца оторвал, один вот пока возвратился, отец мой, его середний.

Распрямила деда нежданная встреча, расправила поникшие плечи. А на устах одно лишь слово: солдат. Будто забыл, что есть другие напевные сердцу слова: Сережа, сын. А может, отвык за эти годы или боится произнести их вслух, спугнуть ненароком залетевшую в дом радость.

А у бабки свои заботы, руки снуют без устали: шинкует слезливый лук, ловит в кадушке рыжики, студенистые сырые груздочки.

– Ты, старый, не расхоложивайся, не мни кисет. Бери сечку, да помельчи капустки. Да полукочаньев достань, на шестке разом отойдут.

– Я, мама, сама. Пускай батя отдохнет, поговорит о чем, – неуверенно подает голос мать.

– Куда уж тебе, присядь. Чай муж возвратился. А стол и Лизавета накроет.

Нет матери места рядом с отцом, мы его заняли. Да и неизвестно еще, чья тоска по нему сильнее. Вот и летает мать неприкаянно из кухни в горенку и обратно, раскраснелась, изредка бросает на отца тревожно-радостные взгляды, вспоминает давнее. И старшая отцова сестра, тетя Лиза, вместе с ней, в одной упряжке.

Не свожу я глаз с туго набитого рюкзака, что позабыто покоится у порога. Что там? А намекнуть неудобно. Скажут, что не отец тебе нужен, а гостинцы. Помолчу лучше. И снова тянусь к наградам. Нагрел ладошкой покрытую яркой эмалью звезду.

– За что это, папка?

– За войну, сынок, за войну...

А в избе еще светлее стало. Засветила тетка медную с литым узорочьем на высоком подставе лампу, пристроила ее в

горнице на комод. Радость такая на всех свалилась – где уж тут керосин экономить. Это потом можно будет и при лучине посумерничать, а сегодня и свет яркий – на полный выкрут фитилька, и разносолы без меры – на гостевой стол. Не каждому счастье подобно нашему по вечерам в дом приходит.

– А ну, орда, картохи чистить. Да попроворней!

Вывернула бабка из печи ведерный чугунок, прихватила его тряпичей – как только руки терпят – слила воду. Парит картошечка, полопалась от жары.

– Баб, можно?

Не хочется мне уходить с отцовских коленей, пригрелся, сомлел от неведанной ласки. Глянула на меня бабка. В глазах печеные искорки приютились.

– Эх, горе ты мое. Сиди уж!

Окружили чугунок на полу братаны, Нонка да Валька с Женькой – прибитые к нам войной бабкины внуки. Ничего, впятером управятся, не впервой. Весело катают они в ладонях горячие, чуть побольше бобов картошины, сдирают с них тонкую кожуру, перешептываются. А в иной день такая работа в тяжесть. Одно задело – живот набьешь, пока бабка не видит.

Давно дед намельчил капусты и еще не раз во двор наведалься. Теперь вот снова остучал валенки о порог, волной докатился до меня холодный воздух.

– Доспела банька-то. Малость угарно, так я не прикрыл вьюшку, вытанет. И воды холодной с колодца принес. Так что собирайся, солдат..

И снова ждет бабкиных указаний, она в доме за командира.

– Веник кипятком заварил?

– Распарил. Новый с амбарушки принес.

– И щелок заварил?

– Сготовил.

Перебрасываются дед с бабкой словами, не поймешь иногда, кто за старшего в доме. Помню, не утерпел как-то, спросил об этом бабку. Погладила она меня шершавой ладошкой по голове.

– Конечно, голова дому – дед. Его и слушаться наперед надо. Только и то верно, что на бабьих плечах хозяйство держится, не будь их, все пойдет прахом. А вообще-то в народе так сказывают, что ночная кукушка всегда перекукует дневную. Подрастешь вот, тогда и ты об этом узнаешь. Одно запомни: хозяйку в доме завсег-

да беречь надо...

И улыбнулась задумчиво. Что те слова означали, в ту пору мне было неизвестно. Только примечал я, что при людях всегда уважительно отзывалась она о деде, величала по имени-отчеству. А меж собой иногда и прикрикнуть могла, за нерасторопность или оплошку какую. Вот и решай, кто в доме хозяин, к одной оглобле привязаны.

А руки у бабки отдыха не знают, на минутку не успокоятся. Снимают с кринки желтоватую сметану, разминают творог.

- Любава, - это она к - моей матери, - достань из комода Сергунино белье, дождалось оно своего часа. Прокатай катком хорошенько, да и сама в баню собирайся.

Полыхнуло огнем материнское лицо.

- Я сейчас, мама...

А сама уже сноровисто достает с полатей валеk с рубчатым катком, пристраивается с бельем на краю сундука.

Поднял меня отец легонько, словно выжулублиенный подсолнух, посадил на печь. Не журись, мол. Тепло на печке, сквозь тонкие осиновые плашки нагретые камни источают жар. А внизу наша «орда» опорожняет чугун, наполнится тазик желтоватой картошкой. Сейчас из нее бабка спроворит десяток блюд: запеканку на молоке, сдобренную яйцом; салат с капустой, огурцами и грибами, да и просто поджарит на вольном жару с вытопленными мясными шкварками. Она на эти дела - мастерица.

Открылась дверь, робко, бочком (не напустить бы холоду) протиснулась соседка Настя Тюленева, которую за глаза все звали Тюленихой, хотя и не было в ее исхудавшем теле лишней жиринки, как на огородном пугале болталась латаная фуфайка.

- С радостью тебя, Кондратьевна!

И утерла кончиком серой шалки глаза.

- Прослышала вот, забежала. Может, моего где встречал?

Не принято в поселке и незваному гостю на порог указывать, особенно в такие вот счастливые минутки, да, видать, что-то ревнивое разыграло в бабке, и нас удивила своим ответом.

- Ты уж не обессудь, Настюха, Сергуня не на часок возвратился. Приходи с расспросами завтра, а сегодня пускай с семьей свидится, ребянтю приласкает - четыре года ведь...

А про себя, наверное, подумала: сейчас позволь, весь поселок сбежится. А она и сама еще к сыновней груди ладом не припала.

- Да, я ничего, обожду. Узнать лишь хотелось. Извиняй, соседка. Коль разрешаешь, завтра наведаюсь. Может и скажет что, Сережа...

- Какой разговор, заходи.

Ушла Тюлениха, не сомкнет теперь глаз, будет до утра надежду свою тревожить. А вдруг?.. Три года не было ей писем с фронта, пропал без вести, как сообщила казенная бумажка, муж. Ее Степанко. Состарил этой черной вестью когда-то самую веселую и голосистую на нашей улице Настюху Тюленеву. Вот и ходит она теперь до каждого, кого война живым домой отпустила.

Не сидится мне на печи. И послушность свою отцу показать хочется, и вниз приспело. Там братва уже картофельную повинность отработала и к рюкзаку приспособилась. Сквозь плотный брезент пытаются содержимое вызнать. Добро, что их проделку старшие не видят. Не утерпел, шепотом ябедничаю с печи:

- Баб, а они к мешку норовятся...

- А ну, кыш отсюда, - замахнулась та тряпкой. - Ишь чего удумали, окаянцы, нет на вас управы. Солдатский-то ремень побольнее дедова...

Сыпанули ребята от рюкзака, и лишь брат Юрка догадливо показал мне увесистый кулачок. Но теперь-то я никого не боюсь: ни братанов своих, ни ребят с чужих улиц - батька-фронтовик мне заступа...

А дед по наказу бабки опять во двор наладился, перекинуться через оконце с моими родителями - не угорели бы ненароком. И не успел отец дверь отворить, как бабка с ковшом навстречу метнулась.

- Ну, как побанилось?

- Хорошо, мама! Сколько об этом мечталось.

- Испей вот рассольцу брусничного. Не застуди только горло.

Нет сейчас для нее минуты лучше этой. Вот он - вещун, в самую руку. Будто идет она полем бескрайним, ромашки качаются в пояс, а по синь-небесью плывет встречь белый лебедок. К свиданке скорой...

И мать моя сияет счастьем, молодая, красивая - гляжу с печи, не налюбуюсь. Протягивает отцу гимнастерку, чтобы при всем параде к столу садился.

- Пап, - напоминаю о себе негромко.

- А ты все еще тут. Не подморозил тыловую часть? Ну, давай, расправляй крылья.

Без страха ныряю к нему на руки. Из таких не выпадешь, не обронят...

И вот все шумно рассаживаемся за столом. Сегодня каждому есть здесь место – и взрослому, и нашему брату. А стол – не оторвать глаз. Горкой – из ржаной мучицы хлеб, золотистая запеканка, подбеленная молоком похлебка, соленья, начесоченные ломтики сала, творог в сметане, подтаявшая клюква. Э, да что там говорить. Когда еще такое будет. И пускай разом умнется многодневный припас, разве это беда. Настоящая беда, она там, в окопах осталась. А отец вот он, живехонек. И фрица, и япошек побил. Одно слово, победитель. Жалеть ли тут сало и сметану.

В довершение ко всему выметнула бабкина рука из-под ситцевого фартука бутылку довоенной водки. К сургучной нашлепке прилипли мелкие крупинки песка.

– И-эх! – только и вымолвил от удивления дед.

Где, в каком тайничке всю войну отлежалась, дожидаясь вот этой минуты, – одной только бабке известно.

Булькала водка о граненое стекло. Подрагивала у деда жилистая рука. И все наше многочисленное семейство следило за тем, как он наполняет стаканчики. Лишь одна мать припала к отцову плечу и, казалось, не замечала щедрого застолья.

– Что ж, солдат. – Поднял дед свой стаканчик. – Спасибо, что пришел, что сумел одолеть супостата. А Лева, брат твой...

Потянуло у деда вбок губы, он неловко потянулся через стол. Заиграло звоном стекло.

– Чего уж, за сына и я сполна отгуляю. – Широко улыбнулась бабка, белозубо... – Моя сегодня минутка...

Она до капельки опорожнила стаканчик, вилкой поймала груздяной пятачок.

– Сдюжили, сынок, и ладно. Вон их сколько здесь обогревать пришлось. – И вскинула над столом свои худые руки. – Все у сердца лежали, своя родная кровинушка. А теперь уж не пропадем, каждого на руках удержим. Ну, чего присмирили, нажимай на еду, набивай пузо. И ваш сегодня праздник...

Набивали мы свои ненасытные животы щедрыми разносолами, гомонили вместе со взрослыми

– Пап, а пап, – не утерпел я. – А что у тебя в заплечном мешке?

– Эх, елки зеленые, память будто фугасным снарядом отби-



ло. А ну, братцы-кролики, несите до меня трофейный ранец...

И вот разверзся этот загадочный мешочный клад. Первой появилась на свет ярко-зеленая шаль и легла на плечи бабке.

– Вот уважил, так уважил. Только куда мне, старой, такую красу?

– А ты пройдишь, пройдишь, мать! Покажи сыновний подарок, – засветился от удовольствия дед. – Раньше-то, помню, щегольнуть любила.

– Так то раньше...

Проплыла бабка лебедушкой вокруг стола, в глазах – счастье, лицо доброе, светлое. Повела плечом, будто собралась лихо притопнуть ногой, а может и впрямь годы лишние с себя сбросила.

– Хороша! – выдохнул кто-то восхищенно. Не поймешь, про шаль или бабку-труженицу.

– А это тебе, Любаша...

Неудержимо хлынул на колени матери невиданный тонкий шуршащий материал, резанули в глаза оранжевые цветы, рассыпанные по зеленому приречному плесу. И я увидел, как крупными дождинками покатались из любимых материнских глаз слезы. Неуж-то и радость в слезах бывает?

Тете Лизе тоже достался отрез на платье, деду – пачка бездымного пороха и стеклорез с блестящей алмазной точечкой...

На время содержимое стола было забыто. Все с удивлением и восторгом рассматривали подарки. И лишь я нетерпеливо ждал своей очереди. Легли в бабкин передник две пачки хозяйственно не трофейного мыла, дед уже попыхивал козьей ножкой, заправленной иноземным табаком. И вот отец, наконец, развернул байковую портянку, и я увидел вороненый ствол и рубчатую коричневую рукоятку. Пистолет! Если бы не виднелась в стволе серая пробка, его можно было бы принять за настоящий. Так он был неотразимо хорош.

– Это мне? – не поверил я.

– Тебе, сынок. Играй. И пускай только такая память о войне останется в твоей жизни.

Я прижался губами к его теплой щеке и, не в силах больше владеть собой, выскочил на кухню. Вскоре туда явилась и вся наша «мошкота». Хвастать подарками. Братьям достались губные гармошки, Нонке – плюшевый заяц. Вальке с Женькой – костяные свистки. Вдобавок они принесли большую круглую жестяную коробку с липучими леденцами и тут же устроили депежку. Зажав в кулаке свою долю, я снова проскочил в горницу. За столом шел оживленный разговор, поименно вспоминали сельчан: кто из них воротился, кто увечен, а кому и вовсе не удалось дотянуть до Победы. И получалось так что вкрутую



*Герман Травников.  
Ожидание*



**МЕХОНЦЕВ**  
**Алексей Андреевич**

**Племянник  
участника войны**

Родился 20 апреля 1944 года в селе Понькино Шадринского района. Служил в армии, работал инженером-конструктором, закончил Шадринский педагогический институт. Преподавал в художественной школе, член Союза художников России, доцент.

Автор пяти сборников прозы – «От капли до капли», «Все пережили», «Устремление», «К источнику», «Айда с Богом». Печатался в местных изданиях.

В настоящее время – преподаватель художественно-графического факультета Шадринского пединститута, участник художественных выставок в Челябинске, Екатеринбурге, Кургане.

В 2009 году принят в Союз писателей России.



## МЫ ТОГДА ПОД ВАРШАВОЙ СТОЯЛИ

Как-то накануне Дня Победы приехали к нам тесть с тещей. «Зовите, – говорят, – сватью Прасковью». Это моя тетка, пенсионерка, солдатская вдова.

Сбегали, пригласили.

Идет, на голове яркий, праздничный, цветастый платок. Заходит, здоровается со сватовьями, целуется троекратно.

– Ну, зять, неча взять, угощай нас. Мы что ли в окошко глядеть пришли к тебе.

Бегу на кухню, давай носить все съестное на стол. Принес стулья, табуретки. Всех приглашаю за стол.

Тетка Прасковья встает: «Ну, давайте, сватьюшка со сватом, выпьем с вами за встречу, за Победу, да за мужа моего, погибшего от пули фашистской, ну и за детушек наших – за опору на старости лет».

Пока она говорила, мой тесть уже опростал свою стопку, закурил и сидел, как бы не зная, что дальше делать. И стал рассказывать о своей фронтовой жизни. Война – его вечная тема. Память оживает – не дает покоя, ищет выхода. Он был призван в первые дни войны. Испытал и тяжкое время отступления, и голод, и холод и радость освобождения родной земли от фашистов.

– Ну и вот. Фронт в 25 км от нас находился. А в Варшаве-то немец был. Мы тогда под Варшавой стояли. Наступление остановилось. Народу не хватало, выдохлись мы, четвертый год война шла.

Я в то время в авиационной части шофером служил. Меня то туда, то сюда с грузом пошлют. Потряслись мы со своим «захаркой» по фронтовым дорогам. Это ЗИС-5 мы так называли. Я до войны шофером работал, только на полutorке. Ну вот, едешь с грузом и не знаешь, то ли живой будешь, то ли нет. То мины опасайся, то артобстрел, а то и немецкий самолет за тобой увяжется. Фронт же рядом.

Тут как-то назначают меня старшим колонны «месячников». Я до войны около 10 лет шоферского стажу имел. Машину знаю. А этих поучат – |и на фронт. Ох, я помучился с ними! Что-нибудь да случится. Смотрю как-то – машина стоит. Подхожу – он в ка-

бине сидит, и в чем дело? – спрашиваю. Почему стоишь? А он только плечами подергивает, – не знаю, мол. Ах, ты, едри тебя через колено, – поднялся я на него. Да ты вылезь из кабины-то, да хоть посмотри что случилось? И до того меня это взбесило, что он в кабине-то посиживает. Ну готов прибить даже, чуть за пистолет не схватился.

Я-то уж в годах был, на войну взят в 36 лет, дома у меня мал-мала меньше остались. Старшего в 44-м тоже призвали... Такой же вот был...

Давай, — говорю, — вылазь из кабины-то, да открывай капот, смотреть будем. Покопались. Вместе быстрее сделали. Поехали дальше.

Нет, одному-то намного легче. Один хоть куда поеду. Хоть на фронт, хоть в тыл, а с ними, с этой «зеленью» тяжелоато пришлось...

Раз дали ящик везти. Забросили в кузов, я и поехал. Отъехал 100 метров - речка, а мост взорван. Давай искать объезд. Ну и поколесил я тогда. Фронт рядом. Опасно. Заберешься куда не надо. Все-таки нашел переезд. Сдал груз. Я даже не знаю, что в этом ящике было, весь брезентом замотан был.

Еду, значит, обратно. Смотрю — впереди легковушка стоит. Я остановился. Да это же наша! Подхожу: «Здравия желаю, товарищ подполковник!». - А-а... Это который молодежь обучал. Так точно, — говорю.

- А ну-ка, Сычев, подцепи нас, а то самим-то нам не выбраться. Да и к вечеру дело. Какой еще оказии ждать-дождаться.

- Мотор вот застучал, подшипники полетели, — с горечью произнес его шофер.

Слышим, звук, на самолет похоже. Никак немец нас заметил. Мы от машины бегом. Тут подполковник споткнулся, ну я тоже на брюхо, подполз к нему и стал помогать, чтоб в воронку перебраться. Только свалились мы в яму, как по бровке только фонтанчики от пуль забрызгали. Подождали, разрыва не слышать, да и звук стал удаляться. Вылезли мы, отряхнулись, завели мою машину. Ну, подцепил я их и давай кочегарить, газку подбрасывать своему «Захару». Приезжаю в часть, ребятам своим рассказываю, как я эту букашку-легковушку на хвосте припер. Они хохочут.

- Слушай, тебе же сейчас отпуск запросто заполнить. Не те-

ряй времени, жми быстрее к подполковнику.

Я вначале отнекивался, а потом думаю, ведь не ударит, надо сходить, а вдруг повезет. Захожу, он за столом сидит.

- Товарищ подполковник, разрешите, — говорю, — в отпуск съездить.

Он голову поднял, тряхнул ею.

Я опять за свое. «Пока стоим, я бы и съездил. Четыре года семью не видел, как там сама-то с такой оравой. Пятеро у меня их».

Подполковник опустил голову, будто не в силах ее держать, поднял снова, посмотрел на меня усталыми глазами:

- Ты, Сычев, службу свою знаешь, воюешь исправно, нарушений за тобой тоже никаких нет. Разрешу я тебе, только без происшествий и опозданий. Понял? Чтоб все как положено. Приедешь – доложишь.

Взял бумагу и пишет в левом углу. «Спасибо, товарищ подполковник, – говорю. – Разрешите идти?»

Вышел. Ребята вырывают: «Дай, посмотреть? Правда что ли едешь? Слышу, читают: «Отпустить в отпуск по прибытии пополнения». А-а-а. Мы думали, ты сейчас едешь. Таких-то вон полроты. Ты проси, чтоб тебя сейчас отпустил. Иди еще, пока подполковник не уснул», – и подталкивают меня. Думаю, где наша не пропадала. Захожу второй раз. Набрал воздуха побольше и единым духом выпалил: «Товарищ подполковник, пополнение-то приедет, тогда, ясное дело, в наступление пойдем. Какой тогда отпуск. Мне бы сейчас съездить, пока тихо».

Подаю ему бумагу свою. Он взял ее, сидит. Вижу, что недоволен, да и в сон его клонит. А я ног под собой не чую. Сидел, сидел он. Будто вечность прошла. Отрывисто зачеркнул прежнее, в другом углу пишет.

Уж не знаю, что и думать. Выскочил. Сам не свой, читаю, руки дрожат: «Отпустить сроком на один месяц с такого-то...»

Меня в жар бросило. Вытер лоб – мокрый. Стою и думаю: «Так ведь мало мне месяца-то. Не доеду до Шадринска – обратно заворачиваться».

Ну хоть как тут крути-верти, а придется третий раз заходить. Вот тут-то я и трухнул... Испугался...

- А, да черт с ним, с этим отпуском, думаю. Четыре года про-

воевал, как-нибудь доживу до Победы и без него. Немного осталось. До Берлина-то вон рукой подать.

Да больно близко счастье-то очутилось. Вот он отпуск-то у меня в руках.

А, была, не была. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Али я не фронтовик... Стучусь еще раз. Подхожу тихонько. Подполковник не шевелится. Боюсь его разбудить, а обращаться надо, уж раз зашел. Тихо так говорю: «Товарищ подполковник, это опять я. Сычев, не хватит мне месяца-то до дому... вернуться обратно придется».

Вскинул он голову, куда и весь сон прошел. Смотрит на меня с прищуром, весь вперед подался: «Ты что это, солдат, смеешься надо мной, что ли? Вот навязался, – да как стукнет кулаком по столу. – Ну-ка, кругом, шаго-ом, мм-м-арш! А то и этого не получишь. И чтоб я тебя здесь больше не видел. Понял?»

– Так точно, – проглотил я и, брякнув сапогами, пулей выскочил вон. Ехать так ехать. Собираться надо. У солдата како собиранье – на попутку и на вокзал.

Приезжаю домой. Что тут было... Родню созвали, выпили со встречи... и! Давай по хозяйству управляться. День живу, другой, а на третий уж обратно. Время военное, строго спрашивали за опоздание.

Вот так и отгостил. То ли был дома, то ли нет. Часто эти дни вспоминаю – будто во сне они приснились...

А под Варшавой-то мы тогда почти шесть месяцев стояли. Готовились к последнему удару по фашистскому логову. А домой я насовсем я вернулся уже в 1946 году. Нас из Европы-то на Восток турнули. Возле дома провезли... На войну с Японией. Но недолго повоевали... Меня ни разу не ранило. Только землей засыпало раз. Сержант сапог увидел. Откопали.

После войны всю жизнь тоже шофером проработал в своей деревне. Всего посмотрелся...

## ЦВЕТЫ ВДОВАМ

Приехал я к маме как-то на 9 Мая. Как раз огороды вспахали. Пошли садить с ней картошку. Садить не копать. Быстро разбросали. До обеда поправились. Смотрим – тетка Прасковья с

дочерью Марией все еще садят.

Пошли с мамой к ним. Я взял лопатку. Мы с Машей копаем ямки, а мама с теткой бросают картофелины. Хорошо, когда много помощников. И тут быстро поправились.

Тетка давай на стол собирать. Все-таки праздник сегодня – День Победы! Хоть и не радостный. Пришел ее Иван с войны израненный... Да вскоре и помер. Опять она одна с ребятишками осталась. Но вырастила, выучила, хоть и одна работала.

Отужинали. Праздник отметили. Пошли по домам.

А мне что-то в мозги вдарило. Уже темнеться зачало, а я вспомнил, что за «кирпичным» у нас всегда подснежники росли. И побежал. Не ближе место да на ночь глядя в лес бежать. Хмель в голове. А про клещей энцефалитных даже и не вспомнил. В наших краях их сильно много по весне бывает. Все наверное отделение заполняется «клещевиками».

Дошел до «кирпичного», с километр примерно. Уже еле различаю полевую дорожку. Чуть не на ощупь иду. А до лесу еще столько же, где подснежники цветут. Это за Понькинской гранью. За большой поляной. Возле омутов на бугре, где мы в детстве с ребятами целыми днями купались в этих холодных и чистых да глубоких омутах. Разбежишься с крутого берега и ныряешь в эту холодную бездну. А вода чистая-пречистая. Все дно видно, как гальяны и пескари там резвятся. А мы тоже вроде гальянов были. Купались без одежды, голенькие. В лесу никто не видит. Носимся по поляне нагишом, а потом сигаем в воду. Аж обжигает тело от холодной родниковой воды.

Тут, возле самых омутов токо и цвели по весне подснежники. Я вспомнил детство, цветы и поперся на ночь глядя... «Дурная башка – говорят, – ногам покою не дает».

Прихожу на эту поляну уже в темноте. Хорошо, что каждый кустик, каждое деревце с детства знаю. Почти наугад иду. Темень...

Какое-го трепетное волнение охватило. Тут должны подснежники цвести. Опустился на колени, стал чуть ли не ползком осматривать этот бугор. Мне уж под пятьдесят.

И точно! Засветились, будто фонарики теплятся, горят слабым внутренним светом. Вот они сердешные! Красавцы пушистые! Стал рвать. Вот еще группа. Вот еще. Уже ничего не вижу кроме цветов. Мгла спустилась на землю. Да еще кру-



гом березы. Неба не видно. Нарвал цветов – окружался. Не знаю, в какую сторону идти. Еле сориентировался. Пришел в деревню часа через два. Как слепой иду. Ничего не вижу. Стучу к тетке Прасковье. Они уж закрылись. Спать ложиться собираются.

– Ты это откуда? – спрашивают. Я захожу с цветами.

– Вот, говорю, – решил Вас с праздником поздравить. – С Днем Победы Вас!

И подаю им половину. Остальные маме.

– Ты че, сдурел? Небось за «кирпично» сбегал?

– Ага, – говорю. – Туда.

– С ума сошел! – А сами улыбаются и довольные. – Не боисьшь клещей-то.

– А я и забыл про них.

– Ну, спасибо, Леня... За цветы! За поздравление. Садись, посиди. А мы уж спать собрались.

– Нет, я пойду. До свиданья.

И вышел опять в ночь. Со свету и вовсе черную, черную... Лишь подснежники в руках да россыпь звездной пыли вверху едва светятся в этой кромешной тьме... Будто это были живые души тех, не вернувшихся с войны солдат – наших родных и близких, погибших за нашу непутевую жизнь...

За наш  
ства! И е  
подснежи  
жизни!

Мы по

ы Отече-  
точно эти  
скаянной





*Валентин Коршунов.  
Триптих «Хлеб»*

**МОТОРИНА**  
**Надежда Викторовна**



**Дочь военнослужащего  
Резервного фронта**

Родилась 17 апреля 1953 года в селе Мишкино. Надомным методом обучения получила среднее образование. В 1988-91 годах училась в Заочном народном университете искусств. В 2002 году вышел в свет первый сборник стихов «Души моей распахнутая дверь», а в 2005 – сборник «Здравствуй...»

Начиная с 2002 года ее стихи неоднократно публиковались в литературно-публицистическом альманахе «Тобол». В 2006 году центр «Отклик» в серии «Мини-библиотека зауральской поэзии» выпустил небольшой буклет с рисунками и стихами Надежды.

В последнее время пишет стихи и сказки для детей. В детском журнале «Нафаня» в виде книжки-малышки вышла «Сказка про косолапого мишку, сосновую шишку и чудесное слово» (2007).

Член Союза писателей России с 2008 года.



\* \* \*

*Извела меня кручина –  
Подколотная змея,  
Догорай, гори, моя лучина,  
Догорю с тобой и я.  
(из народной пенсии)*

Петь можно радость –  
Кто же спорит –  
Когда душа звенит сама;  
А наши бабки пели  
Горе,  
Чтоб в скорби не сойти с ума.

Провалы глаз  
Да крылья шали  
Над слишком ранней сединой –  
Они любимых отпевали,  
Украденных глухой войной.

На печке  
Куча деток малых,  
Хлеб-лебеда да горстка ржи...  
Как дальше жить – они не знали,  
Но надо было как-то  
Жить.

И женственность поправ ночами,  
Все проклиная и любя,  
Они в судьбинушку впрягались  
За мужиков и за себя.

И пели!  
Не могли иначе,  
В тоске сгоревшие дотла.  
Их песни были  
Будто плачи,  
А в плачах музыка жила!

\* \* \*

*27 января 1944 года –  
День снятия блокады Ленинграда*

В глазах сегодня боль и радость  
У стариков страны моей –  
Кто жил в блокадном Ленинграде  
Те девятьсот смертельных дней.

Сегодня плачут без утайки,  
С души снимая скорби груз,  
Кто помнит стограммовой пайки  
От горя горький-горький вкус.

Кто с ними сердцем был и мыслью,  
И хоть друзей своих терял –  
Упрямо по «Дороге жизни»  
Продукты в город доставлял.

И плачут те, кто шел на битву  
Глаза в глаза, лицом в лицо,  
Кто потом, кровью и молитвой  
Прорвали страшное кольцо.

...Уж нет на карте Ленинграда...  
Кто «наверху» – тому видней.  
Но русским свято помнить надо  
Те девятьсот блокадных дней.

*22 июня – День памяти и скорби*

День выдался сегодня жаркий,  
И в речке плещет детский смех...  
Он – за столом. А рядом – чарка  
И пайка хлебушка на всех.  
А в памяти то воскресенье:  
Такой же теплый летний день,  
Вдруг – Левитана объявление:  
– Война!  
И пала горя тень.  
Вой бабий резал наживую,  
Небесный свет к земле приник...  
Тот плач – во сне ли, наяву ли –  
Но слышит до сих пор старик.  
Один остался он в деревне –  
Солдат далекой той войны,  
Вон те огромные деревья  
Друзья сажали...пацаны.  
Потом ушли на бой с фашистом,  
Вернулись далеко не все.  
О, сколько их во поле чистом  
Лежать осталось на росе.  
А те, что все же возвратились,  
Дожили до своих седин, –  
Уж тоже вечным сном уснули.  
Остался только он один.  
Он захмелел, и сердцу жарко,  
Он всех сегодня воскресил,  
За каждого налил по чарке  
И ломтик хлеба откусил.

**МУРЗИН**  
**Алексей Никитич**



**Племянник трех  
участников войны**

Родился 17 апреля 1973 года в селе Коврига Шадринского района Курганской области. В 1990 году закончил среднюю школу, в 1995 году - Курганский педагогический институт и стал преподавать географию в школе.

Первый рассказ «Коврижка» опубликован в Шадринской газете «Исеть» в 1999 году. В альманахе «Тобол» опубликованы его рассказы «Старо поле», «Лукерья-Комарница», «Старица», «На разливах» в 2002 году. Печатался в журнале «Подъем» (г. Воронеж), еженедельнике «Российский писатель». Участник семинара молодых писателей в Москве в 2003 году. В 2005 году стал лауреатом конкурса «Золотое Перо Руси». Автор книги рассказов «Старо поле».

С 2001 по 2007 год работал директором Шадринского краеведческого музея, сейчас трудится в центре русской народной культуры «Лад» города Шадринска.

В Союз писателей России принят в 2006 году.



## ПОМИНКИ

Сергей ехал в деревню. Не был там уже наверно лет семь. Дед приболел, и поехать не смог, а было необходимо. Оформлял пенсию, и стали нужны какие-то справки из сельского совета. Владимир Петрович – дедов брат сумел всё подготовить. Нужно было только забрать.

Поездку подгадали к девятому мая, выходных два, можно всё проверить и вернуться без спешки. Старики: Владимир Петрович, которого Сергей, как и отец, называл дядей Вовой, и его жена Ольга Поликарповна – тётя Оля, давно поджидали родственника и по телефону попросили племянника уговорить Сергея остаться ночевать. Отец велел уважить родню. Сергей долго препирался. Всё же два выходных впереди, но согласился.

Дорога была прекрасная, мотор новой отцовской машины ровно рокотал, из динамиков лилась модная мелодия, в открытое окно врывался тёплый, свежий и влажный ветерок. Сергею было хорошо.

– Нельзя мужчине без машины – думал он. – Вот закончу институт и надо как-то покупать свою.

У дороги мелькали чёрные поля, зеленеющие колки, попадались все какие-то одинаковые деревни, казалось, и люди тут должны жить такие же одинаково-серые, неинтересные. Сергей обогнал несколько развалюх, всё «москвичи» да «копейки». Было весело, и он посигналил какому-то дедуле, с прищуром глядящему на дорогу сквозь стекло дряхлого «москвичёнка». Через полчаса Сергей подъезжал к дому. Дядя Вова уже поджидал на лавочке у ворот. Постаревший, сидел в клетчатом, с наградами пиджаке и серой кепке.

– Ну, здорово, Серёжа. Заматерел. В отца весь! – заговорил, пожимая ему руку, Владимир Петрович, – как дедушко, там в городе-то?

– Да ничего. В сад собирается, полегче стало.

– Ты пока не заставай коня-то, – сказал дядя Вова, указав на машину. – Подвезёшь меня на митинг, как раз вовремя подъехал. Всех ветеранов лично пригласили, а я тебя приглашаю.

– Ну, садись, дядя Вова, – Сергей открыл перед стариком дверь



ку.

– Хороша машинка-то, – дядя Вова в восхищении ощупывал панель, – долго, поди, батюшко копил?

– Не знаю, он мне не докладывает, – Сергей запустил двигатель, и нетерпеливо переключая передачи, резко выскочил на поднятую асфальтовую дорогу.

– Коммерческа тайна, видно, – засмеялся дядя Вова.

– Да, правда, не знаю... – Сергей всё больше раздражался: «Неужели весь день слушать это. Как бы не нагрубить».

– Ты, куда? Забыл, где правление-то? – замахал руками пассажир, – заулочок проехал.

– Дядя Вова, ты за штурмана сейчас, показывай вовремя.

У клуба машин не было, и Сергей остановился в стороне. Вышли они вместе.

Митинг начался с опозданием почти на десять минут. Четверых ветеранов поздравляли глава сельской администрации и, страшно волнуясь, все двенадцать старшеклассников местной школы. Самодеятельный ансамбль пенсионеров в пошитых когда-то концертных сарафанах, исполнил песни военных лет. Все четверо получили в подарок по клетчатой рубашке и открытке, чем остались очень довольны. Потом школьники и ветераны возложили венки к пирамидке памятника погибшим односельчанам, краснеющей подновлёнными фамилиями.

Гремели и блестели на солнце награды. Ветераны, стесняясь редко надеваемых парадных пиджаков, бодрились и напускали торжественный вид. Школьники шли серьёзно и степенно. А когда глава объявил Минуту молчания, наступила вдруг тишина. Селяне действительно молчали. Пожилые и дети, мужчины и женщины. Даже суетливые воробьи вдруг тоже замолчали, наверно, испугавшись внезапной тишины. Сергей невольно отметил: в городе всё не так. Бритые братки, ожидающие своих подружек, где-нибудь на задах пытаются перекричать друг друга, улаживая дела по мобильнику, беспечные школьники продолжают свой «крутой» трёп, а несчастные учителя громко шепчут угрозы в попытках их урезонить. Тут, в деревне, всё было все-рез.

Закончили митинг приглашением ветеранов в сельский совет, где готовилось общее застолье. Владимир Петрович отказался.

Сослался на нездоровье. Обнялся со всеми, прощаясь.

– Поехали, Сережа, хватит с меня митингов-то, – дядя Вова направился к машине.

– Вот уж, которую весну после войны встречаю, а всё вроде внове, – рассуждал он по дороге. – Только, вот каждый год похолодание бывает, и нынче ветер вон какой студёный. Да, всё одно оттеплит, куда оно денется. Дожить бы только, хоть до цветочков, да до ягодок... А то, вон, Ерофея с Петром зимусь на кладбище свезли. Одного в декабре, другого в феврале, в оттепель как раз. Осталось нас, ветеранов войны-то, с прошлого года пятеро. Подбирает смёртонька, будь она окаянна. – Владимир Петрович тяжело вздохнул.

– А на митинге только четверо было, – припомнил Сергей.

– Степанко, пятый-то, давно уж от дому не отходит, к нему и председатель и школьники домой приходят. Катаракта, а операцию делать нельзя, неросло ещё что-то. Он и говорит: «Не увижу уж я ни травки, ни солнышка...». Да и меня вот, тоже болезнь от застолья-то погнала. Вон, по телевизору, да по радио, не одинова за день твердят: «Шестьдесят процентов мужчин страдают», как совсем уговаривают, а у нас из стариков-то меня только и мает, а как скажу при бабах – стыдобушка...

Большой пятистенок-дом Владимира Петровича, стоял совсем недалеко. Свежо зеленели в палисаднике кусты, белела старая яблоня.

– Вот, Серёжа, видишь, радуется всё жизни-то, – улыбался ветеран.

Вскоре они уже сидели за приготовленным Ольгой Поликарповной столом.

– Ты, не пьёшь, поди, ещё? – сурово глянул на гостя Владимир Петрович.

– Да нет, пью маленько, – Сергей почему-то под этим взглядом вдруг покраснел.

По случаю праздника и приезда гостя тётя Оля выставила на тесно и богато обставленный стол бутылку водки. Хозяин разлил в гранёные стопки.

– Ну, тогда давай за Победу, что ли? – дядя Вова встал и, выдохнув, опрокинул стопку.

Сергей, поперхнувшись, сделал то же.

– Ну вот, молодец! – подбодрил гостя Владимир Петрович. –

Давай, отведай, чего Бог послал.

На столе было много чего: и домашние соленья, и деревенский подовый хлеб и сдоба, и холодец, и пельмени, и настоящий квас. И ещё что-то, чего Сергей и не пробовал никогда.

– Прости уж, Серёжа, чем богаты, – стала извиняться за отсутствие магазинного Ольга Поликарповна.

– Ну что вы! – успокоил её Сергей, – стол у Вас прекрасный, а таких огурцов, наверно, больше нигде и нет.

Ольгу Поликарповну ответ, похоже, только расстроил. Она смутилась и нарочито отвернулась к печке, спеша переложить что-то с одного угла шестка на другой.

– Давай по второй что ли? Помянуть надо друзей-то, – выручил супругу Владимир Петрович.

– Ух, крепка–зараза... – поморщился он. – Какмы её раньше-то пили?!..

– Всех бы помянуть, да уж не всё и помню, – Владимир Петрович приготовился к рассказу, сел поудобнее...

«Терпи, Серёга...», – сам себе сказал Сергей...

– В сорок восьмом, помню, как мужики, кто ещё дослуживал, воротились да огляделись – оказалось, меньше половины нас осталось. А, чтобы целыми пришли – так, пожалуй, я да Алексей, да ещё Генко-писарь. А остальные – кто с каким изъяном. Бабы-то и таким радёшеньки: «Хоть живой!» Молодухи, которы замуж перед войной вышли да вдовушками остались с ребятишками, здорово убивались. Которы замуж-то и не выходили уж больше. Есть и такие, что похоронки не получили, так и прожили, до старости ждали... А мужики, кто ещё сколько протянул...

Лицо дяди Вовы порозовело, он чувствовал это, и было ему от этого как-то неуютно.

– С прошлой Победы не пивал винного-то, – оправдывался он, отирая пот со лба.

– Ты поосторожнее как-нибудь, Володя, – попросила Ольга Поликарповна, – да ешь, давай.

– Ну, ещё указывай. Сегодня можно, всех вспомнить надо. Схоронили сколько? Не помнишь? Человек, поди, семьдесят. Ерофей считал, записывал, в школу унёс тетрадку-то. Там наверно лежит. Спрошу после праздника. Семьдесят, а каждый по-своему прожил.

Гаврило, вон, где только не был. Призвали их четверых враз:

Гаврилу, Гераска, Мишку да Николая. Учили на Урале, в Чебаркуле. Бабы – матери да жонки – Николай-то с Герасимом женаты были, – к ним на свиданку ездили. Не пускают, а всё равно как-то проберутся. Домашнего чего-нибудь передадут да тёплое, к зиме дело-то было.

Потом всех увезли, кого куда. Так Гаврило с Мишкой попал. Всё, говорит, рядом старались быть. В первом же бою, в траншее, почти что рядышком были. Только Мишку танком перемолот, а Гаврило живой остался. Хотел, говорит, как потише стало, Мишкины документы прибрать. Где там! Каша одна.

Штыком Гаврилу в рукопашной кололи, в колене у него осколок сидел до самой смерти, в восемьдесят седьмом с ним в землю и ушёл. А, бок-от весь осколком развороченный! И хребёт набок был. В бане как-то парились. Смотреть страшно. Победу в госпитале встретил, без памяти, заражение пошло. Доктор-женщина отваживалась с ним чуть не год. Выжил, да вон сколь ещё прожил, хоть и без трех рёбер, а ничего, крепкий был. Умер, считай, что, в строю. На покосе, стоял на зароде. Где же Гаврило пустит кого на зарод? Сам всё. Хозяин. Да, неудачно как-то шагнул, покачнулся. Тут, в аккурат, стогомётом копну подавали, ну его и стукнуло по головушке. Улетел, высоконько было. Кинулись, а дедушко-то уж не живой. А так Гаврило, может, нынче бы праздновал. Вот оно, как бывает. А он, считай, до Кенигсберга дошёл... Да, ты ешь, Серёжа, что сидишь? С утра, поди, без завтрака, знаю вас – городских. Рысаки! – подначил Владимир Петрович.

– Спасибо, дядя Вова, тётя Оля, всё очень вкусно, не могу, не лезет уже.

– А ты зашшурься да глотай, что хоть не колбаса.

– Можно, я потихоньку, – Сергей действительно вдруг почувствовал сытость.

– Ладно, только, чтобы дочиста, – настаивал Владимир Петрович.

– Да, что уж ты. Пусть парень ест, сколько хочет, – Ольга Поликарповна всё же чувствовала неловкость.

– Забыл я много, Серёжа. Но и помню ещё кое-что. Вот Петро, которого схоронили нынче, помнишь Оля, первый парень был. Гармонист, – вернулся к рассказу Владимир Петрович. – Девки-

то, сохли! За косы таскали друг дружку, пуще парней дрались, бывало, еле растащат! Нам дивно, мы ещё молоденьки были. Завидно, – усмехнулся хозяин. – В танкисты попал Петро, как тракториста взяли. И на «КВ» и на «тридцатьчетверке» повоевал. Все вспоминал: «КВ-то, чо – корова, вот «тридцатьчетвёрочка» – машина». На понтонном мосту – через Днепр вроде, а может, и нет, сейчас уж не скажет, а я не помню точно – переправлялись. Петро-то проехал, а эти никак не могут. Этот «КВ» – «Клим Ворошилов», так и этак, говорит, поворачивают. Командир впереди идет-пятится, машет, сигналист. На берегу уж поджимают, торопят, начальство подъехало. То ли поторопился мужик, то ли напутал чего, в самом деле, кто его знает? Потянуло танк – ничего сделать не могут. Ухнул в воду – пузыри одни. Механик там и остался. Не мог выползти.

А особысты-то, тут как тут, выловили всех и вместе с командиром увезли. Что с ними стало, кто знает? – Дядя Вова замолчал, будто припоминая что-то.

– Ещё, сказывал Петро, в разведку на трофейном бронетранспортере гоняли, – продолжил он, – лейтенантик молоденький, ещё моложе Петра, с картой сидит: «Туда правь, туда...» Уверенно так показывает. А потом заметался. Всё... Не поймут куда заехали. Отматькали его, а что толку. Надо как-то обратно, а он с картой вовсе окружался. Смотрят, деревня. Заехали, а в ней немцы. Наделали им шуму, постреляли, подавили да дальше. К своим стараются, а они по ним долбят – часть-то, видишь, другая. Как-то не подбили. Едва отнекались. Лейтенантика под трибунал. Петро говорил, в штрафбат определили, искупать вину. Задачу-то, не выполнили. Они тогда на него шибко злые были. А потом, говорит, жалко стало, парнишко совсем ещё. Ему бы через огород, к девкам дорожки прокладывать, а он по карте в тыл врага. Просмотрел что-то, всяко бывает с человеком, а с командиром всяко, видно, быть не должно...

– Ох-хо-хо, Сережа, да ты, что это сидишь без дела-то опять. Ну-ко, баушка, давай-ко подкладывай ему, – призвал жену Владимир Петрович, – Заморила тебя мамка. Вон как желудок-то сморщился, ничего съесть не можешь. Налить, видно, ещё надо.

– Погоди, Володя. Не на вред бы? – вмешалась тётя Оля.

– Ну, так, ты как? – в надежде обратился к гостю дядя Вова.

– Не гони, дядя Вова, успеем, – смутился Сергей.

– Ну, будь по-твоему, – согласился Владимир Петрович, – пришел Петро-то, хромой, лицо всё в ямах, обгорело. Девки, сперва рыльца-то воротили. Ничего, женился, да до нынешней зимы дожил с Галиной своей, деток у них трое.

Или, вот Миней. В сорок четвёртом пришёл, контуженый. Я тогда ещё не мобилизован был. Его учёточником поставили, на лёгкую работу. Ездит, бабью работу считает. Волком выл, бывало: «Что-же вы, бабы, делаете? Откуда сила-то в вас такая»? А сам, уж иссыхал весь. Схватит мешок или навильник, а поднять не может. Бросит, уйдет с глаз куда-нибудь, заревёт. Маня-то ему двоих ребятишек успела родить, возила всё его по больницам да госпиталям, да видно шибко жамкнуло мужика, в сорок девятом году схоронили.

– Ты помнишь Миней-то? – обратился к жене дядя Вова.

– Как не помнить, справедливый был. Спорил за нас с начальством: «Куда вы их девчошек? Некому больше никак уж?» Бывало и отвоюет. Берёт нас, шибко понятливый был человек, – отозвалась Ольга Поликарповна.

– А, вот ещё Николай с Василком, да Иван. Всех мобилизовали в одно время и судьба одинакова. Пропали без вести, сколько лежат так-то, то ли схоронены, то ли под кустом, кто посчитал? – дядя Вова перечислял, загибая пальцы. – Один под Ржевом, другой где-то в Ленинградской области, а третий и вовсе в Германии. В шестьдесят девятом или уж в семидесятом году их фамилии на памятнике написали. Так парторга-то в район вызывали. Приехал, бледнёхонек, велел Алёшке-художнику закрасить, тогда при клубе художник состоял. Мы, ветераны, жалобу чуть не все подписали. Возили в район, говорят: «Вдруг предатели»? А какие они предатели? Самые отчаянные головушки были. Идут по деревне, мы за ними, никого не боимся, впереди прячутся, кричат: «Колька!», или там: «Васька идёт!» Умирать будут такие, а своих не продадут. Нет, не дали написать, и не поминали нигде. В прошлом году только дописали, вместе с ребятишками – «чеченцами», никто, ничо уж не сказал.

В голове Сергея живо рисовались картины деревенской жизни, хотя в них постоянно чего-то не хватало. Сергей впервые ощутил живых людей, представлялись свои родные, друзья.

Было обидно и страшно за них, и почему-то за этого ветерана, дядю Вову. Которого знал с детства, и совсем, оказывается, не знал. Не знал его поколение и никогда, ничего не дослушал, всё как-то некогда было.

– А ты, что опять приуныл? – дядя Вова вновь сурово глянул на гостя.

– Слушаю я, – тихонько ответил Сергей.

– Ну, послушай, послушай. Никто уж сейчас лучше-то моёго, наверно, не расскажет... Так ведь, нашли Николая-то, – продолжил Владимир Петрович. – В братской могиле там, под Ржевом, и был. Письмо на сельсовет пришло оттудова. Да только родни не осталось уж в деревне. Шура, жена его, так одна Витьку и выкормила, да и умерла, не дождалась весточки. А, Витька, тот сейчас на Севере где-то, и знать не знает. Написать хотели, адреса ни у кого нету. Дружки его все уж сами отцы да деды, не пишут писем-то.

Или вот ещё Самойло. В плену был. И что ты думаешь: там выжил, его тут ещё в лагерь определили. За всю жизнь ни разу на митинг не приходил. Выпивали с ним, бывало. Так он молчит, а потом заревёт: «Не виноватый я, браточки, контуженного меня прибрали. Не знаю, как живой вот остался. А сколько робят-то загублено...» И заходится мужик. А мы уж знали, схватим его. А его так и трясёт, еле отойдёт. Спать, положим, где-нибудь, до утра проспит, ходит потом молчком. Да он всегда тихонькой был, так и умер, сам себя виноватым считал. А этот всё его поддевал, писарчук-то – Генко: «Я ить фронтовик...» Ероша, ему и сказанул, одиново всего: «Ты, Гено, про фронт-то нам не п..., мы и про фронт и про тебя всё знаем». Всё, замолчал. Ну, уж на митингах-то удержаться не мог, всё слово брал. Да и Бог с ним, с Генком, с покойной головушкой, тоже уж живого нету... Тебе сколькой пошёл? – спросил вдруг Владимир Петрович.

– Двадцать осенью будет.

– Чо уж двадцатый? – оживилась вдруг Ольга Поликарповна. – Последний-то раз вон, как петушок молоденький, когда уж поёт по петушинуму, а голос цыплячий...

– Мы ещё моложе тебя были, когда призвали-то нас, – прервал рассуждения жены дядя Вова, – уж в сорок пятом. Степана только в сорок четвертом. Так и нашему брату досталось. Всю

войну, считай, в колхозе работали, да ещё на лесозаготовки забирали, вместе с трудармейцами. Насмотрелся я тогда на них. Говорили: «Вон враги народа идут...» Строем их водили, кто в чём, еле бредут. Смотрим, а нам жалко, таки же ребятишки, мужики. Худые все. Тут же заключённые, в телогрейках, в валенках которы. И мы тут же, из разных деревень: бабы, девки, да мы, которых ещё на фронт рано призывать.

Как призвали, тоже сперва учили. Потом повезли кого куда. Серёга – тёзка твой – в Западную Украину угадал, до сорок седьмого года бандеров ловил, нагляделся всякого тоже. Не лучше же немцев, а где и похуже будут. Нынче они, говорят, опять башки-то заподнимали. Не всех Серёга выкурил. А эти, слышал, чухонцы-то, что творят? Собрали деньги, да памятник эсэсовцам возле Новгорода, вроде, поставили. Нашлись добры люди - взорвали... Так, власть-то почто не видит? Или она вовсе уж без зубов? А то вон Петька-племянник говорит: «Их же и посадят, взорвали которые». Неуж, так и есть? Эх!.. – бахнул кулаком по столу дядя Вова. И отвернувшись, как-то неловко замолчал. Молчал и Сергей.

Стало почему-то стыдно за себя, что так ничего и не сделал за свои почти двадцать лет. За жизнь которая вполне, вроде бы, устраивает, а тут такое... И ведь слышал же что-то в каких-то «Новостях». Но пропустил, съел, как и прочую информацию. Вроде так и надо, и даже не задумался...

– Эй, брат, ты спишь что ли, – Владимир Петрович, наполнил давно пустые стопки. – Хрумкай, огурчики-то, есть, поди, зубы, я ладно, холодцом закушу. Батюшко твой шибко любит Олины-то огурчики. Завтра в яму сходим, ещё достанем. Увезёшь ему. Сами-то солите?

– Нет, у нас картошка одна в саду, да ещё яблоня.

– А, что так. Дед-то пусть ходит, чо ему делать на четвёртом-то этаже, как в сквориленке, – дядя Вова жевал кубик холодца с горчицей. – Давай, Серёжа, что ей стоять стопке-то... А я ить, с немцем-то не повоевал, – отведя взгляд, как будто извинился Владимир Петрович, вертя пустую стопку, отчего-то не ставя её. – Митка с Лёнькой в Германию повезли, Витьку в Мурманск, Паньку в Крым. А нас с Егором на Дальний восток. Его пораньше, меня потом, – продолжал он помолчав. – На запад сперва



конечно, да потом обратно. Едем, ничего не поймём. Смотрим, к Свердловску подъезжаем, а потом и наши края пошли. Все спрашивают: «Куда нас?», а никто не говорит. Нам хлеб на станциях бросают, на Байкале омуля сунули. Мне маленько досталось, вкуса не разобрал. – Засмеялся Владимир Петрович. – Кричат: «Победа, Германия капитулировала!», обидно стало. У всех в родне погибшие были. Мстить хотели, хоть одного немца, а положить. Оказалось, к самураям везут... Говорят, быстро их отпонужали...

Сергей волевым усилием прогонял вдруг навалившуюся усталость. То ли от водки, то ли с непривычки, что встал слишком рано. Сидел неестественно прямо, чувствуя пристальный взгляд тёти Оли.

– ...А, всяко же было, – рассказывал Владимир Петрович, облокотясь на стол. – Через пустыню Гоби, марш-броском шли. Давали селёдку одну, чтобы пить не просили, японцы-то колодцы отравили. На всю жизнь я её наелся... И сразу без передышку в бой. Дружок мой – Сашка, в муках умер. Осколком его в живот, в первом же бою... Все кишочки выпали... Он их засовывал, а они обратно. Кричит: «Вова, помоги...» А, я что сделаю, реву, не видал такого-то... Много нас там таких, не стреляных было. Фронтвики нас ребятишками звали. Жалели, берегли. Никакой дедовщины мы не знали, это нынче, сволочь какая-то выдумала.

А, им, фронтвикам-то какво было. Немца одолели, думали: «Всё». А тут, опять, война. Правда, говорили: «Против немца япошки – слабаки». Зря на них американцы-то атомную бомбу бросили, им и так каюк подходил. А те не навоевались, видно, долго сидели, так хоть лежачего, а пнуть... – Владимир Петрович с презрением матюгнулся. Поднёс стопку ко рту, она оказалась пустой, – тьфу ты... – он со стуком поставил стопку на стол. Слишком резко схватил бутылку, со звоном уронил вилку, – ну, ... – поставил бутылку обратно, тяжело откинулся на спинку стула.

– Дядя Вова, пошли покурим, что ли – предложил первое, что пришло в голову, Сергей.

– Ты, Серёжа, иди. Он уж отпраздновал. Я сейчас постелю ему, – встрепенулась Ольга Поликарповна.

Владимир Петрович сидел опустив голову на грудь и, кажется, дремал.

– Айда, Володя, отдохни, – тётя Оля потрепала его за плечо.

– А, Оленька, устал я, правда, – дядя Вова поднялся, опираясь о спинку стула и плечо супруги. – Ты, Сережа, не обижайся на меня, старый я, да и праздник сегодня...

Сергей тоже поднялся. Пошёл к обитой войлоком двери, проходя ее, больно ударился, забыл пригнуться. В просторных сенях долго морщился и шипел от боли. Потом вышел на крыльцо-веранду. Дверь, не успев закрыться, со стуком растворилась, появилась тётя Оля.

– Ты, Сережа, ключи-то от машины отдай, – потребовала она.

– Зачем? – удивился Сергей.

– Ну, так... Потеряешь ещё... – настаивала Ольга Поликарповна.

– Да, берите, конечно, – Сергей в растерянности шарил в карманах, нашёл, протянул хозяйке.

– Вот и ладно. Да долго не мёрзни, холодны ещё вечера-то, – тараторила она. – Пойду, погляжу, как он. Год, считай, не пивал. А сегодня, знаю, что не удержать, – оправдывалась за мужа Ольга Поликарповна.

Оставшись один, Сергей походил по двору. Всё вроде осталось по-прежнему. В том же углу такая же метла и совковая лопата. Так же квохчут за решетчатой дверью куры, и в саду всё оказалось таким же. Не сразу он определил, нет одной яблони. Смородиновые кусты как-то переместились, освободив пространство для грядок.

День незаметно перешёл в вечер, солнце било в глаза почти по прямой. Сергей ставил козырьком ладонь, чтобы хоть что-то увидеть. Становилось прохладно, и он вернулся в дом.

Со стола исчезли пустые тарелки. Зато кое-какие яства появились вновь.

– Сережа, поди, ещё чего отведаешь? – обратилась, выглянув из-за огромной печи, тётя Оля.

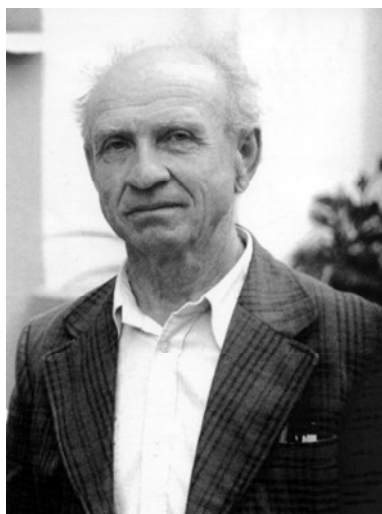
– Да нет, спасибо. Чаю бы только.

– Вот и хорошо, я тоже попью.

В комнате темнело. Ольга Поликарповна включила низко висящую слабую лампочку:

– Много уж не договариват дедушко-то, не может. И все они, нас щадят: вас – молодёжь, да нас – баб. Не говорили и не говорят всего-то. Я слыхала, когда их ещё много было, ветеранов-то. У Володи компания была, выпьют, начнут рассказывать, без всякого, с матюками, как есть. Там не соврёшь, говорят да ре-

**НОВИКОВ**  
**Борис Иванович**  
(22.05.1938-30.07.2007)



**Сын работника  
оборонной  
промышленности**

Родился 22 мая 1938 года в городе Бакал Челябинской области. Закончил Тюменский лесотехникум. С 1957 по 1961 год служил в Советской Армии. После службы работал слесарем по ремонту паровозов, фрезеровщиком, главным инженером Юргамышского леспромхоза, председателем сельского совета, с 1996 по 2006 год - заведующий лечебно-оздоровительного комплекса РНЦ и ВТО имени Г.А.Илизарова.

Инициатор создания журнала «Сибирский край», который сам составлял и редактировал.

Автор сборников стихов «Скажи мне, сердце», «Тополиная метель», «Колесница» (стихи и проза), «Роза ветров», прозаической книги «Рыцарь мечты».

В Союз писателей принят в 2007 году.



## ТАНКОГРАД

### *Моему отцу*

Не ходил я в полный рост в атаку.  
Не стрелял, в окопе схоронись.  
Но с войной была по злому знаку  
Детством установленная связь.  
Я узнал воздушные тревоги  
Без паденья бомб и канонад.  
Это нам давалось, как уроки,  
Это отзывался Сталинград.  
Уходил и мой отец с котомкой  
С боевой колонной на вокзал.  
Но вернули в строй на оборонку:  
«Много дел и здесь», – как он сказал.  
Полземли от пороха горело,  
Застилался дымом горизонт.  
Под Москвой война с открытым зевом,  
Здесь же проходил незримый фронт.  
Город, что знавал войны гримасы,  
Назывался просто – Танкоград.  
Не рвались тут с грохотом фугасы,  
Но строчил нередко автомат.  
В заводских цехах рождались танки,  
Крепла мощь защитников страны.  
Но мешали нам душеподранки,  
Проще же – пособники войны.  
Было здесь немало и шпионов,  
И бандитов, беглых от войны.  
И горстями гильзы от патронов  
Часто подбирали пацаны.  
Мой отец, в победу нашу веря,  
Здесь, в тылу, военный нес дозор.  
Был не раз из-за угла обстрелян  
И, бывало, стрелян был в упор.  
За отвагу и ему награда  
Вручена была на том посту.

Да, за оборону Танкограда  
Получил он Красную Звезду.  
У войны один исход заведом –  
Быть и ей погашенной огнем.  
Так пришла к нам общая Победа  
Над врагом всемирным майским днем.

Я не помню дней войны начала,  
Но я помню хорошо конец:  
Вся страна безмерно ликovala,  
На параде шел и мой отец.

### ОРДЕНА

Ордена, боевые медали,  
Словно пуговиц срезанных ряд.  
Атрибуты военных регалий  
На торговых прилавках лежат.

Продают за рубли их, за чеки  
По одной или оптом с горсти.  
Без стыда и понятия о чести  
И забытого слова – прости.

Как не вздрогнуть бойцам-ветеранам,  
Защитившим Отчизну в огне,  
От того, что базарным товаром  
Вызрел орден в опальной стране.

Орден Ленина, орден Авроры  
По валютно высокой цене.  
Знали б вы – ратной доблести воры, –  
Сколько стоят они на войне!

Я смотрю на верзилу с «мадонной»,  
Что торгуют медальным вождем,  
И вопрос подмывает законный:  
«Ну, а совесть-то ваша почему?»



*Николай Годин.  
Поезда не возвращаются*

**НОСКОВ**  
**Виталий Николаевич**



**Племянник двух участни-  
ков войны, один из кото-  
рых пропал без вести,  
другой - умер от ран**

Родился 1 августа 1950 года в городе Кургане. Учился в Курганском пединституте, работал в областной газете «Молодой ленинец». В 1981 году закончил Литературный институт им. Горького Союза писателей СССР.

В конце 90-х и начале 2000-го года от газеты «Щит и меч» МВД России находился в длительных командировках на Северном Кавказе. Награжден боевыми наградами.

Автор книг прозы: «Дорога домой», «Тёплое крыльцо», «Любите нас, пока мы живы...» (о чеченских событиях), по этой книге создан кинофильм «Миротворцы», Книги Памяти о павших в Чечне собровцах. Лауреат Всероссийской литературной военной премии «Сталинград», литературных, журналистских премий МВД, Союза писателей России, губернатора Курганской области.

Печатался в журнале «Урал», еженедельнике «Литературная Россия» и многих других центральных изданиях.

В Союз писателей России принят в 1991 году. Секретарь Правления Союза писателей России.

## ДОРОГА ДОМОЙ

Семнадцатого марта, в день рождения брата, не вернувшегося с войны, Елена, тридцатипятилетняя замужняя женщина, видела во сне, как в изодранной шинели, с ручным пулеметом на правом плече он идет по лесу среди похожих на него усталых людей.

Сон был ясным, она хорошо разглядела брата, но весь рабочий день, сидя за сложным чертежом, Елена гнала воспоминание об этом сне, но опять видела перед собой сгорбленные, натруженные спины бойцов, цепью лежащих в корявых, редких кустах. За командиром, очень худым, высоким, который крикнул что-то, сразу поднялся Шура; не открывая огня, следом бросились остальные. От безлюдных, с выбитыми стеклами, после дождя темно-серых домов ударили немецкие пулеметы, Шура ответил им длинной, горячей очередью. «Вперед!», – кричал командир. Потом, невысоко вздыбив землю, что-то оглушительно хлопнуло. Шуру подняло, и он вроде как полетел умирающий...

Цепенея от страха и наваливающейся на сердце боли, Елена, всхлипнув, закрыла лицо рукой, а сидящие напротив девушки посмотрели на нее с удивлением:

– Вам что, нехорошо?

– Нет. Все в порядке. – Она опустила руку с привычно зажатым в пальцах рейсфедером, и все чертежницы в маленькой, на пять рабочих столов, комнате увидели в ее глазах выражение долго не отпускающей боли.

Елена с нервным румянцем на щеках сидела, выпрямившись, глядя на неоконченный чертеж, и думала, что сегодня брату бы исполнилось тридцать девять лет и отец с матерью уже ждут ее. На столе в деревянной рамочке перед ними фотография Шуры: коротко стриженный, босоногий, он сидит на крыльце, в правой руке у него сапожная щетка, а на левую надет еще невычищенный сапог; на загорелом, чуть скуластом лице улыбка, по-утреннему спокойная.

– Куда он собирался тогда? Не помню. – Она указательными пальцами потерла виски. – Какой страшный сон был про тебя, Шура! Вернись Шурка с войны, она бы сказала ему: «Идем к нам на завод, будем вместе на работу ходить».



На заводе Елена работала с пятнадцати лет, с тех пор, как в ее школу в 1942 году пришел мужчина в полувоенном, армейского цвета костюме и сказал семиклассникам: «Кто хочет помочь фронту?» Елена попала тогда в сборочный цех – бывший склад, посреди которого, одна на весь цех, топилась печка-буржуйка. Вдоль стен – она хорошо помнила – стояли длинные столы, на которых собирали гранаты, а все остальное занимали станки. Ее за несколько дней научили штамповать корпуса для гранат. Чтобы свободно доставать ручку станка, Лене, ростом небольшой, пришлось подставлять под ноги деревянный ящик; справа от нее в других ящиках, побольше, лежали заготовки гранатных корпусов, неотогнутые края которых надо было загигать на станке. Норму Лена перевыполняла, и никто в цехе не удивлялся, что пятнадцатилетняя девочка так хорошо работает: все знали, что у нее три брата на фронте и один из них пропал без вести в октябре 1941 года.

Когда она вышла из проходной, началась снежная кутерьма. Еще дотемна Елена видела из окна, как на северной стороне толпились черные, набирающие силу тучи, и самые близкие из них, как неповоротливые большие птицы, поворачивали на горд.

Через сквер из высоких, прямых тополей она вышла на улицу, увидела в темноте квадратно-черную башню элеватора, на которой горели красные, похожие на самолетные сигналы, огни и подумала: «Натерпелся Шура от самолетов», – и представила его стоящим в окопе: перед ним на бруствере лежала винтовка, и, опаленный зноем до черноты, взмокший от пота, с грязными потеками на скуластом лице, Шура смотрел туда, откуда близились таинственно гудящий, то наступающий, то отступающий, режущий облака звук; потом все закрыла взрывами поднятая небо земля, и она уже не могла представить, каким в эти страшно томительные минуты был ее брат...

Мысли о нем не оставляли Елену с той минуты, как ее разбудил страх за него. Она не успела увидеть во сне – упал он после взрыва на землю или нет; и опять, как и весь день, она гнала от себя этот страшный, нелепый сон: ведь в детстве ей казалось, что Шура будет всегда.

Она спешила к матери, зная, что в печи будет гореть огонь, мама вспомнит, каким Шура уходил в армию чернобровым, смуг-

лым красавцем и расплатится. А Елена часто вспоминала брата мальчишкой, одиноко из темноты смотрящим с улицы в кухонное окно. Его светло-карие глаза были широко, чтобы слезы не пролились, открыты, полные губы не дрожали, он крепко сжимал их... За спиной Шуры была такая же, как сейчас, похожая на мартовскую непогода; и, глядя в его испуганные, затемненные тоской глаза, она, восьмилетняя, рыдала, а гостившая в доме богатая тетка с тринадцатилетним сыном напирала, что пятьдесят рублей из ее сумочки взял именно Шура, и тогда Лена закричала: «Это ваш Колька украл! Он нас с Шуркой в буфет водил, мы там чай пили с конфетами, и он говорил: «Мне денег много дают. Я вас угощаю, а вы про то моей мамке не говорите!»

Теперь Елена была матерью и знала, что пережил отец, выгнав оговоренного теткой сына. Тетка везде чувствовала себя как дома и всех учила, как жить. Озябшего и голодного Шурку отец сразу вернул в дом, а Кольку, смущенно причитая, тетка выпорола ремнем.

Елена шла между не похожих друг на друга домов, ветки тополей и берез постегивали зажженные фонари, а все, что было дальше верхушек деревьев, было невидимым; и она опять ясно вспомнила брата, смотрящим на нее через оконное стекло.

С приездом тетки в доме тогда что-то сломалось, все стали держаться отдельно, каждый в своем углу, не собираясь по вечерам на долго не остывающем после солнца крыльце. Теперь Елена понимала, что это был молчаливый протест против тетки, и помнила, как проснулась с радостным ощущением, что в доме нет больше чужих людей...

Елена тогда лежала в уютном покое и думала, как в доме свободно и чисто, и опять удивлялась, почему тетка не уехала сразу, когда узнала, что деньги взял ее сын. А Шурка уже тихонько открывал дверь в спальню и от порога шептал: «Не спишь? Айда со мной! Папаня два часа, как ушел. На озеро к нему пойдем, там и заночуем». Раньше он никогда не звал ее на рыбалку, и Лена благодарно тарасила на брата глаза. Сначала они шли в тени стоящих вдоль старицы деревянных домов, только в конце Битевской улицы, где старица делала крутой поворот к Тоболу, свернули в другую сторону, и солнце снова крепко тронуло их.

Лена с интересом глядела на груженные, катящиеся им навстречу, телеги, в которых скучали незнакомые, разморенные на жаре мужики. С мягким топотом, медленно переставляя в пыли напряженные ноги, тянули груз лошади; и она чувствовала, как им хотелось в прохладный сумрак конюшни, и жалела их, а потом она сама устала на пыльных от зноя улицах. Слыша поспешающие за ним маленькие шаги, Шура молчливо вел ее за собой и оборачивался, когда она робко спрашивала:

– Далеко еще?

– Нет, вон за тем курганом, – обещающе говорил он, ждал, пока Лена поравняется с ним, и они снова шли рядом. Когда он переставал спешить, Лена ловко попадала в шаг, глубже и ровней дышала, переставала размахивать крепко сжатыми для скорости кулачками.

Они уже давно шли по степи. Над заросшим травой огромным курганом парили, хищно раскидав крылья, птицы; и девочка хорошо разглядела, как, крутя горбоносой, маленькой головой, болотный лунь то становился темно-коричневой точкой, то возвращался близко к земле...

Поглядев с опаской на большекрылых занятых охотой птиц, Лена пошла рядом с братом, иногда касаясь пальцами его твердой, в сухих мозолях, ладони. Воздух был горячий, тугой; и казалось, она с трудом рвет его. Миновав редкий кустарник, они вышли к подножию кургана, и словно перед ними открыли калитку – так толкнул влажный, прохладный ветер.

– Смотри... – весело сказал Шура.

В жарком дневном мареве, как брошенное у реки тележное колесо, в круглой, ласковой полудреме лежал город.

– Надо же, дорога как поднялась, – сказала Лена.

– А вот мы на курган подыдемся! Ну-ка!

Схватив ее за руку, по хлеставшей траве Шура бросился на самую высоту. Скоро они стояли на вершине кургана, и стремительно уходящий вниз город шел по Тоболу, оставляя по берегам приземистые, под железными крышами, пивоваренный и турбинный заводы с высокими дымящими трубами, три моста – деревянный и два железнодорожных, – серебрящиеся в дрожащем степном мареве. Сверкая на солнце новыми стеклами, тянулась в небо обновленная макаронная фабрика. В полуденном

зное томилась обветшалая церковь, а на другом конце площади, как гриб подберезовик, стояла пожарная каланча. Вспыхнул и погас солнечный луч, коснувшись медной каски стоящего под грибочком пожарного.

– А озеро? Где озеро, куда мы идем? – нетерпеливо спросила Лена.

– Оглянись, – сказал Шурка.

Озеро с желтеющим по берегам камышом показалось ей прозрачно-пустынным, волны гнали перед собой сверкающие, похожие на выпрыгивающих рыб, блики. Над озером парили чайки, деревенские ласточки, стрижи, а над прибрежной степью трепетали жаворонки, оповещающие всех, что они там с высоты видят.

Но прежде, чем Лена с братом пришли к давно прикормленному, законному месту папани, они обошли половину озера и остановились у нескольких, растущих недалеко друг от друга, берез.

Лодка папани легонько качалась недалеко от берега, напротив берез; и Лена, забежав в воду по колено, радостно закричала: «Мы пришли!» А отец спокойно ответил: «У меня клюет, устраивайтесь пока».

Светлой, лунной ночью, после ухи и разговора, лежа в разохшихся, давно приспособленных для ночлега лодках, папаня, Шура и Лена засыпали у догорающего костра. Лодки стояли рядышком, и, слыша негромкое, предсонное покашливание отца и замирающее дыхание Шуры; она тогда с благодарностью думала, что он насыпал ей сена побольше, и если сейчас поменяться, то его постель окажется, как он любил, твердой. Пока он носил, раскладывал по лодкам сено, Лена помыла с песочком миски и кружки, и, когда улеглись, она испытала чувство необыкновенного, долго не проходившего удивления отдающимися свое тепло лодкой и сеном, ночным криком кем-то разбуженных чаек, таинственной возней в близкой к костру траве, многоголосым шелестом берез...

И теперь, спеша после работы к матери, Елена с болью чувствовала: знай она тогда, что Шурка, всегда работающий, всегда донашивающий за старшими братьями рубашки и брюки, не вернется с войны, она жалела бы его еще больше, жила для него, и Елена опять вспомнила его такого маленького, одиноко-

го, молчаливо смотрящего из темноты в кухонное окно.

Когда началась война, братья Иван с Василием уже три года служили на Дальнем Востоке, Шура было полных восемнадцать. Он сразу пошел добровольцем.

...С вечера, перед уходом на фронт, Шура нарубил много дров, принес из деревянного ларя ведро угля. И в шесть утра, пока он спал, мама с Леной растопили печь, завели блины; и, когда с раскаленной сковородки был снят первый, поджаристый, как любил Шурка, блин, по затаившемуся, даже печью не разгоряченному, лицу матери тенью прошла судорога; и, кривя узкие, потемневшие губы, она беззвучно залепетала что-то, а Лена, смазывая блин топленным маслом, испуганно глядела в ее расширенные бедой зрачки, пугалась ее сухого, рвущегося из груди, кашля. «Мама, ну что ты, мама?», – шептала она, глядя ее, чувствуя, как сильно толкаются о ладонь лопатки матери.

В то утро Шура сам не проснулся и на разбудившую его сестру посмотрел так, как если бы это был самый обыкновенный день: «Пора, Ленок? – улыбнулся. Она молча кивнула. – Иди, – со сна хриловато сказал. – Я одеваться буду».

«Он идет на войну», – сидя в кухне на лавке, глядя, как мать грустно и ловко печет блины, думала Лена. Война представлялась ей огромным полем, а Шура вместе с другими солдатами, занимая поле, гнал врага все дальше и дальше, без отдыха, до самой победы. Война казалась ей бесконечным, без сна, боем.

Шура вошел на кухню, перетянутый солдатским ремнем, в начищенных ботинках, брюки и белая рубашка отглажены. Следом зашел, по виду не спавший всю ночь, папаня. О чем они втроем говорили, Лена не знала: она вышла в многооконную горницу накрывать на стол. Застелив ее белой, старинного тканья, скатертью, расставив тарелки и три стаканчика из синего стекла, она села на табурет. Из-за далеких, видных из окна, лесов – дом на высоком месте стоял – встающему солнцу в бок нацеливалась темно-синяя туча. Мягко, лениво разгоняясь, туча вывела за собой вереницей другие, поменьше, и скоро тучи заполнили южную сторону неба. Двустворчатая дверь отворилась, и в горницу вошел осунувшийся, будто ничего не видящий перед собой – такое заострившееся, слепое было у него лицо, – отец, следом, одергивая старенький, хорошо выглаженный пиджачок, широко шагнул через порог Шура. У него было спокойное, будничное лицо, только темно-карие глаза

чуть воспаленно блестя. Мама несла тарелку с горячими блинами, наклонив голову, словно боялась на пороге споткнуться. Солнце горячечным румянцем тронуло ее правую щеку, открытый тонкий висок с бегущей по нему синей набухшей жилкой, чистый лоб, а ее темные, собранные в пучок, волосы тоже красно-огненно осветились.

– Ну что же, – стоя между выходящих на проезжую улицу окон, покашляв в кулак, негромко сказал отец и привычным жестом указал сыну место напротив. Мать с дочерью сели по правую и левую руку от Шуры. И в эту минуту в комнате потемнело, за Тоболом раскатисто громыхнуло. Обернувшись на окно, у которого только что сидела на табуретке Лена, Шура сказал растерянно:

– Вот так-так! Ко мне ребята хотели перед работой зайти.

– Придут, – сказала Лена. – Да и не будет дождя. Погремит да перестанет.

В комнате темнело быстро. Сначала сумерки отразились в зеркальном трюмо, на тумбочке, на бело-серебряной печке-голландке... Разгоняясь, как в речном водовороте, потемки сгущались вокруг сидящих за столом и скоро легли на них, оставив свой поднебесный свет. Еще печальнее, обостренней стало лицо матери, под глаза, сделав их глубже, легли серые тени. Шура сидел прямой, как на чужой свадьбе.

Гром из-за далеко растянувшихся туч, по краям застывших, посередине, как дым от огромного сигнального костра, клубящихся, раздражался все больше. То, что дождь прольется, было видно по все убыстряющемуся дрожанию крепко прижатых к ветвям листьев осин; когда они в идущем от земли ветряном порыве взметнулись, дождь разом бросил их вниз.

Отец наказывал сыну, как вести себя среди людей. Мать смотрела обеспокоенно. Дождь ударился в окна, пошел сильнее, даль от густо падающей воды побелела, стала похожа на зимнюю, а старица была, как подо льдом, по которому ветер гнал снег.

– Ты там – осторожней, – сказала мама и прикрыла лицо ладонью; и по тому, как резко заходили ее худые, длинные пальцы, все поняли, что она подумала.

Над старицей грохнуло, как из пушки, и Лена так боязливо ойкнула, что Шура засмеялся:

– Трусишь, Ленок?

Настежь с лязгом открылась калитка. Шура крикнул: «Ребята при-

шли!» – и выскочил из-за стола.

Четверо одноклассников окружили Шуру и, не выпуская из кольца, втащили за собой на крыльцо, а потом в сенки.

– В дом заходите! – звала их мама.

– Да мы на работу, в депо бежим, – старались улыбаться ребята. – Давай, Шурка, прощаться.

...Дождь уже кончился, когда Шура с вещевым мешком за плечами вышел во двор; он подошел к отбелевшей, ведущей на крышу, лестнице, потрогал ее, открыв калитку, не пошел в огород, просто оглядел начинающую цвести картошку, капусту, две пониклые яблони, старый тополь, заброшенный, провалившийся колодец; за густой прибрежной травой были сочно-зеленые камыши спокойная с илистым дном старица, а потом заросший кустарником берег и дальше, до Тобола, низкие ивы, подрастающие тополя, крыши небольшого поселка, а за рекой – простор и лес.

Закрыв калитку, Шура выпрямился, расправил плечи, глаза его, темно-карие, глядели, запоминая нас обещая: «Все хорошо будет, вы меня ждите».

С таким же уверенным лицом Шура шел по Битевской улице, которой на работу спешили знавшие его люди. Старики, женщины, подростки здоровались первыми и их «здравствуйте» в первую очередь было обращено к нему, а то, что известного им парня провожают на фронт, было ясно по его облику, а больше по отчаянным глазам матери, которая старалась идти в ногу с сыном и, не падая в лад, крепко, двумя руками, держалась за его локоть.

Отец в рабочей одежде – от военкомата ему надо было на макаронную фабрику – шел, опустив плечи, по левую руку от Шуры. Лена же торопливо, часто оглядываясь на брата, шла впереди. На улице после грозы стояла теплынь, семицветно над старицей светилась радуга, отражаясь в чисто вымытых окнах домов, из которых сморели только что проснувшиеся пацаны. Как и все на улице, они без улыбки, серьезно глядели на Шуру, и, когда он прощально махнул рукой одному, тот, в длинной незаправленной рубашке, застеснявшись, отпрянул и снова осторожно выглянул; и, уходя, Шура еще успел увидеть его, черноглазого.

К ночи, когда отец вернулся с работы и нашел жену с дочкой у военкомата, они пошли туда, где добровольцы грузились в

вагоны.

С близкого круглосуточно работающего завода доносился металлический звон и лязг. На пустыре, через который от железной дороги к заводу шли рельсы, стояли готовые к приемке людей вагоны. Папаня, мама и ждали там, где кончалась ведущая на пустырь шоссейка. Десятки женщин, стариков, старух и детей всматривались в темноту.

Сначала Лена услышала дрожание воздуха, какое бывает в лютую зиму, и сразу, разбиваясь на речной шум, шарканье ног, кашель, монотонное, иногда взрывающееся рокотанье, стал расти другой звук... Одетые в телогрейки, плащи, свитера, остриженные наголо, добровольцы и мобилизованные, с вещевыми мешками, баулами, чемоданами, шли строем, и ждущие на пустыре кинулись к уходящим...

Елена удивлялась, что память сохранила ей все, и ей казалось, что она никогда не была ребенком. «Говорят, мы раньше лучше были? Нет, мы просто молодые были, человека узнавали по тому, кто как работал». И в который раз за этот день она увидела перед собой брата: в шинели, в обмотках, в облезлой каске, с ручным пулеметом на правом плече, он переговаривался с бойцами и вроде поторапливал их; может, это был обыкновенный разговор на ходу, но Елена не знала, о чем говорят пытающиеся выйти к своим солдаты.

... Остановившись под скрипучим, монотонно качающимся фонарем, она глянула на часы. Еще надо было пройти улицей Зеленой, миновать озерко, железнодорожные пути, а потом дороги – на двадцать минут. Она шла на Битевскую – в родной дом. Дом на старице был неизменным, выросшим в землю корнями. Ее же благоустроенная квартира в пятиэтажке оставалась для нее жильем временным, которое они с мужем и сыном могли обменять.

Из серой уличной темноты расплывающимся пятном выступила стоящая на углу, отличная от других видом и цветом, хата; ее поставил – она знала – оставшийся в городе после госпиталя демобилизованный по ранению украинец. Изба была белой, с невысоким плетнем, на колья которого были надеты два глиняных горшка. За плетнем бугрился защищенный снегом большой огород.

«Шура, поди, на Украине лежит, зарытый», – подумала Елена



и надолго горестно остановилась возле плетня.

Потом, свернув на исправно освещенную фонарями улицу, она сразу услышала неразборчивую с близкой станции путейскую скороговорку.

Со станции навстречу ей летел прожекторный свет, и все кругом: дома с еще незакрытыми ставнями, близкое озерко, посеченное темными полосами от стоящих по берегам дворовых заборов – все приобрело четко означенное, плоское, как на чертеже, выражение. За озерком и белой крышей одноэтажного, с высокими окнами, госпиталя для инвалидов Отечественной войны черно стояли девятистолетние тополя. И Елена вспомнила, что в начале войны она была в этом госпитале со школьной концертной группой. Она многое успела забыть, но память выхватила из той белой, госпитальной круговерти палату на четыре койки и лежавшего у окна безрукого парня, а что он так посечен взрывом, их, девчонок, предупредила перед дверью врач. Парень лежал по шею укрытый и улыбался смущенно – вот все, что вспомнила Лена и смятенно подумала: «Может, Шура тоже так лежал в госпитале, и сколько он там перестрадал, передумал о матери, об отце, братьях, сестре и той ночевке, когда спали в разошедшихся лодках?» Она ступила на деревянный, через озерко, мостик, и тут кто-то, грубо и цепко схватив ее за плечо,дохнул на ухо:

– Стой! – и развернул к себе.

Перед ней стоял длинноносый, выше ее ростом, узкоглазый, с тонкими, почти невидимыми губами человек в черном осеннем пальто и серой, кроличьей шапке.

– Деньги давай! – сказал он свистяще.

Елена увидела, как его угрожающие глаза стали еще уже, и еле выговорила:

– Нет у меня денег.

– Врешь, сука! – выпалил он, и его левая рука с зажатым в ней стальным прутом дернулась. Другой, голой, без перчатки, рукой он рванул Елену к себе за пальто так, что пуговицы отлетели и стукнулись о мерзлые доски мостка.

– Врешь, сука, – снова, но уже тише повторил, а его рука прошарила внутренний, у пояса, глубокий карман ее старенького пальто.

– Вот же деньги, – опять негромко, с возмущенным лицом сказал. – А? – И его рука выдернулась.

Так это рубль, – ответила ему Елена.

Он осматривал ее с головы до ноги подступая ближе.

– Часы снимай.

Елена поглядела ему за спину. Все там было пустынно. И ей



**ПЛЯХИН**  
**Алексей Михайлович**  
(3.10.1918 – 16.11.2006)



**Участник  
Великой Отечественной  
войны**

Родился 3 октября 1918 года в деревне Кабаково Лебяжьевского района. Кавалер ордена Славы 3-й степени, двух медалей «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина».

После войны работал редактором районной газеты в Белозерке, заведующим районным отделом культуры, учителем в школе, литсотрудником и заместителем ответственного секретаря областной газеты «Советское Зауралье». Заочно закончил Литературный институт им. Горького.

Автор сборников стихов: «Зауралье моё», «На тополином берегу», «На войне и дома», «Сердцу близкое», «Незабываемое», «Верность», «Исповедь», «А в душе непокой...» и других.

В Союз писателей СССР принят в 1979 году.



## ВETERАНЫ

Сегодня мы, участники войны,  
Везде и всюду, как на пьедестале,  
Таким вниманием окружены,  
Что от него мы, чувствуем, – устали.

Ну, что же – терпим, ибо в этот час  
Мы видим, осуждать за то не смея,  
Что юные рассматривают нас,  
Как чудо из запасников музея.

И норовят потрогать ордена,  
Слова прочесть на каждой из медалей...  
Что ж, мы для них — реальная «война»,  
Которой молодые не видали.

Мы по России-матушке по всей,  
Как снег, белеем и, как он же, таем.  
Им завтра будут книжка да музей  
Рассказывать о были грозных дней,

Которую мы лучше книжек знаем.  
Да, так велик он, памяти запас,  
Что весь в строку вовек не воплотится.  
Поэтому – рассматривайте нас.  
И слушайте. Вам это пригодится!

## У ВЕЧНОГО ОГНЯ

Под небосводом, в сумеречных тучах,  
Трепещет вечный вымпел огневой.  
Стоит солдат на костылях скрипучих,  
Стоит он с обнаженной головой.

Он замер над мятущимся фонтаном,  
Над шелестом, горячим и глухим,  
И возникает перед ветераном,  
Как наяву, пережитое им.

А там друзья его – друзья живые,  
И сам он – с ними, молод и здоров..  
О, давние года сороковые!  
Что может быть больнее тех годов!

Нет, крови павших время не остудит,  
Не охладит печали матерей!  
Пускай не повторится и не будет  
Ни тех разлук, ни этих костылей!

## СВЯТОЕ - СВЯТО

Хотя давно уже не молод,  
А давней боли не унять:  
Как будто режущий осколок  
В тебя впивается опять,

И каждый раз перед рассветом  
Ты весь в жару и пот ручьем...  
Но я, однако, – не об этом  
Сказать хочу,  
а вот о чем...

Но как начну, чем боль умерю  
– Она упряма и жива,  
Когда звучат – ушам не верю, –  
Вот эти самые слова:

— Да перестаньте!  
Кровь и муки!  
До коих пор: «В дыму!», «В огне!»  
Да это все тошнее скуки:  
Война. Войною. О войне!

Как вы, ей-богу, не устали!  
Как не поймете вы того,  
Что это «бились и страдали»  
– Осточертело это – во!..

При этом парень – чирк рукою,  
У горла воздух распоров.  
А собеседник, бывший воин,  
Оторопел от этих слов.

Выходит – глупые натуры –  
Резвились воины в бою,  
Когда на вражьи амбразуры  
Бросали молодость свою.

Осточертело!.. Значит, спета  
Их песня, тех, что полегли?  
Осточертело! Если это  
Услышать мертвые могли!

Вдруг донеслось бы это слово  
До них, еще живых в тот час,  
А им идти в атаку снова  
И после – не увидеть нас!

А мы уже в боях не ляжем  
– Нет у войны сегодня прав.  
Так что же мы погибшим скажем,  
Слова такие услыхав?

Что им ответим в утешенье?  
Но тут мне реплика слышна:  
– Мол, ты, товарищ, к сожаленью,  
Из мухи делаешь слона...

Выходит, сменим гнев на милость:  
И муха – крохотная мразь –  
Пока в слона не превратилась,  
Пускай кощунствует, резвясь?

Но шли ведь в смертный бой ребята,  
Единой верою горя,  
Что все, что свято – будет свято,  
И что такая ими оплата  
За это плачена не зря!..

Пусть имена родных и близких,  
Переступивших тот редут,  
Живут не только в длинных списках,  
На островерхих обелисках,  
А в нашей совести живут!

## С ВОЙНОЙ НЕ ВСЕ ПРОСТИЛИСЬ

Я памятью в далеком сорок пятом.  
Из давних встреч, запомнившихся мне,  
Отчетливее вижу встречу с братом,  
Которая мне снилась на войне.

А встреча наша, как она и снилась,  
Счастливою и радостной была,  
Мы – за столом, а мама суежилась,  
У печки успевая и стола.

Дом не встречал нас оркестровой медью  
И тостами на разные лады:  
Мы угощались маминою снедью  
С шипевшей на углях сковороды.

И влага согревательного рода –  
На середине нашего стола  
В графине Боровлянского завода,  
К себе вниманья нашего ждала.

И дождалась: с веселыми словами  
Наполнив чарки вровень с ободком,  
Мы выпили, дотронувшись до мамы,  
А мать глаза потрогала платком.

Раскрыта настежь кухонная створка.  
Но – тишина. Такая тишина!  
И только иногда на гимнастерках  
Позвякивают робко ордена,

Как будто знают скромные награды,  
Что для таких возвышенных минут  
Ни звяканья блескучего не надо,  
Ни пышных слов не требуется тут...



Да, это все – как будто в сновиденье:  
Нам хорошо, уютно и тепло.  
И ощутили в это мы мгновенье,  
Как здорово нам с братом повезло,

Что на такой войне мы уцелели,  
Что ныне смерть отступится от нас,  
А между тем братишку на прицеле  
Она держала в этот самый час.

И вот я с братом навсегда прощаюсь,  
Мне тихо – не в обиду, не в укор –  
Он будто молвит, как и я, печальсь:  
«С Победой все живые повстречались,  
С войной не все простились  
до сих пор!»

\* \* \*

Да, сорок первый год и сорок пятый!  
А между ними – той и этой датой –  
Коротенькая черточка. Тире.  
Коротенькая черточка.  
Но годы,  
А в них длиннее вечности походы,  
Немыслимые беды и невзгоды –  
Все значится в ее календаре.

Мы были безбороды и безусы  
(У нас совсем иные были вкусы,  
Чем свойственные нынешним юнцам).  
Нам выпала неслыханная драма.  
Но мы... Но мы не плакали упрямо,  
Когда шептали плакавшее мамы  
Напутствия молитвенные нам.

Не оскверняя гордости железной  
Слезливостью негодной, бесполезной,  
Мы знали все, зачем идем, куда,  
Какое ожидает нас крещение  
И что врагу не ждть от нас прощенья,  
Не ждть, не ждть!  
Пусть даже возвращенья  
Не будет нам оттуда никогда.

А многим так и выпало погодкам,  
Что оказался путь у них коротким.  
Судьба их в их мечтательной поре  
Жестоко с ними обошлась и круто –  
Лишила самой радостной минуты,  
Упрятав их от главного салюта  
Под кратенькою черточкой – тире.

Их нет. Они... Да что же это, что же? –  
Меня мои ровесники... моложе,  
Я старше их на много-много лет.  
И уж давно не с ними, не с друзьями,  
А только с их общаюсь именами  
Да душу раздирающими снами,  
Конца которым не было и нет...



**ПОКИДЫШЕВ**  
**Николай Александрович**



**Сын участника войны**

Родился 10 октября 1949 года в городе Каменске-Уральском Свердловской области. В 1967-1972 годах учился в Уральском электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта. Проходил срочную службу в Управлении военного коменданта ж.д. участка и станции Курган. С 1975 по 1987 года занимался вопросами оперативного обеспечения безопасности на объектах железнодорожного, воздушного транспорта и объектах связи области. Майор запаса. Работал заместителем председателя Курганского отделения Советского фонда культуры (СФК), в регистрационной палате области начальником отдела безопасности. С июня 2005 года - помощник председателя Избирательной комиссии Курганской области.

Изданы сборники «Отголоски» (2002) «С тобою навсегда» (2008), «Неразделимость» (2009). Руководитель городского литературного клуба «Сонет».

В Союз писателей России принят в 2008 году.

\* \* \*

Сегодня в ночь обрушится война  
На старый Брест, на Холмские ворота.  
На смертный бой поднимется страна  
И первой в бой опять пойдёт пехота.

Бессчётных пушек рявкнет хриплый бас,  
Взрочуют танки, взмоют самолеты.  
Рванутся корабли, меняя галс,  
Во все моря на жуткую охоту.

Эфир взорвется криком позывных  
И воздух раскалится от снарядов,  
И будет смерть подряд косить живых,  
И станет каждый миг страшнее ада.

Четыре года! – битвы тяжкий ад:  
Без продыха, жестокий и кровавый.  
Но до сих пор везде огни горят –  
Огни бессмертных подвигов и славы.

Но до сих пор пропавших свято ждут,  
Во здравие в церквях им ставят свечи.  
Об убиенных слёзы так же жгут  
Глаза и сердце – если плакать нечем.

Всё так же память на войну ведёт,  
И беспощадней добивают раны.  
И неё внутри невольно вдруг замрёт,  
Когда июнь и день – с тем утром ранним.

Сегодня в ночь обрушится война.  
Ну, а пока и лист не колыхнется.  
Последний час над миром тишина  
И живы все, кто с битвы не вернется!

## 23 ФЕВРАЛЯ У ДЕРЕВНИ ЧЕРНУШКИ

*Памяти А.М. Матросова,  
всем воинам,  
повторившим его подвиг,  
всем защитникам Родины*

В окопе – снег с землёю вперемешку,  
А пахнет вдруг подснежником, весной.  
Сто лет прожить неплохо бы, конечно,  
Ну, а пока – покончить бы с войной.

Там, впереди, на склоне у высоты,  
Зашёлся лязгом в ДЗОТе пулемёт;  
И, кажется: из пуль весь воздух соткан,  
Но я уже шепчу себе: «Вперёд!»

Распался миг на тысячи мгновений,  
Мне ясно виден пуль слепой полёт,  
И надо встать, да силы нет в коленях,  
Но я уже сказал себе: «Вперёд!»

Ещё лежу, но в теле есть команда –  
Стремительнее тока в проводах.  
Я жить хочу! Но ведь кому-то надо  
Перешагнуть через себя и страх!

С трудом от снега тело отрывая,  
Я, вижу, как в кино, со стороны:  
Уже ползу, свой автомат сжимая,  
Среди какой-то странной тишины.

Но вот и ДЗОТ. И поздно на попятный:  
Так близко вспышки выстрелов видны;  
Что не дожил – пусть доживут ребята.  
И дай им Бог вернуться всем с войны!

Рывком встаю, о пули ударяясь,  
Лечу так долго на проклятый ДЗОТ,  
Весною пахнет мать-земля сырая,  
Да не ко мне весна теперь придёт.

Удар о землю. Выдыхая тяжело,  
Я обнял ДЗОТ как друга – лучший друг. ...  
Из-за спины рвануло криком: «Сашка!..»,  
А он лежал, не разжимая рук.

...Опять февраль, такой же озорной,  
Поземку гонит, с ветрами танцую,  
Там, где бойцы вставали в смертный бой  
За отчий дом и за страну родную.

У старых обелисков и крестов  
Подчас уже и некому заплакать,  
Но и сегодня сколько новых вдов! –  
Жен тех, кто под огнем вставал в атаку

Не для бравяды, не для орденов,  
А просто по-другому не умели.  
Над русскими просторами снегов  
Поют о них февральские метели...

## ГОРОДУ ЛЕНИНГРАДУ

1

Война – от этой темы не уйду.  
Пока живу – болею ей и брежу.  
И с памятью по Ладожскому льду  
«Дорогой жизни» вспять бреду в надежде,

Что где-то здесь я встречу вдруг отца  
Такого непривычно молодого,  
И в том бою с ним буду до конца,  
И раны сам перебинтую снова,

В полуторке сам отвезу в санбат,  
С ним поплыву по Ладоге туманной...  
А может мимо пролетит снаряд?  
Не будет ран, машины санитарной?..

Да, чудеса бывают на войне.  
Куда там сказкам разным вместе взятым.  
Ах, если б наяву, а не во сне,  
Вернулись все, кто не пришёл обратно!..

2

...Год сорок первый. Ленинград.  
Чуть стих налёт артиллерийский,  
Как тут же с воздуха бомбят  
По расписанию, садистски.

На краснозвёздный самолёт –  
По восемь – с чёрными крестами.  
За Мгу и Тихвин бой идёт.  
На сотни вёрст – огонь и пламя.

Блокадное кольцо фронтов  
Петлёю захлестнуло город.  
Снаружи – полчища врагов,  
Враг изнутри – смертельный голод.

В тот самый страшный первый год  
Никто судьбы своей не зная,  
Хотел увидеть, как придёт  
Заветный День и наше зная

Внесут в поверженный Берлин.  
И будет солнечное утро.  
И на обломках ИХ руин  
Напишет кто-то краской крупно:

«За Ленинград!». И на стволах  
У пушек, танков в схватке боя  
Та надпись всех уже звала:  
Звала к Победе за собою!

З  
Вдруг память как взрывной волной,  
Швырнет безжалостно и слепо  
В окоп по-мартовски сырой,  
На ту войну, где даже не был.

Родную землю рвет снаряд  
И лес оглох от канонады.  
А за спиною – Ленинград,  
«Дорога жизни» и блокада.

Одна винтовка на бойца,  
Патронов – семь, и две гранаты.  
Но вновь встают на шквал свинца  
Полуголодные ребята.

Встают почти что пацаны:  
Ведь им ещё не всем по двадцать.  
Нет у войны другой цены –  
За жизнь лишь жизнь должна сражаться.

И ртом, распухшим от цинги,  
Кричит полуохрипший ротный:



«Вперёд! За Родину, сынки!»  
Встают – в огонь прицельно плотный.

.. С осколком в голове, отца  
Везла полторка к санбату –  
В крови, в бинтах на пол-лица,  
Всё рвался он в бреду обратно.

С осколком дожил до седин,  
А в День Победы, молча, плакал  
Солдат, оставшийся один  
Из всех поднявшихся в атаку.

.. Меня накрыло вдруг войной,  
Той, на которой даже не был:  
Окоп по-мартовски сырой,  
Прожектора кромсают небо,

Надсадно канонада бьёт.  
К Победе путь ещё так долог. ...  
Мне жить спокойно не даёт  
Застравший в памяти осколок.

*По рассказу моего попутчика  
в электропоезде «Каменск-Уральский-Курган»  
о боях под Ленинградом в июле 1942 года*

«.. С утра приказ был: наступать.  
А пушки – с вечера в болоте.  
Одним расчётам – не достать,  
За помощью к кому? К пехоте.

Лицом к гнилой воде склоняясь,  
Из топи тянем на сухое,  
И под колёса, молча, в грязь  
Сам лёг один, второй... Такое

Придумать даже – страшный грех:  
Живые люди – вместо гати.  
Я до сих пор их помню всех,  
По смерть мне той высоты хватит

И сходу: «По врагу – огонь!»,  
Едва успели окопаться,  
В ушах от взрыва жуткий звон –  
И больше я не смог подняться.

Казалось, будто голова  
Распалась сразу на две части,  
И кровь лилась по рукавам,  
Пока стянуть пытался каску...

Очнулся только в медсанбате.  
Те пушки в каждом сне тяну...  
Прости, сынок, вдруг сердце схватит...»

Тут мой попутчик замолчал,  
Лишь дёрнул у рубахи ворот.  
Вагон мотался, нас качал  
На стрелках – мы въезжали в город.

И безымянный мой сосед  
Ушёл с толпою пассажиров,  
Пока готовил я ответ:  
«Спасибо Вам, от всех, кто живы,

От всех, кого тогда спасли  
В своём бою под Ленинградом»,  
И имя не успел спросить,  
Пока в купе сидели рядом.

...Меня накрыло вдруг войной,  
Той, на которой даже не был:  
Я вижу свой окоп сырой,  
Прожектора кромсают небо,

Подсумок, фляга на ремне,  
Туман болот под Ленинградом...  
Всю жизнь взрываются во мне  
Не долетевшие снаряды...

## ЛАДОГА

С утра на Ладого туман  
Лёг белым пухом непроглядным.  
Опять уходит караван  
К Большой Земле из Ленинграда.

На белых флагах – Красный Крест,  
Но лучше пусть туман не тает:  
Ведь «мессер», взяв цель в перекрест,  
Здесь никого щадить не станет.

Носилок, раненых – битком  
На палубах. А в трюмах – дети,  
От голода – белей бинтов:  
За что им это лихолетье?

Все звуки остро ловит слух:  
Лишь волны бьются в стены трюма.  
Над палубой – тумана пух.  
На барже – раненая юность.

Так тихо – будто уже тыл,  
Как будто не вчера здесь выли  
Чужие бомбы с высоты,  
И взрывы солнца свет затмили.

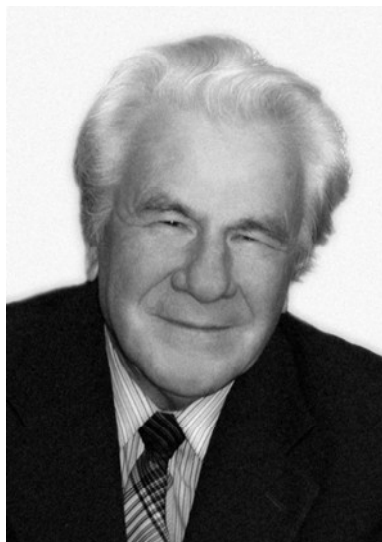
Спасенья не было нигде,  
И гарью пахло до удушья,  
И сиротливо на воде  
Качались детские игрушки.

...Доплыли. Сходу, спешно, в тыл  
Грузились в санитарный поезд.  
Но сколько тех, кто не доплыл,  
Остались, Ладога, с тобою?

Войны короткий эпизод,  
Где случай жизнь дарил вслепую.  
И был июнь – шёл второй год  
Сражений за страну родную.



**ПОТАНИН**  
**Виктор Федорович**



**Сын участника войны**

Родился 14 августа 1937 года в селе Утятском Притобольного района. Закончил Курганский педагогический институт и Литературный институт им. Горького. Многие годы работал литературным консультантом областной писательской организации.

Автор более 50 книг. Член приёмной комиссии при Союзе писателей России. Заслуженный работник культуры России, Почетный Гражданин города Кургана и Курганской области. Лауреат литературных премий им. Ленинского комсомола, имени И. Бунина, В. Шукшина, Д. Мамина-Сибиряка, губернатора Курганской области. Имеет правительственные награды.

Член Высшего Творческого Совета при Союзе писателей России. Делегат многих съездов Союза писателей СССР и России. В Союз писателей СССР принят в 1966 году.



## РАССКАЖИ, ПАМЯТЬ...

Давно уже собирался о них написать. Но сборы всегда затягивались, да и мучил вопрос – сумею ли? Ведь нужны особенные слова! А где они?.. Вот если бы сказать об этом стихами! Но стихами не суждено – не владею... Да и можно ли лучше, чем у Ахматовой? Вы помните: «А вы, мои друзья последнего призыва! Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, а крикнуть на весь мир все ваши имена!» Я не могу читать это без спазмы в горле. Но вы найдите человека, который может... Впрочем, самое сильное у этого стихотворения – это все же конец. Он, как набат! Как заклинание! Как разговор с собственным сердцем! «Да что там имена! Ведь все равно – вы с нами! Все на колени, все! Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами – живые с мертвыми: для славы мертвых нет». Как это пронзительно точно – и о мертвых, и о живых... Но я могу писать, имею право, только о живых. И о том, конечно, что видел, что пережил вместе с ними в ту холодную зиму сорок второго... И все-таки шли месяцы, годы, а я все не решался. Иногда даже садился за стол, брал в руки листочек и писал на нем несколько слов, предложений, но дальше дело не шло. Слова были какие-то хилые, без дыхания. И я себя ненавижу, не находил себе места. А потом и вовсе потерял веру: наверное, не суждено мне, не суждено. Но вот недавно... Впрочем, расскажу все по порядку.

I

Недавно, выступая в одной из курганских школ, я вдруг стал вспоминать свое детство, военные годы. А началось неожиданно: одна бойкая пятиклассница с узкими глазенками, как у лисенка, спросила меня в упор:

- А вы в войну у партизан были?
- Что ты, милая! – поразился я до испуга. – В войну мне было всего... всего восемь лет.
- Но вы же седой... – В классе все засмеялись, а девочка-лисенка обиделась:

– Надо же, не спросить...

И мне захотелось ее утешить. Но я не успел – отвлек мальчик с передней парты. Он выглядел независимо.

– А магнитофоны у вас в войну были?.. Расскажите, какая марка?

– Да что ты?! – я почти закричал на весь класс. И почувствовал, что бледнею. Стало жарко в груди. – У нас и бумаги-то настоящей не было. Да, да! И бумаги... Мы писали на старых газетах, обертках. И поголодать пришлось. И мерзлую картошку попробовать, и щи из крапивы... А чернила мы наводили из сажи. А карандаши экономили: каждый карандашик резали на три части. Потом делили между собой...

Но договорить я не сумел. В классе сделалось шумно. Я поднял голову и посмотрел вперед. Посмотрел – и сжался от боли: меня же почти не слушали! Каждый был занят собой: один заполнял дневничок, другой нетерпеливо покашливал, третий меланхолично смотрел в окно. И глаза были пустые, холодные. Их мало занимали мои слова – как будто я рассказываю им о далекой эпохе наполеоновских войн. Можно слушать, а можно и прочесть на двадцатой странице в учебнике... И во мне все поникло, я себя ненавидел. Я для них сейчас – скучный дяденька-резонер. Но почему? И тут на выручку мне бросилась та бойкая – лисенок.

– А у вас в деревне была музыкальная школа?

– В войну, что ли?

– Аха. – Она оглянулась беспомощно, ожидая поддержки. Но класс шумел, и тогда я стал отвечать одной ей, только ей...

– Такой школы, конечно, не было. А вот патефон у нас был. Привезли с собой ленинградцы. Эвакуированные...

– А что такое эвакуированные? – Опять этот лисенок. Она смотрела в упор и ждала ответа. И я что-то буркнул и стал прощаться. Это походило на бегство. Но я не хотел больше говорить в пустоту.

И пока шел до дома, болела и страдала душа. Ну почему же им безразлично? Ну почему, почему?.. И эти вопросы давили, как камень. И ничего меня не радовало, не утешало. А ведь дол-

жно бы, должно бы... Ведь через три дня наступал Новый год, и везде стояло голубое сиянье. Оно было всюду: и на земле, и на небе. Оно шло и от елки на нашей площади, и от витрин магазинов, и от улыбок. И от надежды, которая в эти дни запрятаны в каждом взгляде. Даже воробьи ожили, повеселели, ведь скоро будет тепло и прибавится день. Даже птицы! А что уж там люди... А мне все равно тяжело. Ну почему, почему же им все безразлично?... Почему я сбежал от них, почему?..

Эти вопросы не отпускали и ночью. И я уже корил себя, не прощал, что не рассказал в школе о ленинградцах. Но ведь опять бы не слушали! Не поверили!.. Но ведь ты ж не решился... А за окном у меня творилось что-то веселое, новогоднее... Что-то внезапное, как метель. Так и было – я не ошибся. Ветер уже свистел и постанывал, а в соседней комнате вдруг ожило пианино. Моя Катя играла Шопена. Пройдет год, и моя дочь закончит музыкальную школу. А потом пройдет еще год, другой, а может, и пять лет пройдет, и моя Катя поступит в консерваторию. Какое это счастье, какая надежда!.. И метель, и музыка уже жили вместе. Они слились в один медленный и чудесный звук, но успокоенье не приходило... Нет, не может наша надежда без памяти прошлого. Не может... Вот она сейчас рядом – моя дочь – на расстоянье дыхания... Вот она сидит, играет Шопена в теплой уютной квартире, а ведь она тоже могла бы быть среди них, среди нас, родись бы пораньше. «Да, могла бы, могла бы, – стучит мое сердце, волнуется. – Могла бы...» Сердце бьется глухо, толчками, потому что знает еще какую-то свою, самую последнюю правду. Она, видно, осталась там, далеко-далеко, в холодных военных метелях. В той разутой и раздетой деревне, которая приютила тогда ленинградских сироток. Они называли себя эвакуированными, но мы их всегда называли сиротами. Они обижались на это, но что их обиды. Если они уже испытали самое страшное – и блокаду, и немецкие пули. Если их имена стоят уже в классном журнале моей родной школы... «Да что там имена! Ведь все равно – вы с нами! Все на колени, все! Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами...»

II

Нет, сильнее уже не скажешь – багряный хлынул свет... Стал



повторять эти слова, но перехватило в груди. Я от боли зажмурился. И в этот миг вдруг увидел их. И почему-то в первых рядах поднимался Вовка Адалечкин. Почему он? Я не знаю. Может, потому, что был самый шумный, веселый. И главный выдумщик, заводила. А может быть, потому, что он нас слегка презирал. Я как сейчас вижу – Вовка усмехнется и вытянет губу: «Да что вы тут видели? Сено-солома...» И он был прав. Я, например, в то время не видел еще ни города, ни паровоза, даже и на машине-то в кабинке не ездил. А за Вовкой был Ленинград; Вовка уверял, что в одном ленинградском доме поместилась бы вся наша деревня Утятка. И мы ему верили, мы завидовали...

Вот Адалечкин бежит к классной доске, а ведь его не вызывали. Но что ему – он же ленинградец. Им все можно – они же сиротки... Это Вовка-то сирота? Совсем не похоже! Вот он стоит у доски и жестикулирует, закатывает глаза. Потом встает на руки и так ходит по классу. Мы хохочем, а он – счастливый. А наша учительница стоит в сторонке и вытирает слезы. Ей и жалко его, и обидно: ну разве можно так, на руках? А потом Вовка хватается мел и начинает рисовать на доске. Это карикатуры на всех нас. И как похоже! А ведь он знает класс только неделю. Но сколько же дней в неделе?

Да, ровно семь дней назад мы их встречали. Стоял мороз, а сверху с неба падали мертвые, застывшие птицы. Теперь уж таких морозов не будет, и такого горя тоже не будет... А потом на дороге показался автобус. Он шел медленно, почти крадучись, еле-еле пробивая сугробы. И вот открылась дверка, и в проеме двери показалась наша директор школы Варвара Степановна Иванова. Вид у ней был уставший, замученный. От Кургана до нашей Утятки они ехали почти восемь часов. Это сорок-то километров! Но дороги не было, ехали по снежной целине...

А потом показались и ребяташки. Некоторых выносили прямо на руках – пугливые несчастные глаза, серые щеки. Много было больных, покалеченных. Блокада сделала свое дело. Да и ехали долго: от Ленинграда до Кургана добирались около месяца. Вагоны были продувные, холодные... И у нас отойдут ли они, согреются?

И вот уже отошли душой, согрелись. А Вовка Адалечкин уже смешит целый класс. Учительница смотрит на него умоляюще,

а потом обращается к нам:

– Ребята, мы должны любить наших новеньких, не обижать... Мы пришли им на выручку в трудный час...

И в это время гремит звонок. Вовка Адалечкин машет руками, а потом выскакивает в коридор. Мы следим за ним – все-таки новенький. В коридоре он встречается со своей подружкой Лидочкой Костиковой, мы ее видим уже неделю, но привыкнуть не можем... Она такая печальная, жалкая. Позвоночник у ней изуродован – то ли пуля, то ли контузия. А в глазах все время прыгают искорки – кажется, она зла на весь мир. Вот они стоят рядом и шепчутся. Два маленьких заговорщика. Вовка дает ей какое-то задание – Лидочка кивает головой, соглашается. Скажу сразу об этом задании: Вовка просит насыпать в питьевой бачок бертолетовой соли. Мы об этом, конечно, не знали еще, не догадывались. Поэтому и пили без всякого опасения. Раз стоит вода – почему не пить... И вот прошел час, может, меньше – и начался ад. В животе – прямо огонь, и он готов спалить заживо. И на следующий день пришла та же казнь: желудок лезет в горло, и нет дыхания. Один Адалечкин не болеет. Это его и выдало... Как они были изобретательны! И как несчастны!

А через несколько дней мы узнали, что все родные у Лиды и Вовки погибли. Все, все! Невозможно представить. Вот почему, наверное, и мстили нам наши новенькие... За то, что мы не слышали свиста бомб, за то, что жили мы так далеко-далеко от войны... И за то, что тогда совсем, совсем не про нас писали стихи... И какие!.. «Все на колени, все! Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами...» Да, так и было! Они шли и шли вперед. И мы с ними... И каждый чувствовал плечо другого. И одно сердце переливалось в другое, а потом все дальше и дальше... И так до тех пор, пока недоверие не сменилось любовью. Спасибо им за эту любовь!

### III

Спасибо тебе, Боря Смирнов, за то, что мы узнали тебя, а через тебя – Ленинград. Ведь города – это люди, которые живут там. Если люди живут хорошие, добрые, значит, хорошие и города...

Но мы его звали почему-то не Боря, а Боренька. Да и могли ли иначе? Ведь он так притягательно улыбался. Ведь глаза его всегда излучали какой-то свет, нет, не свет даже – сиянье. Я не видел никогда больше такого взгляда. А иногда он задумывался и как бы начинал вспоминать. Но о чем он? И как старело, как менялось лицо. Не то ребенок, не то старичок. И если бы не глаза...

На кого же он походил всегда? Да, тяжелый вопрос. Но еще тяжелее сейчас признаться, потому что мне он всегда напоминал деревянную чурочку: голова сплилась с туловищем, а вот ног не видать. Так и было: наш Боренька Смирнов жил без ног. Когда везли в эшелоне, он их отморозил. И пока добирались до Кургана, началось воспаление, гангрена. И если бы ноги не ампутировали, Боря бы умер. Врачи в Кургане пообещали ему, утешили: «У тебя, мальчик, еще вырастут ножки. Вот пройдет два года, и они снова появятся. И ты побежишь на своих...» Это была ложь во спасение, но я за это не осуждаю. К тому же Боря врачам поверил.

А пока в школьной мастерской ему сделали тележку на железных колесиках. Я помню, как Боренька привыкал к ней. Но как привыкнуть! Вначале его привязывали к тележке тугим полотенцем и просили отталкиваться деревянными рычажками. Но он терял равновесие и начинал сразу хныкать, поскуливать, точно ребенок. А он и так был ребенок: Бореньке Смирнову исполнилось только четыре года.

Только четыре, а уже – лицо старичка...

И все-таки Боренькина тележка поехала. Мы привязали к ней за самый мысик веревочку – и покатила телега, поехала. У Бореньки сияют глаза и смеются. И мы тоже смеемся.

Но больше всего мы любили его таскать на руках. Прижмем его к груди и бежим в лес или купаться – к Тоболу. Боренька лежит беспокойно и громко дышит. Я и сейчас помню, как на груди у меня бьется что-то горячее, жаркое... И чуть слышно поскрипывают зубки от нетерпения. И сияют глаза. Как он любил лес и поле... Но еще больше он любил спрашивать, пытаться встречного человека: «Тетенька, посмотри внизу – у меня ножки не показались?» И если встречная оказывалась умной, догадливой, то всегда отвечала: «Показались, Боренька, показались...»

И он сразу смеялся, что-то бормотал про себя и снова смеялся... Святая, добрая душа. Где ты теперь? И жива ли? Но кто-то мне отвечает: едва ли жива... А я не верю. Нет, не верю! Как не верю и в тот самый страшный день. Самый страшный за всю войну. Но я расскажу об этом позднее, позднее. К тому же в нашем классе сегодня новенькая. Она приехала к нам вместе с мамой – ленинградской учительницей. Мария Никаноровна будет преподавать в старших классах химию и биологию. А к нам, к самым младшим, она привела свою дочь. Сказать точнее – Ната Долинская сама к нам пришла. Открыла классную дверь – и вот уже стоит на пороге. И мы не можем отвести глаз от новенькой. И такая сделалась тишина, как перед сильным дождем. Долго ждали и дождались. Но разве ждали мы?.. Разве ждешь ведро, когда ненастье с утра до вечера. И вот еще день прошел, а потом еще и ещё. Но ничего не меняется: с самого утра опять дождь, опять хмарь. И уж кажется, так будет всегда, даже навечно. Но вот что-то промелькнуло там, наверху, что-то треснуло, – и в эту трещину хлынул луч. Да такой сильный, пронзительный, даже больно глазам. Так и мы: все смотрели на Нату, не верили. Неужели она к нам? Неужели?.. Новенькая что-то поняла и опустила голову. Но все равно... Все равно уже мы все влюбились в нее и потеряли покой.

И вот прошел месяц, потом еще месяц, и только теперь мы поверили, что Ната учится с нами, что можно даже заговорить с ней, можно даже потрогать ее косички. Да, потрогать, чтобы понять, что это не сон. Ведь такие лица, такие глаза, такие волосы бывают только во сне. Их нельзя описать, их даже нельзя представить. Одним словом – чудо и красота...

И вот однажды закончилось чудо: в конце войны Долинские уехали в Ленинград, Я не помню тот день, потому что все взяло горе. И никого не хотелось видеть, даже мать с бабушкой не хотелось... И чтоб ни с кем не встречаться, я спрятался в пригон у коровы. Да что уж там спрятался... Я просто упал на сухое сено и разрыдался. Я стонал и вытирал слезы, но они не кончались. А потом сделалось еще хуже, больнее. Да что говорить – мне уж жить не хотелось, я себя ненавидел. И чтоб прекратить эту боль, стал биться затылком о жерди. Не помогло, только напугалась корова. Она начала мычать, поднимать рога, а по-

том наклонилась ко мне и стала облизывать щеки. Язык у ней был твердый, шершавый... И вдруг дошло до меня: если Ната уехала, значит, и все они, ленинградцы, скоро уедут. Уедут, бросят нашу Утятку, уедут! И опять стало горько, невыносимо. И опять из глаз – слезы. Хорошо, хоть никто не видел. Совсем распустил себя, как девчонка... И опять надо мной задышала корова, Манька, наверно, жалела меня, ну, конечно, жалела. И я уже тоже жалел себя. Жалел, приговаривал: «Никому ты не нужен, совсем никому, такой полуголодный, обездоленный... Вот они уедут скоро, а ты останешься... А ты навсегда здесь останешься – в этой холодной, голодной деревне, в этих сугробах... И сиротство твое тоже останется». Судьба наградила нас уже двумя похоронками: от моего отца и от дяди Жени, родного брата матери. Он погиб там, откуда они приехали. Под Ленинградом нашла его пуля... И теперь нам некого ждать, совсем некого... А потом вдруг пришло забытье. Очнулся я от голоса бабушки. Она сидела рядом со мной и поругивала корову: «Ну че ты такая лямзя. Неуж не видишь, как парень-то наш убивается. Да че же такое с ним, почему?.. Да ты бы хоть, внучок, мне намекнул...», – это уже ко мне обращается, это ко мне идет ее голосок. И этот медленный голосок, как награда.

Но самый лучший голос из всех был все же у Вали Руденко. Как сейчас вижу: вечер, горит лампа-семилинейка. Мы сидим в классе, притихли. Из интерната принесли материал – голубые, зеленые лоскуточки. Вот из них мы нарезаем носовые платки, шьем кисеты. Тут же сооружаем посылку. Она получилась на славу. Местные, деревенские, принесли несколько пар носков, рукавичек. В эти рукавички вкладывали свои письма-послания – «дорогому бойцу на память...» Здесь же ребята-художники выпускали бюллетень «Все для фронта». В нем мы печатали разные новости: писали и об успеваемости за неделю, и о сдаче металллолома, и о делах тимуровских, и о нашей помощи родному колхозу... Но особенно много писали о сдаче металллолома. По этим делам Утятская школа занимала одно из первых мест по Сибири. О своих успехах мы рапортовали товарищу Сталину. Он откликнулся и послал ответную телеграмму-благодарность на имя Бориса Волкова, Анны Сомусевой и директора школы Варвары Степановны Ивановой. В телеграмме стояли дорогие слова: «Ваш металлло-

лом пойдет на строительство танков...»

В посылки мы часто вкладывали и сухую морковку, и семечки – пощелкай, мол, далекий боец, наш утятский подсолнух. И вот уж в лампе керосин выгорел, и фитилек стал дымить, колебаться, а мы все не расходимся. И вот в наступившей тишине начинается песня. Она громкая и внезапная. Она берет прямо за душу, и ты уже не можешь вырваться из этого плена, да и зачем... Ведь тебе так хорошо, так чудесно, только немного печально. У Вали Руденко был удивительный голос, только все же печальный. Ну и пусть, пусть. Я уж давно заметил, что самый хороший, замечательный голос, о чем бы он ни пел, о чем бы ни рассказывал в своей песне, всегда оставляет после себя печаль и какую-то тайну. И всегда, почти всегда разгадать это совсем невозможно. Наверное, не знает ее и сам певец – просто тайна эта в самой крови его, в его дыхании, в самой жизни его – в судьбе... Как-то сразу после войны в наш Курган приезжал Сергей Лемешев. Я был на этом концерте, слушал это пение, но лучше бы не был, лучше бы не слушал. Помню: после этого концерта в моем городе вдруг все изменилось. Я шел тогда домой и не узнавал своих улиц и переулков. Все стало каким-то маленьким, низеньким, каким-то даже горестным, провинциальным. И своя личная жизнь тоже почему-то сжалась и потускнела. И сразу же поселились в душе вопросы: «Ну почему ты сам такой маленький, бесталанный? Да и зачем ты родился на белый свет? Для чего?» И было так горько, хоть накладывая на себя руки. Но все равно, когда прошел этот внезапный порыв, захотелось сделаться другим, совсем другим человеком... И сделать что-то хорошее людям.

Так же душевно, так же пронзительно пела Валя Руденко. В ее голосе тоже была печаль. Наверно, Валя тосковала о доме: о Ленинграде, о своих близких, которых разметала блокада, тосковала о всей своей жизни, которая начиналась в таком горе, в мучениях... И все же печаль длилась недолго. Сквозь нее пробивалась надежда – особенно тогда, когда Валя стала петь народные полтавские песни. И ее голос в это время уже не томился, не плакал, а наоборот, звенел, поднимался все выше и выше. Нам казалось, что звенит колокольчик... Он и сейчас все еще звенит во мне долгим серебряным звоном. И

на этом звоне – на этом колокольчике – можно бы и поставить точку в нашем рассказе, но я все же продолжу. Да и виноват Новый год, виновата музыка – те самые магнитофоны звучали справа и слева, и надо мной, в верхних квартирах. А совсем близко, почти под самыми окнами, поднималось к небу огромное дерево – это горела в огнях городская елка. Я засмотрелся на нее, на это голубое, зеленое, на это невыразимое пламя, а сам уже... все вспоминал, вспоминал ту далекую елку сорок третьего года. И ту холодную зиму, и те снега, которые заматали с головой деревенские крыши. И чтоб вырваться из дома, надо было сначала откопать дверь, потом сделать в снегу проходы, а потом уж только постучать в ставень: «Эй, живые кто, выходите!»

Но не все уже были живые. На моих глазах привезли в интернат двух девочек-близнецов. Они местные, из нашей деревни. Конечно же, Утятский интернат создали в первую очередь для приезжих, но в крайних случаях здесь принимали и деревенских. А близнецы – крайний случай. Девочки были дочери колхозницы Феклы Поповой. Она умерла недавно от истощения. А девочки тоже – прямо скелетики. Но дыханье еще есть, и глазенки моргают. Может, и повезет им – поправятся...

На моих глазах провезли на санках старушку – маму колхозницы Екатерины Поповой. Гроба, нет, тело прикрыто рогожкой. И одежды на теле нет, прикрыта рогожкой.

А то, что без гроба, – это привычно. В деревне давно нет ни досок, ни дров, а в печки суют только мерзлый кизяк. А от него – один дым и чад... «Ничего, перетерпим, – говорят старики. – На фронте еще хуже, потяжелее...»

А с фронта идут одни похоронки. Только за последние месяцы сколько их: погиб Александр Шевалдышев – у жены Антонины пятеро ребятишек; погиб Дмитрий Луканин – в семье тоже пятеро малышей; погиб Кузьма Трубин, а его дети – Николай, Анна и Виктор, – говорят, уже опухли с голоду, и в доме холодина. Выживут ли? Не буду гадать... Сгорел в танке Иван Репин, сгорел в самолете Яков Меншиков, умер от ран Новгородов Василий... Принесли похоронную и на школьного математика Анатолия Петровича Макарова. Оставил сиротами четырех детей. Зато в семье еще осталось ружье. Жена учителя, Анастасия Михайлов-

на, стреляет из ружья ворон и сорок. Это для семьи – основное питание. Сидишь, бывало, дома и вдруг под самыми окнами – хлоп! Ружье не ружье, даже страшно. А бабушка моя только вздохнет и головой покачает: «Еще одной вороны на свете нет. А тоже ведь была живая душа. Ничего, Анастасия Михайловна, вот январь проживем, а там уж полегче. И морозы, может, убавятся...». Это бабушка обращалась к хозяйке ружья, но та ее, конечно, не слышала.

А январь начинался с елки. И тот далекий год, сорок третий, тоже начинался с нарядной елки, на которую пригласили нас ленинградцы. Какие они счастливые, эти приезжие! У них, в интернате, и елка лучше, чем в школе, у них и патефон играет, у них дают даже подарки...

И вот началось! Я пришел сюда вместе с бабушкой, а все равно – страшновато. Да и пугает сильная тишина. Людей много, но все молчат. Но вот патефон играет песню о Ленинграде, и нас приглашают в большую комнату. Мы входим туда и замираем: елка горит от игрушек, от блесток, на ней – различные фигурки из дерева, разноцветные шишки, шары. Говорят, что она была еще лучше, красивее: приезжие наделали много бумажных цепей и покрасили их в золотые цвета, но приехал инспектор из района и велел все цепи убрать. Он сказал, что цепи – символ закабаления. Но и без цепей зеленая красавица хороша! И все равно кругом тихо, мы почему-то даже боимся дышать. Но зато наши глаза! Они все видят, все замечают и следят за движением хозяев. Они стоят пока почему-то отдельно. Вот они – целый ряд: впереди всех директор интерната Назарова Антонина Владимировна, рядом с ней воспитатели Фаина Ароновна Корман и ее сестра Раиса Ароновна, а возле них, переминаясь на рваных ногах, стоит недавний фронтовик Батиков Илья Васильевич... А по другую сторону комнаты сошлись вместе директор школы, наша любимая учительница немецкого языка Анна Васильевна Котова и моя мать – завуч школы, Потанина Анна Тимофеевна... А посередине комнаты, почти в метре от елки, стоят те, ради которых и намечается торжество. Здесь и Юра Юдин, и Лотта Корман, самая знаменитая отличница в нашей школе, а рядом с ними улыбаются два брата Николаевых со своей сестренкой Валенькой. Ей всего лет шесть или семь, а братья по-



старше. Рядом с Николаевыми стоит вся пунцовая Валя Руденко, наша артистка. Ей много петь сегодня, и она очень волнуется. Чуть поодаль – Люся Епифанова, тоненькая, худенькая, похожая на стебелек травы. А дальше располагаются кучкой все деревенские – и ребятишки, и взрослые. У многих на руках даже грудные дети, совсем малышня. Их берут в надежде на дополнительный подарок. Так потом и случается – самым маленьким из гостей дается больше всего... Как это правильно и хорошо. Так будет и сегодня – обязательно будет. И вот все мы ждем и томимся: до открытия елки еще полчаса. Как это долго, невыносимо. И чтоб скоротать время, я наблюдаю за матерью. Ее глаза блестят и все замечают. Я не знал тогда, что она ведет дневничок. Да если б я знал, то не понял бы, зачем тратят время на эти странички. Конечно, не понял бы. А вот недавно, перебирая старые бумаги и фотографии, я нашел ту тетрадку. Открыл – и уже не мог оторваться. Простые слова, а сжимается горло. Неужели это было когда-то, неужели пережили такое! И неужели столько горя, страданий... Но мать писала и о хорошем, и о счастливом, и о надеждах. Особенно, конечно, о надеждах, ведь хотелось дожить до победы. Я читал и думал: «Откуда они брали силы, откуда?» Но давайте вместе со мной еще раз заглянем в тот дневничок, ведь до открытия елки еще полчаса, и у нас много времени, очень много...

## IV

Мать писала и о своей семье, и о школе, много на этих страницах и о приезжих. Да, да, о тех, кто стоял у нашей елки в самом первом ряду... Мать писала: «У нас в школе праздник – приехали ленинградцы. Вместе с детьми прибыли и воспитатели — учителя из города Ленинграда. Мы смотрели на них, как на чудо, как на какое-то откровение, ведь они ходили по улицам, которые видели живого Пушкина, Блока. Они дышали воздухом Эрмитажа... Какие они счастливые! И какие несчастные, ведь им придется жить в наших снегах и метелях. Как-то им поживется, да и отойдут ли от тяжелой дороги... Но главное, конечно, не в этом, а в нашем волнении. Привыкнем ли мы к ним, сработаемся ли?.. Но мои сомнения, кажется, напрасны. Вчера в школу заходила

Антонина Владимировна Назарова – директор интерната. Она просила за своего сына Толю. Его надо устроить во второй класс.

В школе была большая переменка, и все окружили гостью – и учителя, и ребяташки. Антонина Владимировна для каждого находила хорошее слово. Это выглядело от души, сердечно и просто. Она и внешне понравилась нам, заорожила. Особенно запомнились волосы: они у нее под цвет спелой соломы и коротко подстрижены, чтоб не мешали. И глаза ее тоже всех поразили: они большие, открытые, с каким-то особенным блеском. Кто-то сказал из нас: как у артистки... И я тоже так считаю. А вот голос у Назаровой грубоватый, с мужской хрипотцой и твердыми нотками. И во всей фигуре тоже слышится какая-то не женская сила. Да и одежда на нашей гостье особенная: дубленый полушубок, на голове шапка-ушанка, а стеганые брюки заправлены в серые плотные валенки. Ни один мороз не возьмет. Так и надо по нашей погоде. Мы слышали, что до войны она была депутатом Ленинградского городского Совета. Антонина Владимировна этот слух подтвердила.

Вместе с Назаровой приехала Фаина Ароновна Корман. На вид ей уже лет тридцать, но можно дать и побольше. Причина, конечно, война. Волосы, когда-то очень темные и волнистые, теперь совсем поседели. И глаза смотрят внимательно, исподлобья – и в них застыло что-то печальное, горькое. Глаза видят, как говорится, насквозь. Но бывает, что в глазах у нее – радостно и светло. В это время глаза смотрят на дочку. Лотта у нее – красавица, умница. С первых дней она стала гордостью школы.

Фаина Ароновна оказалась чудесным воспитателем. Каждый день она бывает в школе. Часто присутствует на уроках в классах, где учатся ленинградские дети. С большим тактом потом разбирает уроки. Это, конечно, большая помощь местным учителям. Да что говорить! С интернатом у школы – прекрасная связь. Мы живем, как одна семья. Как братья и сестры: один за всех, и все за одного...

Часто бывает в школе и завуч интерната Мария Никаноровна Долинская. Ах, какой это человек! Такие люди бывают, наверное, только в Ленинграде. В наших краях я таких еще не видала. Ничем природа ее не обидела, наградила с избытком. И душа, и лицо, и голос!.. Все бы смотрел на нее, любовался. Вот она, стоит прямо в глазах: высокая, слегка полноватая, с красиво под-

стриженными каштановыми волосами, а кожа на лице, как говорят, кровь с молоком! И всегда Мария Никаноровна веселая и смеющаяся: горе – не горе, мол, и беда – не беда. От нее постоянно шел какой-то пронзительный свет доброты, сострадания. Даже не передать мне — надо видеть ее лицо... И голос мягкий, податливый. Говорит она быстро, слегка запинаясь, и в это время сияют глаза, притягивают. Такой голос, такие глаза бывают только у добрых людей. Так и есть! Всех любит Мария Никаноровна и всех жалеет, и всем хочет помочь. Такая же и дочка у нее – наша ненаглядная Наточка. Ее у нас все знают и любят.

А дел у Марии Никаноровны – целые горы. Она и в школе у нас, она и в интернате. И любая работа у ней ладится и со всеми живет в согласии. А для ребятшек – просто как мать. Она знает абсолютно все о каждом своем воспитаннике: черты характера, склонности, увлечения. Много доброго она сделала и для местных детей. К примеру, были сверху строгие указания: все списанные интернатские вещи рубить или даже сжигать. Но завуч пошла на нарушения: стала списанную одежду раздавать утятским ребятшкам. А те и рады, ведь ходят в школу в ремье...

Вот, кажется, о всех воспитателях я рассказала... Но нет, нет, все-таки не о всех. Я совсем забыла Раису Ароновну Корман. Их ведь двое у нас сестер: старшая – Фаина Ароновна, а младшая – Раиса. Так вот младшая – такая мастерица, такой организатор! Она и песни разучивает с ребятшками, она и книги читает вслух. Она и художница, рукодельница. Недавно елку стали наряжать, так просто любо смотреть на Раису Ароновну. Она и куклы мастерит и какие-то цепочки, кораблики... А елку привез нам из бору наш школьный конюх Карпей Васильевич. И вот уж наша елочка одета и разукрашена и ждет, поджидает гостей...»

И теперь давайте на этом прервемся. Закроем на время нашу тетрадку. Да и прошли уже те полчаса, и скоро-скоро начнется праздник.

## V

И вот уж начался. Варвара Степановна объявляет елку открытой. Мы хлопаем в ладоши, обнимаем друг друга. Какая радость! Какая елка! А потом объявляют концерт.

И опять поют песню о Ленинграде, читают стихи. Меня тоже просят выйти поближе к елке, – и я читаю стихи Пушкина о зиме. Читаю громко, до боли в горле, но мне кажется, что так и надо читать стихи. А после меня уж поет Валя Руденко. Это чудо! Если б вы слышали, как они пела... Звенит колокольчик, звенит чистое серебро и навеивает всем сны. У многих в руках платочки, и они осторожно вытирают глаза. А Валя все поет и поет. Где же она сейчас? Где звенит это серебро-колокольчик?.. Многое бы я дал, чтобы знать.

Прошел еще час, и закончился новогодний концерт. Сколько же он длился?! Показалось, всего один миг... Все дорогое, хорошее продолжается всегда только миг... А время ведь уже позднее – надо домой. Школьный конюх Карпей Васильевич запрягает нашу Серуху и начинает всех развозить. Это дело серьезное, нужное. У многих из гостей на ногах нет нормальной обуви, а на дворе мороз.

И вот доходит очередь до меня. Мы залазим с бабушкой в коробушку, Карпей Васильевич щелкает кнутиком – и вперед. Скрипят полозья, сверкают снега. Я смотрю на луну, и мне кажется, что там ходят какие-то люди, но мне не страшно. Наоборот, мне весело, мне хорошо, да и угостили нас ленинградцы на славу. Даже булочки были из настоящей муки. Да и концерт понравился, и самому пришлось выступить, и мне все хлопали... Как хорошо! Сверкают снега. А в горле у меня – спазма от счастья, да и бабушка рядом. Она укрывает мне ноги шалью, а сама что-то шепчет. Может, молитвы за спасение тех, кто сейчас в ленинградских снегах. «Ты б, Женя, горло-то свое получше закутывал, а то морозец хватается...» А я слушаю бабушку и улыбаюсь. Ну какой же я Женя? Так зовут ее сына, на которого недавно пришла похоронка. И вот уже путает нас, а поправить ее не решаюсь... Но мне все равно хорошо. Да и ночь плывет тихая, голубая, совсем новогодняя ночь...

И вот на этой ночи можно бы сейчас и закончить, но мне что-то еще мешает. Я подхожу совсем близко к окну и поднимаю высоко шторы. Горит наша елка – пылает до неба. Голубой и зеленый свет. И еще красный, желтый, сиреневый. Счастливый огонь – новогодний огонь... А какой же свет был там, в Ленинграде. Багряный? Да, да, багряный, как кровь... Потому и написал поэт:

«Все на колени, все!? Багряный хлынул свет! И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами...»

## VI

И в этом ряду я вижу лицо Юры Юдина. Вот оно рядом – можно даже дотронуться. Красивое, ясноглазое, как у капитана Гастелло. Он и душой своей походил на чудесного летчика и так же ненавидел фашистов...

И вот я начал рассказ о Юре, а сам боюсь: сумею ли, хватит ли нервов? Ведь я сказал уже впереди, что у меня был самый страшный день в те далекие годы. Так вот, признаюсь сейчас, этот день связан с Юрой.

Как мы, деревенские, любили его! И как гордились! Нам казалось, что он самый смелый, самый бесстрашный. Ему было лет двенадцать-тринадцать, но мы знали, что он в Ленинграде уже дежурил на крышах и сбрасывал зажигалки. А это ведь те же бомбы...

Он приехал к нам вместе с мамой, и та устроилась в интернате. Работа тяжелая – с утра до ночи на кухне. Она и за повара, и за техничку, а по ночам ухаживала за больными. Вот и сдало сердце, не выдержало... Да и как ему выдержать, когда за плечами – блокада. И вот однажды Юра проснулся, а мама не дышит. Он подошел поближе к кровати – не слышно дыхания. Он схватил ее за руку – ладонь была ледяная. И тогда, потрясенный, он закричал и кинулся прямо к двери. Они жили на первом этаже интерната, и Юра выскочил сразу в ограду. Он выбежал раздетый, разутый, в одних тонких носочках. Он не медлил, потому что принял решение. Но что было потом, я не знаю. Одно только помню, как он страшно кричал, как разбудил всю деревню. Его крики услышали в каждой избе, да и как не услышать! Часто говорят: у меня кровь, мол, застыла в жилах. Так и было тогда, так и случилось: у меня тоже кровь встала в горле, и пришел ужас. Такого страха я никогда не знал еще, не испытывал. И закричать бы тоже, но не могу. И этот страх приподнял меня с места и кинул на улицу. А там уже – вся деревня... Как будто пожар или кого-то убили. Но все бежали к Тоболу – на берегу что-то случилось. И мы тогда побежали, но было уже

поздно... Навстречу нам шел Игорь Плотников и нес на руках нашего Юру. Игорь нес его осторожно, как будто брел по воде, как будто у него заболели ноги. Голова у Юры моталась, все время сползала набок, но сам он был живой, живой... И по толпе прошел вздох облегчения. А потом женщины закричали: «Быстрее, Игорь, быстрее! Ты же его заморозишь!..» И тот сразу прибавил шаг, а потом побежал бегом – откуда только у Игоря силы. Так на руках и занес Юру на второй этаж. И в интернате сразу зажглись огни и забегали люди. И только через час на этаже все затихло, но мы не расходились. Помню, было холодно, а в небе сиял блеклый, еле заметный месяц. Но скоро его скрыли тучи и посыпал дождь. Это было как облегчение, как надежда, И тогда все пошли домой. И по пути мои соседки разговорились. От них узнал я, что Игорь догнал своего дружка уже на самой реке. Еще б миг – и тот бы, мол, бросился с берега, утопился. Но, видно, повезло парнишке. Видно, есть еще счастье. Счастье? Какое оно? Да и есть ли оно на свете?.. Ведь через два дня мы хоронили Юрину маму. Маленький белый гробик пах смолкой и свежей стружкой. Так же пахли сосновые ветки. Мы их бросали себе под ноги. Шли за телегой и бросали. Лошадь шагала тихо и все время вязла в глубокой колее, но до кладбища было близко. Вот и кладбище, вот и холмик земли, вот и свежая ямка. Юра в последний раз посмотрел на мать и упал на гроб. Он не кричал, он не плакал – наверное, не было уже слез...

А через несколько месяцев мы их провожали. Еще шла война, еще в моей деревне получали похоронки, а они, помню, смеялись, плакали и кричали. Но это были уже другие слезы и другие крики. И глаза у них сияли счастливым светом. Так, значит, есть оно, счастье! Значит, все-таки есть! Значит, оно в том, чтоб однажды после долгой-долгой разлуки вернуться домой. И хорошо, что он есть, что он есть – этот дом! И уж совсем хорошо, что этот дом зовут Ленинград.

\* \* \*

Вот на этом великом слове я сейчас и закончу. Как я любил всю жизнь это слово, как я люблю... И пусть проходят месяцы, годы, а это слово все так же сияет для меня, как та елка в том незабываемом сорок третьем... Ленинград, Ленинград... Ты и мужество, ты и сила, ты и цвет нашего знамени, ты и поэзия, ты и детство мое, Ленинград! А недавно у меня гостил ленинградский поэт Глеб Горбовский. Мы пили с ним чай из большого белого самовара и читали стихи. Верней, он читал, а я слушал. И вся моя жизнь, вся моя душа, вся моя душа, вся моя душа... А

**РОЖДЕСТВЕНСКАЯ**  
**Надежда Николаевна**



**Племянница**  
**участника войны**

Родилась 9 октября 1956 года в селе Житниково Каргапольского района. Закончила Курганский пединститут. Работала воспитателем детского сада, в редакциях областных газет.

Автор книг стихов: «Надену бусы из дождя», «Ухожу из прошлого», «Память сердца», книг очерков «Курганский щит», «Дороги войны».

Лауреат премии «За оперативность, инициативу, журналистское мастерство» Союза журналистов России и Ассоциации журналистов, пишущих на правоохранительную тематику.

В Союз писателей России принята в 2005 году.



## В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Приходит день. И в нашу жизнь незримо  
Врываются, собою все затмив,  
Сержант Кравцов, служивший под Берлином,  
Боец Кравцов, погибший вместе с ним.

И гордо реют праздничные флаги,  
И обелисков замирает ряд.  
И вижу, как в коляске Дмитрий Брагин  
Опять спешит устало на парад.

Он весь в едином напряженье нервов.  
«Что это, братцы?», – шепчет губ излом.  
Рванулся он весной в атаку первым,  
Последним в отчий возвратился дом.

Жена ушла. Зачем такой калека?..  
Мать плакала. Сынок пришел. Большак.  
И говорила то, что человеком  
Без ног жить можно, без души никак.

И ветеран смахнул слезу ладонью.  
Цветы упали к мраморной плите.  
А мне сказал: «Прости, комвзвода вспомнил.  
Остался Мишка там, на высоте».



\* \* \*

Лишь в окно постучится весна,  
Как опять по-девчоночьи дерзко  
Тетя Даша рвет занавески,  
Как ворота, чтоб выйти из сна.

Неужели война? Тишина...  
За окном непроглядная темень.  
Только кто-то идет по ступеням  
В отчий год, как в военном году,  
Поправляя бушлат на ходу.

Только высохли бусы на нитке  
У вчерашней смешливой радистки,  
Стало радости в праздниках мало,  
И все чаще приходит усталость.  
Но уходит она на рассвете  
В 43-й, опять в 43-й.

\* \* \*

Подорожник лечит блиндажи,  
Зеленью затягивает раны.  
Бабушка проснулась майской ранью,  
Чтобы вновь воспоминаньем жить.

Никуда от памяти не деться.  
Ни покоя нет, ни тишины.  
Остается вечной болью в сердце  
Сын, не возвратившийся с войны.

\* \* \*

То было на пятницу.  
Я видела три часа, может, более...  
Коляски пустые от газовой камеры  
Катятся, катятся, катятся,  
Кричат раздирающе больно.  
А дети, сожженные ночью, молчат.  
На всех одеялах в горошек и клетку  
Лишь гари и пепла чернеющий чад  
Концлагерной меткой.  
Игрушка раздора белеет в канаве.  
Никто ни зайчонка, ни куклу не мучит.  
И горько пока не расстрелянным мамам  
Оплакивать бедную детскую участь.  
То был и души, и истории хаос,  
И всех не оплакать, что нынче в могилах.  
Зачем я опять возвращаюсь в Дахау?

Чтоб не забыла.

**САФРОНОВ**  
**Валентин Григорьевич**



**Участник  
Великой Отечественной  
войны**

Родился 25 июля 1927 года в Москве. В 1943 году добровольцем ушел на фронт. О его боевом пути говорят награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией».

После войны вернулся в Москву. Окончив курсы мастеров-строителей, участвовал в возведении Московского государственного университета и Главпочтамта. Начиная с 1965 года, работал на различных стройках страны в Архангельской, Свердловской, Тюменской и Курганской областях, в Алтайском крае. Сейчас проживает в райцентре Альменево Курганской области.

Постоянный автор стихов в альманахе «Тобол». Автор книг стихов «Парамоновские лебеди» и «Душа бунтует и скорбит...».

В Союз писателей России принят в 2007 году.



## У РАСПАХНУТЫХ ВОРОТ

Ворота настезь, голова седая,  
Хозяина в несчастье не узнать.  
Над гробом бьется птицею, рыдая,  
От горя обезумевшая мать.

Сыночек мой! Соколик ненаглядный!  
Зачем от нас так рано улетел?  
А сын молчит. Спокойный и нарядный,  
Он уж далек от наших грешных дел.

Горит свеча, старух эскорт печальный,  
Зевая скорбно, крестит рот.  
Стук молотка, гремит салют прощальный.  
Не знать бы вам распахнутых ворот.

## БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Когда впервые за перо я взялся  
И Господа просил: «Благослови!»,  
И свыше голос мне раздался:  
«Есть капля солнца и в твоей крови.  
Свети! А солнца не убудет,  
Проникни в речи колдовство,  
Чтобы смеялись и рыдали люди  
При звуке слова твоего».

## ПОЭТ

Мир грешный возлюбя,  
Он, сам себя моложе,  
В грядущее, трубя,  
Летит, как ангел божий.  
Несет его в груди  
Жар страсти ненасытный.  
Сверни его с пути –  
Он рухнет, как подбитый...

## О СЕБЕ

Может, от ума, а может, сдуру,  
Попадаю я из плена в плен,  
Не меняю я свою натуру,  
Несмотря на ветры перемен.

То живу в строительном угаре,  
То живу, стихами одержим.  
Труд прораба сделал меня старым,  
Труд поэта – снова молодым.

И еще в плену одной я власти:  
То цедя, то портя мою кровь,  
Посильней, чем обе эти страсти, –  
Это моя к дочери любовь.

И скажу вам правду без прикраски,  
Удивлю кого-то, может быть,  
Что без этих без оков бы рабских,  
Мне б на свете скучно было жить...

## РОДИМАЯ СТОРОНА

Я без тебя, как стебелечек тонкий,  
Чужих дорог изведаль пыль и хлябь.  
Ты снилась мне, родимая сторонка,  
Твоих лесов березовая рябь.  
Шагал в огне, срывая голос, громко  
Кричал от боли незаживших ран.  
Спасала ты, любимая сторонка,  
Твоих берез зеленый сарафан.  
Домой, домой! Поют колеса звонко,  
Что жив и цел, не верил я и сам.  
К тебе вернулся, милая сторонка,  
К твоим горящим в осени лесам.  
Здесь по весне мне встретила девчонка,  
Познал любовь, построил новый дом.

За то спасибо, милая сторонка,  
Что приютила под своим крылом.  
Я без тебя, как стебелечек тонкий,  
С тобою жил и набирался сил.  
Прости за все, родимая сторонка,  
Если тебя когда-то огорчил.

## СЛОВА

У русских слов чудесный аромат,  
Как у плодов осенних, нежный, тонкий.  
Я бережно их ставлю в ряд,  
Шлифую острым языком поземки.

Краплю весенней снеговой водой  
И обвиваю лунным шелком,  
В походном рюкзаке ношу с собой,  
Когда в полях скитаюсь с двухстволкой.

Копчу в дымке рыбацкого костра,  
И в лодке ими затыкаю течь.  
Вот почему так горька и остра,  
И так сладка бывает наша речь.

В костер души кладу слова-попенья,  
Они трещат, дымят и вот – сухи,  
Пришло чудесное мгновенье:  
Они горят – рождаются стихи!

У русских слов особый аромат,  
Как у вина, он выдержан годами.  
Они в дни радости нам музыкой звучат,  
В годину горькую – гудят колоколами.

**СИТНИКОВА**  
**Елена Львовна**



**Племянница  
участника войны**

Родилась 4 октября 1963 года в городе Кургане. После школы училась в Курганском музыкальном училище, в Уральском государственном университете в Екатеринбурге на факультете истории искусства.

Стихи пишет с детства. Активно начала публиковаться 15 лет назад в периодической печати, журналах, альманахах. Кроме стихов, пишет венки сонетов, философские баллады, пьесы. Она - автор шести поэтических сборников, в том числе: «Встречный ветер», «Неровный свет», «Книга сонетов», «Четвертое измерение».

Лауреат городской литературной премии «Признание». Работает научным сотрудником в Курганском художественном музее. В Союз писателей России принята в 2005 году.



## ТИШИНА

Мне не написать о войне.  
Слишком эта боль  
Сильна.  
Так незнание – совесть вдвойне.  
Но не знать бы, что такое – война.

Мне не написать. Слог не тот.  
След трассирующий память пробил.  
Ну, а тот, кто помнит, кто был,  
Тот порою слов не найдет.

Помолчим... Не знаю – о ком.  
За погибших горечь – не страх.  
Кто – на фронте, кто – в лагерях,  
Кто – в голодном Городе том.

Кто в далеком детстве войны  
Стал навечно старше отцов.  
Схоронил иль встретил... Без слов.  
Помолчим, вдохнем тишины.

21.04.2001

## ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ

“Дьяволы морские” – чистый снег.  
Белизна одежд, что зов от Бога.  
Севастопольская страшная дорога  
Вклинилась в незавершенный прошлый век.

Рукопашная – на смерть – и звезды с неба.  
Штыковая – мускулы и пот...  
Кто тебя, мой город вознесет,  
Русский, истовый, святой, как ломоть хлеба.

7.09.2005



**СНЕГИРЁВ**  
**Василий Федорович**



**Сын участника войны**

Родился 5 августа 1938 года в селе Лебяжье Далматовского района в крестьянской семье. Закончил Шадринский пединститут, факультет русского языка и литературы. Служил три года в Советской Армии. Работал учителем в сельской школе, инструктором райкома комсомола, литсотрудником в районной газете «Вперед» (с.Уксянка), диспетчером на заводе ЖБИ -2, контролёром на Курганском машзаводе, приёмщиком на железной дороге.

Автор книги прозы «Раноставы», ряда рассказов. Публиковался в журнале «Урал», альманахе «Тобол».

В Союз писателей России принят в 1991 году.



## **В ДОРОГЕ**

(глава из повести)

Фекла возвращалась с лесозаготовок тем же самым путем, что и год назад, когда ехала из Лебяжья. Дорога, виляя, то глубоко заходила в глухой бор, то, круто поворачивая, тянулась вдоль железнодорожной линии. В одном из открытых мест, где дорога и насыпь почти сливались, появился пассажирский поезд. Он шел на большой скорости. У Феклы закружило голову. Она повернулась спиной к откосу, остановила лошадь, стала пережидать. Через мгновение вверху над крутизной раздался крик. Женщина машинально бросила взгляд и увидела пассажиров. Из раскрытых вагонных окон они громко наперебой кричали. Разноголосье дробилось и растворялось в низине. Зато Фекла успела разглядеть лица.

На одних она видела слезы, на других – печаль и скорбь, на третьих – светлые широкие улыбки. Пассажиры явно возбуждены, взбудоражены. Одна из женщин даже высунулась из окна, помахала рукой и с ликующей радостью о чем-то сообщила. Оттого, как она выходила из себя, Фекла догадалась, что сообщение было важное, ценное.

– Возможно, победа, – подумала женщина, так как накануне перед отъездом слышала по радио, что наши войска штурмовали Берлин. Но желанная весточка не долетала до Феклы. Она, как и крики, утонула в грохоте уходящего поезда. От нее лишь остались звенеть в ушах протяжные звуки «а-а...» Они походили на плач брошенного ребенка.

Фекле невольно представились Мишка с Настей. У нее и раньше, вернее, с тех пор, как уехала на чужбину, дня не проходило, чтобы не вспомнила своих детей, а теперь, когда до встречи оставалось не более суток, вовсе не уходили из головы. Они везде и всюду напоминали о себе. Что бы ни случилось, что бы ни услышала, ни увидела – все связывала с ними. Отчего еще больше переживала и страдала.

Мысли менялись одна за другой. То она думала о ребятах, пассажирах, уехавших на поезде, то разгадывала мнимую новость. Каждая мысль бередила душу по-своему, и женщина те-

рялась в своих догадках. Не терпелось узнать истину. На пути же, как назло, никто не попадал. Тогда Фекла говорила сама с собой. Спрашивала, отвечала. Не найдя ответов, проговаривала все заново.

В тяжелых раздумьях она подъехала к железнодорожному переезду. Из будки вышел путевой сторож. Им оказалась пожилая женщина, та самая, которая пропускала еще в прошлый раз, когда ехала на лесопункт. Фекла обрадованно соскочила с передка, оставила Гнедо-го у гладкоствольной придорожной сосны, быстро побежала навстречу.

Старушка стояла в слезах. Она пыталась убрать их концом платка, но из глаз выкатывались другие, крупные, с горошину. Женщина не могла поладить с собой. Слезы текли и текли по опавшим морщинистым щекам.

– Что случилось-то? – первой завела разговор Фекла.

– Разве не слышала? – чуть успокоившись, переспросила та.

– Кто мне скажет в лесу?

– Война кончилась, голуба моя.

– Прав... – и Фекла замерла на полуслове.

– Правда, правда!

У Феклы подкосились ноги. Она так и присела с открытым ртом.

– Вставай, вставай, голуба моя. Распрямляйся – ведь наша взяла. Хотя все мы, бабы, одинаковы. Со мной это же место давеча приключилось. Уж больно долго ждали победу.

Она замолчала. О чем думала? Одной известно. Возможно, увидела в Фекле такую же страдальницу, горемышную, обездоленную, как и она сама, и не знала, чем ее утешить и какую оказать помощь. Только на Феклиных глазах она все больше и больше мрачнела. Потом вдруг спохватилась, будто испугалась, что, если Фекла уедет, останется одна в своей сторожке, и тогда некому будет рассказать о своем горе, что лежало на сердце тяжелым камнем. И, не скрывая слез, она зачестила хриплым голосом:

– Че тут говорить! Любого такое известие ошеломит. Ты бы видела, что здесь творилось час назад. Всего минутку и стоял проходящий, а вагоны мигом опустели. Все повыскакивали на улицу. Думала, что мою будку перевернут. Прямо ошалели люди. Кто бросал свою кепчонку, кто плясал, выделывая крендели, кто

надсадисто орал: «Ура! Победа!» Люди обнимались, целовались, плакали, причитали. Господи, все было! И все это от радости. А кто, может быть, от радости и горя вместе. Ведь слезоньки-то перемешались. Радостные, счастливые – с горькими, солеными. Пусть выходят – на душе полегчает. У меня же до сих пор глаза не просохли. Видно, много накопилось. Скоро не выплакать. Долго придется страдать. Поэтому и радость – не в радость. Ведь двоих сыночков потеряла, мужа похоронила – дома от ран скончался. Пушше того, когда поезд отошел, скрутила меня кручина. Такая ли напала тоска, что сама себя забоялась. Как бы чего не натворила, не наделала. Вот и выхожу на улицу. Отвожу свое сердце с каждым встречным. Хоть бы сказала, чья ты, откуда, далеко ли едешь?

– Отсюда не видать, – пошутила Фекла, решив, что такая шутка ее и старушку расслабит, отвлечет от нахлынувших горьких чувств. И не ошиблась. Та и другая сквозь слезы рассмеялись, на минуту забыли о душевных ранах.

– Смотрю на тебя и думаю, – вновь заговорила старушка, – помоталась ты по белу свету. Горе и счастье видела. Ко всему должна привыкнуть, ан нет!

– Такое известие и тебя, как меня, перевернуло. Видно, радость не приходит одна. Значит, тоже кого-то не дождалась с фронта?

– Давно похоронку получила на мужа, давно, как ребенка, под самым сердцем ношу.

– 0-хо-хо, никого не обошла война.

– Всем досталось.

В таежном ли поселке, на полустанке ли станции – везде, где проезжала Фекла, видела одно и то же: радость и горе со слезами на глазах. Кто ликовал, кто оплакивал погибших, не пришедших с войны, кто, склонившись над фронтовыми письмами, фотографиями, похоронками, стонал и всхлипывал.

Феклино сердце вмещало те же самые чувства. Иногда она со-скакивала с подводы, пела, плясала и хохотала. Когда становилось неважно, давала слезам волю. Выплакавшись, вспоминала прошлое.

Оно день за днем, как ниточка по ниточке, свивалось в клубок. В нем собиралась вся прошедшая жизнь. Безотрадная, беспросвет-

ная. И она вновь распускала клубок жизни, стараясь отыскать хоть небольшую долю счастья. И не находила. Перед ней расстилась пестрая подержанная домотканная холстина. Сколько на ней полос, столько полос и в жизни. Одни блеклые, неприметные, почти забытые, другие – это, к примеру, проводы мужа – никогда не забываемые, но постоянно ноющие под сердцем, как незаживающие раны.

Она, как сейчас, видит эти проводы.

Иван на фронт уходил в первый день войны.

Его провожали все. От членов правления до ребятишек. Пожалуй, одни и были такие проводы в Лебяжье. До них и после них подобных не было. Впрочем, как знать. Для каждой семьи они особенные, забываемые. Спроси Марию Тюлюбаеву, Александру Снегиреву, Овдотью ли Стерхову, кого угодно, каждая расскажет о своем памятном дне. Ничего не пропустят, все вспомнят до мелочи. Запомнила и Фекла.

Пришли к Ивану, как на праздник. Народу собралось много. Одних гармонистов не пересчитать.

А каких коней подали! Из всех бригад подбирали. И выбрали на славу. Один выездной лучше другого. Все на подбор. Высокие, тонконогие, поджарые, одной масти – красные – огнем пышут. Без украшений залюбуешься. Их еще нарядили. Вовсе глаз не оторвешь. Те кони да не те. От хвостов до грив накрытые шальями, полушалками, расшитыми скатертями. Дуги расписаны ромашками, оглобли перевиты цветными лентами-бантиками. Узды, шлеи сверкали-сияли блестками, ряски-кисти горели кострами.

Провожаящие дивились, ахали. Уж от души постарались девки и парни. Как на свадьбу подводы подготовили-вырядили. Можно было поскромней. Как-никак проводы на фронт.

– Не к добру, – заметила Татьяна Черных.

– Помолчи, – кто-то одернул старуху.

– Много знашь, оттого скоро состарилась, – посмеялись над Татьяной парни, хотя про себя подумали, что в такой сбруе коням сильно неловко. Они норовили сбросить ее. Били копытами, нисколько не стояли. Вот-вот слетит убранство. Галунцы-бубенчики звенели. Кони рвались, метались из стороны в сторону. Их беспокойство передавалось всем. В том числе и ново-

бранцу.

Иван вскочил на передок ходка, сзади его расселись друзья-гармонисты. Заиграли гармони, лихо сорвались кони, помчали широкой степью и вскоре ворвались в начало центральной Лебяжьевской улицы.

За ними неустанно следили ребята. Они заранее расселись, кто куда: на тополя, на коньки крыш и наперебой сообщали сверху вниз:

- Едут возле клуба.
- Свернули на переднюю улицу.
- Спустились к озеру.

Удобней и выгодней всех устроился Мишка. Он забрался на высокую березу, которая стояла на отшибе за огородами, в чистой степи. С нее, как из верхнего окна Лебяжьевской церкви, кругом видно, а озеро казалось совсем рядом, под самым носом. Даже мужиков можно было различить, отца тем более. Он изо всех выделялся – на голову выше. Вот он разделся и бултыхнулся в воду. Брызги столбом поднялись. Мишка передавал вниз:

– Тятя догнал мужиков, обогнал, обратно плывет, вылез на мостки. Всех победил, ура!

Мальчишка раскачивал дерево, верхушка гнулась и вновь распрямлялась. Того и гляди обломится. Но Мишка не замечал: он весь с отцом на берегу и, не стихая, с захватывающей азартностью сообщал: – Одейся, сел в ходок.

В это время сучок треснул, Мишка цепко перехватился за другой и, скользнув по стволу, спрыгнул с дерева, поддержнул штаны, приударил к огороду, перепрыгнул прясло, подминая картофельную ботву, пустился навстречу матери, крича во весь голос:

– Едут, едут, едут!

Она подхватила сына и тихо, вздрогнув плечами, заплакала.

– Че с тобой, мама? – удивился мальчик.

– Несмышлениш ты мой, наглядывайся, пока не уехал, запоминай тятины следочки, теперь до-олго не видать... Может, – и, не договорив, крепко прижала сына к себе.

– Почему может?

– Вылетело невзначай, – схитрила Фекла. – Беги, встречай

отца. Из-за поворота вылетела первая подвода. На ней сидел отец. Он отпустил вожжи. Жеребец несся во весь опор, будто нарочно показывал свою силу и молодую удаль. В нескольких шагах от толпы остановился, встал на дыбы и, раздувая ноздри, заржал.

Отец осадил иноходца, прыгнул с сиденья. К нему навстречу вышла Татьяна Черных и поднесла ковшик холодной колодезной воды. Он с жадностью выпил и громко, чтоб слышали, поблагодарил:

– Спасибо, земляки. Покуда жив, ни вас, ни моховлянкой воды не забуду и верьте, что сроду не подведу. Как говорится: или грудь в крестах или голова в кустах.

Застолье, обряды кончились, гости шумной толпой вышли за ограду и медленно двинулись широкой улицей. Впереди шли Иван, Фекла, Мишка с Настей, родные, близкие, позади – остальные.

От Моховушки до казенных амбаров шли долго, а всем показалось – считанные минуты. Когда опомнились, нужно было прощаться. Расставание брало за живое. Иван, сколько мог, крепился. Наконец, не выдержал, прослезился. Чтобы скрыть слезы, одним махом вскочил в ходок, сел рядом с детьми и Феклой, которые поехали провожать его до Уксянки, отпустил вожжи, лошадь помчалась.

Около свертка Иван оглянулся, толпа стояла на дороге. Кто махал фуражкой, кто – платком. Он вырвал из грудного кармана носовой платок и, пока не скрылся за поворотом, махал односельчанам.

До самой Уксянки он не выпускал самокрутку: одну докуривал, другую закручивал. Затягивался глубоко, о чем-то думал. Фекла пыталась отвлечь мужа, но он продолжал молчать. Так и доехал до сборного пункта. И там не удалось поговорить. Только на прощанье крепко обнялись, поцеловались, что и запомнилось на всю жизнь.

С дороги пришло письмо, с места – другое, переписка закончилась.

Начались ожидания. Долгие, мучительные. Много было жито-пережито. Всего не упомнишь. Да и не к чему. А вот одна понапраслина никогда не забудется. До того-то она уж въедливая. Дру-

гу-недругу не пожелаешь, что пришлось испытать самой Фекле.

Откуда взялась, пошла сплетня? Будто бы Фекла загуляла с Еремеем? Кому от этого выгода, кому на руку греховодная выдумка? Было над чем поразмыслить-подумать. Фекла долго не могла понять, от кого ползли злые слухи. Они, как варавиной, связали ее по рукам и ногам. Лишний шаг боялась ступить, выйти в народ. Стоило перешагнуть порог – загоралась от стыда. Может, никто бы и не обратил внимания, да молву-лиходейку не зашвырнешь в болото, не втопчешь в грязь – живучая. От нее не убежать, не спрятаться. Она постоянно преследовала, душила, брала за горло. Хоть и знала-перезнала Фекла, что ни в чем не виноват а и чиста, как перед Господом-Богом, а кому пойдешь, пожалуешься. Да и дела никому до этого нет. Только беды накличешь. Если могла бы замкнуть «позор» на пудовый замок, не задумываясь, закрылась бы. Отмолчишься, как в саду отсидишься. Лишь бы помогло. В том-то и беда, что и молчание не помогало. Шершавые языки понасердке всякую чепуху несли, от которой, когда наслушаешься, хоть живой в могилу ложись. И ничего не поделаешь – им верили больше, чем честному человеку.

И все это исходило, как потом Фекла узнала, от Еремеевой жены, Овдотьи. Она распустила кляузы. Это и надо было полагать. Как сразу-то не дошло до Феклы! Давно бы смыла свой «позор».

Уж кому-кому, а не Овдотье опутывать людей. Сама недалеко ушла. Прежде, чем болтать, надо было на себя оглянуться.

Чего они сами-то с Еремеем стоили? Собралась пара – гусь да гагара. Вечно ссорились да цапались: старые счета сводили. Оба нечистую жизнь вели, а под старость совсем сдурели: чудили и мутили воду.

Овдотья старела, Еремей молодился. В войну окончательно взял над ней верх. Начал в открытую погуливать с молодухами. Да прижил Варьке Новоселовой девчонку. Тут уж Овдотья не дала ему спуска. Напустилась на мужа. Дело дошло до развода. Еремей, будто и ждал этого. Раз и навсегда решил ославить жену.

Он работал бригадиром, несколько лет подряд. К иному привыкнуть – достаточно года вместе поработать, а к этому никак душа не лежала. И все потому, что не умел обращаться с народом. Свои повадки-выходки



ни от кого не скрывал и высказывал их без всякого стеснения. Разнарядку, как принято называть планерку в бригаде, начинал с подковыркой или с подоплекой. Да так неумело, что порой человека ни за что, ни про что оскорблял или обижал, доводя до белого каленья. После небольшого вступления не слушал бы больше его и тут же бы вымет поганой метлой. Он же начинал выкручиваться. Глядишь на него и не узнаешь: словно заново перерожден. На виду у всех делался шелково-ласковым да угодливым.

А уж начало этой планерки и вовсе удивило собравшихся. Ни с того ни с сего вдруг задал вопрос:

– Скажите, что мне делать со своей бабой?

Какая муха укусила бригадира, что за глупый вопрос, зачем надумал выносить семейные разлады-раздеряги на людской суд? То ли бригадных забот мало? Шел бы домой и разбирался один на один со своей Овдотьей.

Выжился старик из ума. Кто же, кроме себя, в семейных вопросах лучше всего разберется? Да и чужие советы не всегда приводят к добру. Потому никто не поддержал Еремея. Наоборот, высмеяли с ног до головы. Старик же все это мимо ушей пропустил и разошелся, что никто не мог остановить. Что было и не было – все собрал об Овдотье. Всю подноготную вспомнил, как говорится, от царя Гороха до сегодняшних дней.

– Еду я с Михинского угора, – в сердцах говорил он, – гляжу: на березе какие-то зарубки. До этого никогда не замечал. Останавливаю лошадь, слезаю, подхожу к березе. На ней буквы аршинной величины. Видно, что старые, мошком подернуты, заплесневели, но полностью не заросли, но и разглядеть трудно. Достал складень, вычистил бороздки. Читаю. Что вы думаете написано? Будете гадать – не угадать. Имя моей жены да Маркела Лагушонка. Супротив них две черточки. (Грамотеи нашлись! На двух-то два класса с коридором закончено). После арифметических знаков глубоко да в ширину ладони – наверно топором рубили – выведена Любовь.

– Куда ее деть, если появилась, – съехидничала над Еремеем Федора Бусариха.

– Не похабить же березу.

– Сжалился волк над ягненком, – подковырнула та же Бусариха.

– Моли Бога, что на твоём лбу не вырезали, – поддержали Федору сразу несколько женщин.

Сетчатое лицо Еремея сбелело, губы и подбородок с жидкой козлиной бородкой задергались, глаза наполнились злостью.

– Я бы им тоды самим глаза выколот!

– Не поздно ишшо, – травила Еремееву душу Федора. – Доживут до старости, потом бабы нехороши. Знал ведь, кого брал.

– В душу не заглянешь и не раскусишь вас, вас и колуном не расколешь. Было бы все по чести и совести, тогда и разводов не было и жили бы душа в душу. Уж коли совесть замарана, прижался бы да помалкивал, – заступаясь за женщин, стыдила Еремея Федора Бусариха. – Срежь буквы – и делу конец. Чего раздувать кадило?

– Я не только буквы, но и березу срезал, привез домой, поставил на видное место, в пригон, чтоб доила корову и глядела на свои грехи.

Не терпели друг друга Овдотья и Еремей. Так всю жизнь жили и мучились. Сами хорошо не жилали и другим не давали. В свои дрязги невинных людей впутывали. В их число попала и Фекла.

Подумала бы Овдотья да не сказала о Фекле. Зачем ей Еремей? Даже бы и лучше подвернулся человек, так и то бы ни за что не поменяла своего Ивана, а на Еремея подавно. С ним, со старым пнем, на один гектар обедать не села бы, не то чтобы «шуры-муры» заводить. Она же, Овдотья, осердилась на Еремея и приревновала к Фекле, и пустила очередные сплетни по деревне. Их усилил еще один случай.

Однажды Фекла прибежала с дневной дойки домой и увидела на крыльце Еремея. Он сидел и клевал носом землю: сомлел от жары, спал, между коленками дуло берданки торчало. Калитка скрипнула. Он соскочил со ступеньки и шарахнулся по углам ограды. Когда вошел в себя, ошалело заорал:

– Ни с места, стрелять буду!

– Опомнись, боговый, – опешила Фекла. – Чего натворила, что домой зайти нельзя?

– Не распускай язык, – пригрозил Еремей. – То всыплю картечью.

– Пужать вздумал? Я те попужаю.

Фекла схватила сучковатый осиновый кол, приставленный к ворот-

ному столбу, и с плеча размахнулась:

– Моментом дурь выколочу.

– Поттише на поворотах.

– Пень гнилой, обормот несчастный! Одинокую бабу почуял? – наступала Фекла.

– Не подходи, уокошу, – орал старик.

– Я тебя наперед устукаю. Опозорить решил, вислогубый, марш отсюда! Прошлая пора, а Фекла все еще диву давалась, откуда пришла смелость?

Что ни говори. Еремей-мужик, еще и с ружьем. Взял бы да взаправду пальнул картечью, поминай, как звали.

Видно, сама себя сдержать не могла – злость обуяла. Слепой сделалась, бесчувственной. Когда опомнилась, поздно было: Еремей лежал пластом, растянувшись вдоль завозни и хыркал горлом, будто подавился чем.

Притворила она двери и накинула замок. Еремей очухался и загорлопанил во весь голос:

– Жаловаться буду!

– Я те пожалуюсь, кобель паршивый. Выломишь двери, отвечать заставлю.

В разгар шума и грома в дверях ограды появился председатель сельского совета Тошто Специально Печать в Кармане (так его деревенские называли):

– Что за шум, а драки нет?

– Забирайте своего быка.

– Какого ишшо быка?

– Производителя. Вон он в завозне сидит.

– Какого производителя? В колхозе один был производитель и того только что убили. Ходил около силосной ямы и вдруг – не из тучи гром – баран откуда-то вылетел. Бык дернул головой, раздул ноздри, зарыл копытом. Баран то ли с перепугу – мало ли кто пужанул – то ли, не дожидаясь удара, – первым бросился. Мы и рта не открыли – бык с копыт долой. Подбежали, а он мертвый. Вот удар! Впервые такой видел. Сильный, с искрами.

– Не заговаривай зубы.

– Кто там у тебя?

– Ты его спроси.

– Еремей, ты как угодил в завозню-то?

– Это она, дьяволиха, втолкнула, – заикаясь и дрожа, пробормотал старик.

– Ты что делаешь? – набросился председатель на Феклу. – Зачем заперла?

– Чтоб к чужим бабам не ходил.

– Что ты натворила? Он же караулить поставлен.

– Меня что ли? Я и так никуда не убегу.

– Где Иван?

– Какой?

– Че прикидываешься?

– Где ж ему быть, как не на фронте.

– Сбежал он.

– С чего ты взял?

– Из военкомата сообщили. Открывай дом, будем делать обыск.

– Зачем открывать, в нем никого нет, пусто.

– Открывай голбец.

– Я и забыла, с которой стороны он и открывается, давно им не пользуюсь: в яме вода, по завалинам не пролезти – высокие, почти до полу. Тебе надо, вот и полезай.

– Полезем вместе. Ты вперед, я за тобой.

– То ли Иван иголка?

Председателю подчинилась: слезла на завалину, проползла вокруг ямы, вылезла. Как черт вымазалась. Голова, лицо в тени, платье измятое, грязное, мокрое.

Василий Ильич заставил ее спуститься в погребную яму, залезть на сеновал. Сам же стоял наверху со взведенной берданной и командовал, куда еще заглянуть, где посмотреть. Все углы, закоулки, потаенные места обшарили, облазили. Устав, Фекла зашла в избу, Тошто сел на крыльцо, закурил.

– Долго будешь караулить? – выглянув из открытой створки, зло спросила Фекла.

– Сколько надо.

Полгода Феклино семейство находилось под стражей. Караулили одни и те же после перемены: Андрон Васильевич – ветеринарный врач, Гриша Щербаков – ответственный за маслодельный участок, Петро Колобок, назначенный заведующим фермой, сам председатель. Каждый начинал с обыска. Убедившись, что Ивана нет, и выкурив кисет самосаду, засыпал до новой смены.

Фекла с ребятами к страже привыкли. С одним не могли смириться: какой же отец дезертир? Разве Иван прошел бы мимо, если бы сбежал с фронта? Ему и часу не выдержать, чтобы не увидеть детей, потому как без ума и памяти любил.

**СПИЧКИН**  
(лит. псевдоним - Огнев)  
**Владимир Михайлович**  
(17.09.1927 – 14.11.1999)



**Сын участника войны**

Родился в городе Перми 17 сентября 1927 года. В 1942-1944 годах – учащийся, затем помощник мастера в ремесленном училище №1 Кургана. С 1944 по 1975 год служил в органах госбезопасности. Демобилизовался в звании подполковника. Вскоре стал работать старшим редактором Курганского отделения Южно-Уральского книжного издательства. После ликвидации отделения издательства, работал литературным консультантом в Курганской писательской организации.

Автор книг: «По следам оборотня (записки чекиста)», «Фиолетовое пятно» (повесть), «Две операции майора Климова» (повести), «Кузьменко меняет профессию» (сборник юмористических рассказов).

В Союз писателей СССР принят в 1981 году.



## КТО ОН?

(отрывок из повести  
«Две операции майора Климова»)

...«Собственноручные показания свидетеля Мохова Ивана Степановича, 1916 года рождения, рядового второго взвода...

Даны двадцатого ноября 1941 года. Об ответственности за ложный донос предупрежден.

...Колчина Петра Савельевича я знаю с малолетства, и родились, и выросли мы в одной деревне. Росли, правда, не на равных – я, как и батя мой, с малых лет батрачил, а Колчины были люди заметные, богатые...»

...Саше Колоскову живого кулака видеть не довелось; в конце двадцатых годов, когда бурные волны классовой борьбы вздымались в деревнях и селах, его еще и на свете не было. По книгам да кино знает он о том времени, и Савелий Колчин, отец Петра, представляется ему сейчас в образе шолоховского Якова Лукича, умного, хитрого, смертельного врага новой власти. Зримо представляются тайные кулацкие сборища и мальчишка, Петька Колчин, залегший у плетня на стреме...

«...Году примерно в тысяча девятьсот двадцать восьмом или двадцать девятом, точно не помню, – читает Александр дальше, – Савелий Колчин был арестован органами ГПУ за участие в убийстве комсомольца Калюжного, приехавшего в деревню нашу с агитбригадой. Родичей его вскорости раскулачили и выслали, с ними и Петр уехал.

...Савелий Колчин вернулся в село знать-то году в тысяча девятьсот тридцать восьмом. Петр, ставший жителем городским, тогда наезжал к нему, да все ненадолго. В колхоз Савелий вступать не стал. Где-то года за два до войны опять его органы арестовали. За что – точно не скажу, не знаю. Я, как и Петька, в Александровске жил, учился в фабзауче, дома бывал наездами. Ходили, правда, слухи, что хотел он банду организовать, что нашли у него револьвер, да ведь то слухи, за них не ручаюсь.

Петра тогда не тронули. С ним, с Петром Колчиным, нас в одночасье и в армию призвали, и служили мы вместе. Вместе и войну нача-

ли. Другими не стали, но как земляки держались друг к другу поближе.

Немцы нас в первые дни потрепали здорово: командира тогда убило и весь штаб бомбой накрыло. Командовать нами стал комиссар батальона Гриднев Сергей Иванович, светлая ему память. Умный и решительный был командир. Хоть и продолжали мм отходить, но за каждый холмик, за каждый овраг цеплялись. Отступали, но немцев положили немало.

В конце сентября прижали нас фашисты к какой-то речке, неподалеку от деревни Вагино. Навалилось их на нас уйма, да еще танки. В общем, рассеяли нашу часть, и оказались мы в немецком тылу. Так уж вышло, что сошлись мы трое: комиссар Гриднев, Колчин и я. Решили такой боевой группой и выходить к своим. Сказать смешно – боевая: у комиссара два патрона в наганае, у Колчина – винтовка, а я вовсе с одним ножом, винтовку шальным осколком разбило.

Пошли. К полудню слышим: впереди моторы гудят. Как положено, провели разведку, видим: шоссе, по нему колонны немецкие прут.

Стоим мы втроем у оврага, советуемся, как шоссе перейти.

И тут Колчин вдруг подымает винтовку и в упор Гридневу в грудь стреляет. Я сразу-то ошалел, не пойму ничего. А Петро: «Амба, – говорит, – конец большевикам-коммунистам. Я, – говорит, – им не союзник, я их сам добивать буду. Вот возьму, – говорит, – только комиссаровы документы – и ходу к немцам, они люди культурные, цивилизованные, мне их бояться не надо. И ты, – говорит, – Иван, со мной пойдешь, и тебе у немцев дело найдется».

Нагнулся он к Гридневу, а я прыг в овраг – и деру. Слышу сзади выстрел, другой, что-то в левую руку меня ударило, а сам бегу, ладно кругом лес, кусты. Так и ушел я, хоть и раненый.

Недели две по лесам блуждал, но вышел-таки к своим. В госпитале политруку рассказал, как дело было. А он велел обязательно к вам прийти. Чтоб узнали люди о колчинском преступлении. Чтоб его, Колчина, позору предать и за честь Гриднева Сергея Ивановича слово замолвить...

Показания принял: следователь особого отдела 17-й стрелковой дивизии старший лейтенант Ковалев...»

«...На фотокарточке под номером два изображен хорошо известный мне, Мохову И. С., изменник Родины Колчин Петр Савельевич...

Опознание провел: капитан Григорьев».

«Выписка из материалов Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной ими территории.

...17 февраля 1942 года карательным отрядом СС и так называемой «украинской» полицейской ротой сожжены дотла населенные пункты Каменка, Вороний Гай и Сельцо, а жители этих сел расстреляны.

...Об уничтожении села Каменка случайно спасшиеся от гибели бывшие его жители Опанасенко Мария Григорьевна, Яковлев Артем Иванович и Стаценко Фаина Максимовна рассказали:

– В село наше, располагавшееся в партизанском крае, немцы и местные полицаи заглядывали редко, больше с целью пограбить: угнать скот, вывезти продукты. В январе 1942 года после очередной такой «операции» карательный отряд был разбит партизанами отряда «Народные мстители», которые базировались в Узловском лесу и часто останавливались в нашем селе на отдых.

После этого случая немцы у нас больше месяца не показывались.

17 февраля, утром, в село на подводах въехал отряд эсэсовцев и полицаев. В середине колонны сидели в санях немецкий офицер в черной шинели и командир полицейской роты, стоявшей в бывшем райцентре Яблоновом, Петренко, известный нам по прежним грабёжам нашего села. Петренко также был в немецкой офицерской форме.

В центре села офицеры, человек двадцать немцев-эсэсовцев и такая же группа полицаев остановились. Остальные немцы и полицаи, проехав Каменку, стали с двух сторон цепью окружать ее.

В это время из здания бывшего клуба выбежали ребята – мальчишки в возрасте десяти-двенадцати лет. Офицер-немец что-то сказал Петренко, тот пьяно захохотал, достал пистолет и, тщательно прицеливаясь, начал стрелять в детей.

Трое ребят упали, остальные бросились врассыпную.



Тогда Петренко, громко ругаясь, выхватил из саней автомат и стал стрелять по убегавшим детям очередями.

Это лично видели из окна своей хаты Опанасенко М. Г. и Яковлев А. И.

...Разбившись на группы, немцы и полицаи пошли по селу, стреляя во всех, кто появлялся на улице. Заходя в хаты, они убивали сельчан, выносили и складывали на подводы наиболее ценные вещи, продукты, а дома поджигали. Не щадили никого – ни стариков, ни малых детей.

Тех, кто пытался бежать из села, убивали немцы и полицаи, стоявшие в цепи вокруг Каменки.

Это было продуманное поголовное уничтожение всех жителей...

Стаценко Ф. М. с чердака своей хаты лично видела, как Петренко с одним немцем и двумя полицаями зашел во двор колхозника Майбороды и, сев на стоявшие там козлы, послал полицаяев в дом. Вскоре они вытолкнули из хаты во двор семидесятилетнего старика Майбороду Игната и его сноху Лидию с грудным ребенком на руках.

По знаку немца полицаи сорвали с них одежду.

Петренко, размахивая пистолетом, кричал на Майбороду, требуя сказать, где его сын-партизан, а немец, взяв вожжи, хлестал ими Лидию и ее ребенка. Увидев, что другая группа немцев и полицаяев направляется в сторону ее дома, Стаценко выбежала в огород и спряталась в погребе за кадушками с овощами.

Когда позднее она пришла на пепелище хаты Майбороды, то увидела, что все члены его семьи лежат во дворе мертвые...

Из четырехсот пятидесяти жителей села Каменка после карательных действий в живых осталось двадцать три человека; не уцелело ни одной постройки. Село перестало существовать.

...В тот же день, семнадцатого февраля 1942 года, этот карательный отряд уничтожил населенные пункты Вороний Гай и Сельцо. Об обстоятельствах...»

Колосков поднялся из-за стола, чувствуя, что кровь приливает к голове и невольно сжимаются кулаки. Ему, молодому, только вступающему в жизнь человеку, казались невыносимыми факты, которые вставали со страниц дела. До какого предела падения нужно дойти, чтобы быть способным на такое... Зверем назвал его Климов. Действитель-

но зверь... волк... он...

Александр прошел к умывальнику, тщательно вымыл вспотевшие руки, словно очищая их от скверны, к которой невольно прикоснулся, сполоснул холодной водой разгоряченное лицо. Вернувшись, прошелся по кабинету, постоял у окна, с наслаждением вдыхая свежий, наполненный ароматами близлежащего парка воздух. Город затих, ночь незаметно прокралась на улицы, высветила их огнями фонарей.

Вновь склонившись над делом, Александр перевернул несколько страниц. И опять перед ним знакомая фотография: светлые, слегка вьющиеся волосы, орлиный профиль... Внешне даже симпатичный человек.

И ставшие уже привычными строчки ниже:

«...Я, Стаценко Ф. М., из числа лиц, изображенных на предъявленных мне фотографиях, опознаю на фотокарточке под номером два бывшего командира полицейской роты Петренко Петра Саввича...

Правда, утверждать, что настоящая фамилия этого человека действительно Петренко, я не могу, так как среди населения района ходили слухи, что он взял украинскую фамилию, когда немцы назначили его командиром так называемой «украинской» роты.

Фактически эта рота не была национальным формированием, ее ядром явилась группа уголовных преступников, освобожденных немцами из яблоновской тюрьмы...

Двадцать два года прошло после страшных событий в селе Каменке, но лица убийц и сейчас стоят перед моими глазами...

Провел опознание и допросил: майор Климов»...

«...Украинский штаб партизанского движения на Ваш запрос направляет Вам выписку из рапорта капитана Власенко о причинах провала подпольной группы «Свитанок» и трофейное удостоверение сотрудника СД Эванса (агентурная кличка «Вервольф»), виновного в гибели подпольщиков».

«... Докладываю, что прибыв в Киев, я не смог воспользоваться данными мне явками: вызвало подозрение то, что на всех трех были выставлены старые сигналы безопасности, а не обусловленные с товарищем Андреем на июнь. Поэтому я был вынужден прибегнуть к запасному варианту плана операции, легализоваться самостоятельно и одновременно приступить к проверке явок и поиску товарища Андрея...»

Александр поднял голову от бумаг. Он живо представил себе, что скрывается за этими скупыми строчками рапорта: ночной полет над линией фронта, близкие, совсем близкие разрывы зенитных снарядов, прыжок в темноту, в неизвестность, на землю, стонущую под пятой захватчиков, опаленную огнем и залитую кровью советских людей. И длинный, опасный путь к Киеву, и не менее опасный поиск явок.

Трижды пересекает Власенко наводненный врагами город, чтобы убедиться – связи пока нет, нужно устраиваться самостоятельно. Выдержат ли проверку документы? Нет ли ошибки, просчета в его легенде? Удастся ли избежать ловушек, щедро расставленных коварным врагом?

Тысячи вопросов, а их решение – еще не достижение цели, только возможность начать борьбу.

И он начинает эту борьбу, начинает с поиска товарищей по оружию. Это невероятно сложно и трудно. Но Власенко ищет. Ищет и находит...

Часы в вестибюле гулко пробили двенадцать раз. В кабинет заглянул помощник дежурного по управлению, совершавший ночной обход здания. Укоризненно покачал головой, но, увидев хмурое, сосредоточенное лицо практиканта, молча прикрыл дверь. Колосков продолжал читать:

«...Как удалось выяснить, направленный из партизанского отряда в группу «Свитанок» связной Якимчук был схвачен полицией безопасности и, не выдержав мучительных пыток, выдал явку. Провокатор проник в группу под видом связного, с его паролем и документами, и предложил якобы разработанный руководством партизанского отряда план совместных действий по захвату сосредоточенных в штабе немецкой строительной части «Тодт» важных документов, касающихся обороны Киева. План был принят, и двадцать седьмого мая 1943 года семнадцать участников группы, в том числе и ее руководитель товарищ Андрей, поодиночке направились к месту обусловленной встречи «с партизанами».

Все они были схвачены и после пыток и истязаний казнены.

Таким образом, накануне моего прибытия две трети всего состава подпольной организации «Свитанок» погибли...

Личность провокатора, заманившего в засаду группу товарища Андрея, была выяснена при следующих обстоятельствах. Завершив выполнение возложенного на меня задания, я вместе с товарищем Грозовым (бывший член руководства группы «Свитанок», знающий провокатора в лицо) направлялся в расположение партизанского отряда имени Щорса для возвращения оттуда на Большую землю.

Вечером двадцать восьмого июня, готовясь перейти шоссе, мы заметили на нем одинокую легковую автомашину и решили, что если в ней едут немцы, то попытаемся захватить их документы, а возможно, и взять языка, так как до расположения передовых постов отряда оставалось уже недалеко. Засели в кустах, справа от дороги. Когда немцы поравнялись с нами, Грозовой бросил гранату. Автомашина, вильнув в сторону, сползла в кювет и загорелась. Почти сразу же из нее выскочил офицер, быстро сбросил с себя горевший китель, на который, очевидно, попал бензин, и стал тушить его ногами. – Он! – вскрикнул вдруг Грозовой и, выпрыгнув на дорогу, выстрелил, но, к сожалению, промахнулся. Офицер, укрываясь за горящей машиной, метнулся влево и скрылся в кустах. Преследование оказалось безуспешным. В качестве трофея нам достался эсэсовский китель, в котором обнаружено удостоверение сотрудника СД на имя Петера Эванса и предписание о явке его же в распоряжение Ровенской службы безопасности. На мои вопросы Грозовой пояснил, что опознал в офицере провокатора, явившегося к товарищу Андрею под видом связного партизан и погубившего группу. Фотокарточка на удостоверении окончательно убедила Грозового в том, что он не ошибся.

Метрах в трех от машины мы выбрали второго ее пассажира – штурмфюрера Августа Бреннера, как это удостоверили его документы. Не без труда мы привели его в чувство и доставили на базу отряда. О своем спутнике Бреннер рассказал, что тот в Киевскую СД был взят из местной полиции, как заслуживший особое доверие оккупационных властей. В Киеве Эванс работал у штандартенфюрера Шиндлауэра, внедрялся в партизанское подполье, а сотрудникам был больше известен по агентурной кличке «Лукаш».

... В партизанском отряде Бреннер подробно допрашивался о

деятельности полиции безопасности и СД генерального округа Киева и их сотрудников. Протоколы допросов разведотдел отряда переслал со мной в НКГБ Украины...»

«...На основании полного совпадения отмеченных выше особенностей эксперты пришли к категорическому заключению – на представленных фотографических карточках Колчина П. С. и Эванса П. изображено одно и то же лицо...»

Читая дело, Александр поражался титаническому упорству, с каким собирал Климов материалы о преступлениях «Оборотня», умению майора выявлять все новые и новые источники получения доказательств, находить свидетелей и очевидцев.

Собственно и розыск этого матерого преступника по настоящему начался только в шестидесятых годах, когда Алексею Петровичу удалось установить, что Колчин и Петренко — это один и тот же человек. Идти приходилось по следам двадцатилетней давности...

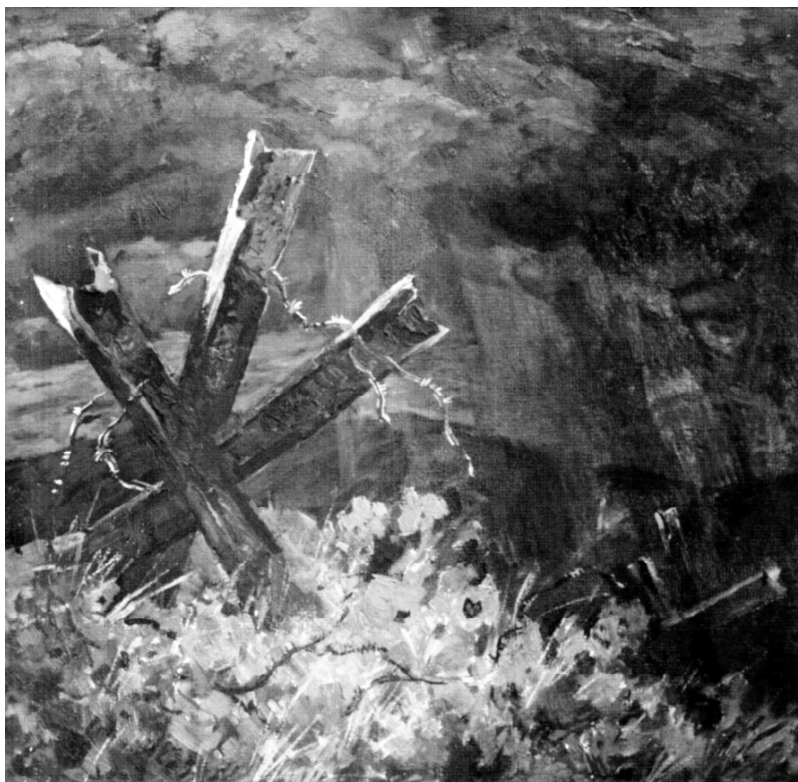
Как видно, очень напугала Колчина партизанская граната – следы его совершенно затерялись в огненных буднях войны. Пока так и не удавалось выяснить, где был и какие еще черные дела творил Колчин после июня 1943 года. Но как ни хитер и изворотлив был «Оборотень», совсем кануть в неизвестность ему не удалось.

Сотрудник, в производстве которого ранее находилось дело Колчина, располагал только показаниями Мохова. К тому же относился он к этим показаниям не с полным доверием: как-никак свидетель две недели находился, как тогда говорили, «в окружении», то есть на занятой врагом территории, вышел оттуда один, подтвердить правдивость его слов никто не мог. А вдруг он, выгораживая себя, клеветает на другого? В общем, особых перспектив розыск не сулил.

Быть может, в силу этой или каких-то других причин, сотрудник не придавал тогда значения короткому сообщению районного отделения МВД, поступившему еще в 1953 году, в котором говорилось, что в квартире матери Колчина видели известного в районе уголовника по кличке «Штырь», только что возвратившегося из исправительно-трудового лагеря.

Получив материалы, Климов по иному оценил этот факт и, выяснив, из какого именно лагеря прибыл домой «Штырь», стал наводить справки там. Вскоре на его столе оказалось дело Гусева Семена Ивановича, осужденного за кражу.

Освобожденный в 1945 году из фашистской неволи, рядовой Семен Гусев был призван полевым военкоматом в Советскую Армию и направлен в запасной полк. Служить начал добросове-



*Вячеслав Пичугин.  
На Сапун-горе*

**ТАНАЕВА**  
**Марина Николаевна**



**Внучка и племянница  
участников войны**

Родилась 26 июня 1975 года в Кургане. В 1992 закончила школу-лицей № 19. В 1997 году закончила факультет иностранных языков Курганского госуниверситета. Стихи публиковались в газетах и альманахе «Тобол». В 2005 году была участником семинара молодых литераторов в Нижнем Тагиле.

Автор книг стихов «Сердцебиение», «Вензеля ночных дорог», «Вечерний город» и других.

Работает в школе, преподаёт иностранный язык.

В Союз писателей принята в 2006 году.



## АФАНАСИЙ

*Памяти деда, Романова Афанасия,  
погибшего в 1941-м.*

В братской могиле так тихо, во мгле  
Дед мой лежит, Афанасий.  
Где-то вдали, на латвийской земле,  
Я не была там ни разу.

Все успокоились: братья, сестра,  
Имя его не тревожат.  
Память народную, словно вчера,  
Саблей вложили мы в ножны.

Американский учебник открой,  
В школах своих бахвалятся:  
«Если бы фронт не открыли второй,  
Русские были бы в рабстве».

Нечистоплотны историки, нет,  
Здесь они не приукрасят:  
Где 27 миллионов, и где  
Дед мой теперь, Афанасий?

Если забудем, улыбки надев,  
Как гибли храбрые деды,  
Кто-то однажды, совсем обнаглев,  
Нашу присвоит Победу.

Вот почему забывать нам нельзя!  
Память солдатскую чтите!  
Вот почему не жалеет себя  
Каждый российский учитель.



И повторяем из года мы в год,  
В детские души вселяя  
Веру: герой – наш, российский народ,  
Наша Победа – святая.

Вечный Огонь забытья топит лёд,  
Спите, родные, спокойно.  
Память о вас никуда не уйдёт,  
Все вы сражались достойно.

Где-то вдали, на латвийской земле,  
В скверике тихом, цветастом,  
Под обелиском, средь братьев, во мгле  
Дед мой лежит, Афанасий.

#### НОЧЬ В БЕРЛИНЕ

Берлинской ночью, темной, сонной,  
Я шла по улицам одна.  
Под неуютным небосклоном  
Дымала странная страна.

Напрасно силилась согреться  
За стойкой в маленьком кафе.  
На фотографии, у сердца,  
Смешной мальчишка в галифе.

Уже не плачет мать о сыне,  
Но светлых слез не скроет мгла.  
Мой дед, дошла я до Берлина!  
К рейхстагу за тебя дошла!

## МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ

Она ждала всю жизнь до самой смерти:  
Вот-вот вернется сын ее с войны.  
Пусть люди говорили ей: поверьте,  
Ваш сын погиб, как многие сыны.

Но похоронки серая бумага  
Для матери, как видно, не указ.  
«Погиб геройски, в Латвии, в атаке,  
Ей повторяли строки много раз.

Меняла каждый день нам всем рубахи,  
Ждала: вернется сын ее с войны.  
« Придет Афонька – будем, как неряхи?  
Встречать его мы всей семьей должны».

Она ждала всю жизнь до самой смерти,  
И умерла, во встречу веря вновь.  
Друзья мои, с великим чувством верьте  
В святую материнскую любовь.

**УСМАНОВ**  
**Владимир Викторович**



**Сын участника войны**

Родился 9 августа 1951 года в селе Мачеха Киквидзенского района Волгоградской области. Закончил академию имени М.В. Фрунзе, Уральскую государственную юридическую академию. Генерал-майор. В 1981-1983 гг. служил в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Кавалер орденов Красной Звезды, «За военные заслуги», ряда других наград.

Автор книг «Культура. Духовность. Патриотизм», трехтомника «Зовущий колокол, огнём горящий меч», соавтор книг «Чечня», «Чечня-2», «Живая память Афгана», «Страну заслонили собой», «Солдатские вдовы Зауралья» и других. Заслуженный работник общего образования. Сейчас на военной пенсии, но продолжает трудиться советником губернатора Курганской области по патриотическому воспитанию.

В Союз писателей России принят в 2005 году.



*Из информационной газеты «Служим Отечеству»  
военного комиссариата области  
№ 4 (21) от апреля 2000 года*

## ИМЯ ГЕРОЯ – НАРОД, ПОДВИГ НАРОДА – ПОБЕДА

«От Советского Информбюро...» Этими словами в годы Великой Отечественной войны начинались передачи по радио. Застыв у репродукторов – на работе, на улицах, дома – миллионы советских людей по всей стране, затаив дыхание, слушали сводки о положении дел на фронте, о мужестве и героизме воинов Красной Армии. Сегодня трудно без волнения читать пожелтевшие от времени исторические документы: «29 ноября. Сегодня под Москвой. Величайшее сражение идет четырнадцатый день. Далеко впереди горят оставленные нами деревни. Немец должен выдохнуться и остановиться. А остановка его в поле будет равносильна проигрышу генерального сражения. И это будет началом конца».

Сегодня трудно без волнения слушать, как практически все поколения россиян поют знаменитую песню, слова которой вдохновляют людей: « Этот День Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах – День Победы, День Победы, День Победы!».

День 9 мая – безгранично радостная и до боли скорбная дата в истории не только нашей страны, но и мировой цивилизации XX века. В этот день 55 лет назад победоносно закончилась Великая Отечественная война советского народа, навязанная нам фашистской Германией. В течение 1418 дней и ночей советский народ проявлял самые высокие духовные и моральные качества: самоотверженность, стойкость, талант, безграничную любовь к Отчизне, веря, что этот день придет, Победа над врагом свершится, свершится, как праведный суд.

Сегодня о войне написаны тысячи книг, сложены сотни песен и сняты кинофильмы, до тонкостей изучены источники Победы. И, тем не менее тема войны до конца не исчерпана, она еще долго будет пробуждать к себе интерес россиян. Срок прошел немалый, но до сих пор события этой трагедии продолжают вол-

новать не только ветеранов. Не утихает боль и скорбь по павшим их детей и внуков, которые интересуются и хотят знать, как она возникла и кто ее виновники, хотят оценить значение победы над врагом и вклад в нее народа, страны. Они хотят знать, что нужно сделать, чтобы новая мировая война не повторилась, чтобы сохранить мир и счастье для нынешнего и грядущих поколений.

Так чем же человечеству и дорог, и памятен День нашей Великой Победы? Почему в этот праздничный и радостный день в глазах людей мы часто видим и горечь, и слезы?

Никогда еще на земле не было подобного варварского кровопролития, которое вынес наш негибимый и непобедимый народ. Одно наше государство за четыре года лишилось такого количества людей, сколько их потеряли все европейские страны за предшествующие три столетия! В этой войне погибло свыше 27 миллионов наших соотечественников. Почти половину этих потерь понесло мирное население, другую составили те, кто пал на поле боя, в концентрационных лагерях и застенках фашизма. Освобождая поработенную Европу, сложили свои головы свыше 1 миллиона 600 тысяч советских солдат, офицеров. Только на территории Польши покоится прах 660 тысяч наших воинов. Да будет всем павшим за Родину-Мать светлая наша Память.

Своим существованием на земле свободное человеческое общество во многом обязано нашей Родине. Вступив в кровавую схватку с фашизмом, наш народ заслониł собой Англию, США и другие страны от фашистского порабощения, по существу с 22 июня 1941 года нес основную тяжесть войны на европейском континенте.

Именно на советско-германском фронте происходили основные события Второй мировой войны. Он являлся решающим фронтом по целям гитлеровцев, по количеству вовлеченных сил, продолжительности, напряженности и жесточести боев. Здесь же было самое бесчеловечное обращение нацистов против мирного, гражданского населения.

День Победы является напоминанием человечеству о том, что фашизм стремился обесценить самое главное на земле - человеческую жизнь. Еще неизвестно, чем мог закончиться геноцид

наций и народов, целенаправленно проводимый фашистской Германией, не будь нашей Победы. Об этой драме целых народов надо говорить постоянно, умалчивать о ней нельзя. Ведь и сегодня даже среди крупных и известных политиков находятся «мудрецы», которые ставят вопрос - стоило ли нам ради Победы нести такие жертвы. С огромным размахом фашистская Германия осуществляла биологическое истребление народов. Разве это можно забыть и простить! Для этого на территории Европы существовало 14 тысяч тюрем, гетто, концентрационных лагерей. «Фабрики смерти» работали на полную мощь. На пунктах уничтожения Хелмнона-Нере число погибших составило 330 тысяч, Белжец - 600 тысяч, Собибур - 250 тысяч, Трешлинка - 800 тысяч человек. Самое большое кладбище в мире - Освенцим; там погибло свыше четырех миллионов человек. Разве такое можно это быть? Изохренный садизм, звериные инстинкты стали здесь составной частью общего, заранее продуманного плана фашистов по тотальному уничтожению людей.

Существовали еще пятнадцать других, подобных Освенциму, лагерей, в том числе Да-хау, Бухенвальд, Маутхаузен, Майданек, ставшие наиболее ярким выражением сущности фашизма. Невозможно представить, что творилось бы сейчас в мире, что стало бы с народами, странами, континентами, если бы эту чудовищную дьявольскую силу, коричневую чуму фашизма, не остановила другая сила - советский солдат. Общее число заключенных в концлагерях, погибших за годы войны, по разным источникам колеблется от 10 до 11 миллионов. В Европе осталось 13 миллионов сирот, погибло в возрасте до 16 лет 1 миллион 800 тысяч детей. Об этом сегодня не любят говорить и не говорят наши псевдодемократы, поклонники западной цивилизации.

Вспоминать ужасы войны тяжело. Забыть - невозможно, не позволяют этого сделать ни чувство совести, ни разум. До сих пор многие не могут понять одного, как могла страна, давшая миру Гете, Шиллера, Гейне, Баха принести человечеству такие варварские потрясения. Нет, это не упрек в адрес немецкого народа, это напоминание о фашизме, возвращенном на немецкой земле и вызвавшем ненависть у всех народов земли. Горькую истину сказал о фашизме рядовой минувшей войны Иван Пахраков

из Юргамышского района нашей области: «Больше всего я ненавижу фашистов не за то, что они меня убить хотели, а за то, что они меня затанули в окопы войны, самого убивать заставляли, чтобы выжил я и мой народ».

До начала войны в рядах Красной Армии и флота находилось 5 миллионов человек, еще 20 миллионов встали в строй защитников Отечества в разные года Великой Отечественной войны. И это только с оружием в руках. Но нам нельзя забывать, что настоящая передовая линия фронта проходила у каждого заводского станка, на каждом гектаре нашей земли. Бойцами чаще всего здесь были наши матери.

В День Победы мы склоняем свои головы перед мужеством и героизмом наших бойцов и командиров на фронтах великой битвы. И в не меньшей мере перед полководческим талантом многих наших выдающихся специалистов военного дела. Появление крупного военного таланта - мировое явление, а созвездие талантов - исторический феномен. Иван Харитонович Баграмян, Александр Михайлович Василевский, Николай Федорович Ватутин, Леонид Александрович Говоров, Георгий Константинович Жуков, Михаил Иванович Чуйков, Борис Михайлович Шапошников, Михаил Степанович Шумилов - вот они наши полководцы, сделавшие то, что кажется выше человеческого таланта, воли и человеческих сил.

Россия всегда славилась отвагой и мужеством своих воинов.

Небывалые примеры храбрости, героизма, выносливости проявили советские воины в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне. Более 300 человек повторили подвиг Александра Матросова. Среди них и наш зауралец старший сержант Петр Дмитриевич Брагин, уроженец села Осиновское Каргапольского района. Будучи тяжело раненым, он своим телом прикрыл вражеский пулемет в бою под Ковелем. За доблесть и самопожертвование во имя Победы он был награжден орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

В том бою, когда погиб Александр Матросов, участвовал и наш земляк из села Травное Мокроусовского района Петр Петрович Атамас. А уроженец села Березово Прито-больного района Михаил Михайлович Севостьянов воевал в составе 254-го гвардей-

ского стрелкового полка имени А. Матросова до самого Дня Победы.

Около 500 летчиков применили в воздушном бою таран, 327 экипажей направили свои подбитые самолеты на скопление противника, более 200 советских бойцов взорвали себя и окружающих их фашистов гранатами. Ни одна армия мира не может говорить о таком святом человеческом порыве во имя Родины. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза стали 11633 человека. Это представители всех наций и народностей, населявших нашу страну.

Большой вклад в Победу внесли зауральцы. Наш земляк Филипп Иванович Голиков, командуя 10-й армией, защищал Москву, командовал Брянским и Воронежским фронтами; генерал Михаил Иванович Шумилов, командовавший 64-й армией под Сталинградом, пленил фельдмаршала Паулюса; генерал-лейтенант Александр Иванович Черепанов командовал 23-й армией, защищая Ленинград; дважды Герой Советского Союза Григорий Пантелеевич Кравченко - авиационной дивизией, а генерал-лейтенант Катков Ф.Г. - механизированным корпусом. Героями Советского Союза стали более 100 зауральцев. Первым из них уже в сентябре 1941 года столь высокого звания удостоен уроженец Юрга-мышского района Иван Степанович Кудрин. А комбайнер Афанасий Федорович Стенников из Белозерского района удостоен Звезды Героя за взятие рейхстага. Полными кавалерами Ордена Славы трех степеней - награды высшей солдатской доблести - удостоены 25 воинов-зауральцев. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 200 тысяч зауральцев, свыше 117 тысяч не вернулись с полей сражений.

Кровью и потом советского солдата добыта победа над сильным врагом. Маршал Победы Георгий Константинович Жуков писал о величии нашего солдата: «Он умел прямо смотреть в глаза смертельной опасности, проявил высшую воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию его подвига во имя Родины. Советский солдат заслужил памятник на века от благодарного человечества». Лучше не скажешь. И это действительно так. Солдата на подвиг вела вера, что Вторая мировая война будет последней. Эта вера помогла ему выстоять и добыть Великую По-



беду.

9 мая - праздник единства нашего народа, его тыла и фронта. «Все для фронта, все для Победы!», - под этим лозунгом в годы войны трудились рабочие и колхозники, ученые и инженеры, старики, женщины и дети. У всех было одно в думах и на сердце - быстрее бы кончилась эта проклятая война. Ради этого можно все перенести и выстоять. Самоотверженность, полная самоотдача стали нормой жизни и действия для всех, кто снабжал армию и фронт оружием и боевой техникой, одевал и кормил ее.

Повседневный трудовой героизм сами фронтовики приравнивали к героизму на поле брани. Более 120 тысяч зауральцев награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Война, начавшаяся для нас трагически, закончилась Победой именно потому, что она вершилась неимоверными усилиями миллионов людей на фронте и в тылу. И поэтому ликование в День Победы было всенародным. Оно вылилось в необъятное море радости и слез. Эта Победа - всенародный подвиг, которому жить в веках.

Войны не кончаются в день капитуляции врага, их инерция велика. Пройдут годы, десятилетия, сотни лет... Но никогда не изгладится из памяти благодарных потомков ратный и трудовой подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. День Победы 9 мая будет служить Отечеству напоминанием и предостережением о недопущении впредь такого страшного кровопролития.

Нет у нас в стране семьи, где бы ни оплакивали погибших на этой грозной и Священной войне.

Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес, как известно, суровый приговор главным немецким военным преступникам и фашизму в целом. Тем не менее, определенные круги на Западе тратят сейчас немало усилий, чтобы обелить фашизм, ввергнувший человечество в пучину Второй мировой войны, героизировать гитлеровское воинство, творивших преступления временно захваченных территориях. Особенно наглядно это проявляется сегодня в странах Прибалтики. Дошли даже до того, что устраивают суды над участниками Великой Отечественной войны, выносят им судебные приговоры как преступникам.

Предпринимаются определенные усилия для того, чтобы пересмотреть итоги Второй мировой войны, а вместе с тем решить их в свою пользу.

Меня, человека военного, это особо настораживает, когда все человечество стоит на пороге вступления в XXI век. Душевную тревогу за судьбу страны я испытываю десятилетия, так как ощущаю, что против моего народа ведется незримый и подлейший бой. За это время наши горе-реформаторы бездарно сдали все то, что потом в труде и кровью в боях добыли наши отцы и деды. Страна отброшена почти на столетие назад. Десять лет «безвременья» и хлынувшие на молодежь потоки «западной культуры и демократии» не прошли бесследно. Возродить былую славу и могущество России невозможно по заморским образцам и рецептам. Почва и корни для нового расцвета и величия Родины находятся здесь, на родной земле.

С сердечной печалью я осознаю, что неумолимо тают ряды солдат, что добыли ту Великую Победу. Уходят люди, а вместе с ними живая история и летопись победных битв, невиданной боевой стойкости, мужества и самопожертвования. Можно себе представить, что было бы, если бы СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ дрогнул, не проявил своих лучших качеств и не выиграл эту страшную войну. Именно поэтому наш долг перед ним - всемерное увековечение его подвига, чтобы он, подвиг этот, навеки остался в памяти благодарных потомков.

Последние годы ведется активная работа по изучению Великой Отечественной войны на расширенной документальной основе, открыто большинство архивов. Многие потребовало пересмысления. Некоторые оценки не выдержали проверки временем, нуждаются в пересмотре или корректировке. Архивные поиски помогли выявить документы и уточнить имена участников войны.

У меня нет сомнения, что русский народ, спасший мир от фашистского порабощения, будет служить в дальнейшем примером для молодых поколений



дественности до-  
имена неизвест-  
нены в книгах Па-

ый подвиг совет-  
тво от угрозы фа-  
ых условиях еще  
ание и служит, и  
м примером для

**УСТЮЖАНИН**  
**Геннадий Павлович**



**Сын участника войны**

Родился 23 января 1933 года в селе Усть-Уйское. Целинного района.

Старейший журналист Зауралья. Заслуженный работник культуры России. В течение 15 лет работал директором широко известного издательства «Парус-М». Под его руководством созданы воистину бесценные книги, такие как: 18 томов Книги памяти Курганской области, трилогия «Золотое созвездие Зауралья», «Живая память Афгана», «Страну заслонили собой», «Солдатские вдовы Зауралья» и другие с ярко выраженной военно-патриотической направленностью.

Издательство «Парус-М» дало путевку в жизнь десяткам зауральских авторов, некоторые из них стали членами Союза писателей России. Писательская организация благодарна Геннадию Павловичу за его подвижнический труд по сохранению героической истории родного края.



## ГЕРОЙ ШТУРМА РЕЙХСТАГА

В майском номере «Журналиста» за 1970 год опубликованы несколько редких фотографий военных лет. Каждая – страничка истории Великой Отечественной. На одном из снимков улавливаю что-то знакомое в лицах солдат. Читаю подпись: «Их оружие било по рейхстагу прямой наводкой. Фото Владимира Гребнева». И все. Вглядываюсь в лица... Да это же Афанасий Федорович! Стенников! Конечно, он! Беру журнал, и в дорогу – к Стенниковым.

– Афанасий Федорович, есть сюрприз!...

Склоняемся над журналом.

– Снимок, и правда, вижу впервые, – Афанасий Федорович откинулся на спинку стула. – Это было в Берлине. Мы тогда только что штурмом выбили фашистов из здания имперской канцелярии и взяли на прямую наводку рейхстаг. Ведем огонь по превращенным в бойницы окнам. Немцы же в ответ из чего попало палят по нам. Ураганный огонь. И тут вдруг корреспондент на позиции появился. Как он пробился к нам? Я, говорит, вас для



*Афанасий Федорович Стенников с боевым расчетом.  
Берлин, апрель 1945 года*

истории запечатлею.

А кругом дым, рыжие облака кирпичной пыли от разрывов снарядов. Какое тут фотографирование! Да и мы, как черти, прокоп-тились, – только зубы блестят. А он с аппаратом и этак, и так. На прощание пообещал после боя нас еще всем расчетом заснять.

Несколько часов ведем огонь. Сами целы лишь потому, что место для позиции удачное подвернулось: парадный подъезд имперской канцелярии. Сюда мы притащили свою пушку подвальными коридорами. Переносили ее по частям: сначала ствол, потом станину, ящики со снарядами. Ребята из 150-й дивизии тут нам хорошо подмогли. От смерти с флангов нас надежно укрыли мощные колонны, а спереди сметаем гитлеровцев непрерывным огнем, не даем себя в обиду. Наводчик Паша Михалев, тоже нашенский, из села Ярового Половинского района, просто снайперски наводил пушку. Только заметим, откуда фашисты бьют, – моментом и накроем.

Рядом уже вступали в бой другие орудия. Бой разгорался все жарче. Несколько раз принимались бить по рейхстагу пушки больших калибров. Особенно сокрушительным был их удар после полудня. И немцы стали огрызаться слабее. Ну и наши поднялись в атаку. Шли до отчаянности стремительно и неудержимо. За какие-то полчаса по рейхстагу, как огненные языки, затрепетали красные флаги. Они были и в окнах, и на колоннах, и на крыше, вплоть до самой верхушки купола. Каждый стремился водрузить свое знамя победы, поставить свою точку проклятой войне. А в рейхстаге бой. Ворвались и мы. Ну, где ты, ирод, бесово фашистское чудовище, проклятый Гитлер?! Где?! Хотелось схватить его и задушить собственными руками. Но кругом груды обломков, битое стекло, фашистские бумаги под подписями и печатями с орлом и свастикой. Разгромленное звериное логово.

Потом из подвалов потянулись вереницы гитлеровских вояк, побитых, подавленных. Смотрят себе под ноги, головы втянули в плечи, боятся возмездия. А нам не до них.

Еще где-то по соседству идет бой, но у всех уже победное настроение: широкие улыбки, смех и прибаутки. Какой-то солдат снятым с винтовки штыком, как школьник, царапает на колонне рейхстага: «Ура! Победа!», и свою фамилию и имя. Площадь гудит, как улей. На ней солдаты, танки, машины, – поток

войск. Устали мы до смерти – сутки без еды, двое без сна, а глаза у всех горят от радости: рейхстаг взят!

Появились на площади походные кухни. А у солдата закон: есть время и возможность – подкрепись. На ночлег расположились в рейхстаге. Шинели в изголовье, автоматы рядом.

Вроде бы не успел и глаз сомкнуть – трясут за плечо, и голос знакомый: «Стенников, товарищ старший сержант! Вставайте. Корреспондент тут вас разыскивает».

Открыл глаза. А он, тот самый корреспондент, улыбается: рад, что нашел. Нас там тысячи, а он отыскал. Афанасий Федорович улыбнулся.

– Четверть века прошло, а снимок – вот он. Не забыт. Вот ведь как в жизни бывает.

Через месяц я получил письмо от бывшего военного корреспондента Владимира Гребнева. Он писал: «По поводу снимка и людей, заснятых на нем, могу оказать следующее. Орудийный расчет старшего сержанта Афанасия Федоровича Стенникова в составе 3-й ударной армии дошел до Берлина и штурмовал рейхстаг. В одном из последних жарких боев я наткнулся на расчет, стрелявший из парадного подъезда дома Гимmlера прямой наводкой по рейхстагу, расстояние до которого было метров 350. Рейхстаг отчаянно огрызался: там засели матерые фашисты, которые знали, что это конец. Копоть и дым застилала видимость. Наши войска накапливались в подвалах окрестных домов для решительного штурма. Орудийный расчет А.Ф.Стенникова беспрерывно вел огонь по рейхстагу.

После боя я отыскал расчет и сфотографировал его возле дома Гимmlера для нашей армейской газеты «Фронтовик», в редакции которой я прошел всю войну. Один из снимков высылаю вам. С приветом В.Гребнев».

Стенникова я знал много лет. Бывал у него дома, и Афанасий Федорович приезжал ко мне в гости. В беседах пролетали часы и вечера, странички с заметками накапливались в моем блокноте. При каждой встрече он раскрывался какой-нибудь новой гранью.

А познакомились мы так. К 20-летию Победы над гитлеровской Германией в Кетовском районе готовили встречу за круглым столом с ветеранами войны. Пригласить на нее Героя Советско-

го Союза Афанасия Федоровича Стенникова поручили мне. Жил он тогда в деревне Зайково. Поехал. Дом Стенниковых нашел без труда. Встретившаяся на окраине села женщина сказала:

– Вон тот дом, что смотрит на улицу. Палисадник с голубым штакетником. Открыл ворота. Во дворе амбар, баня, навес, сарай и чистота под метелку. Чувствуется по всему – живут здесь уважающие порядок люди.

На крыльце встретила женщина лет пятидесяти, высокая, с добродушной улыбкой, серыми глазами и короной темно-русых волос.

– Проходите, пожалуйста. – Открыла дверь в сени. – Правда, Афанасия Федоровича нет дома, но он вот-вот подойдет. Столярничает где-то, косяки на колхозную стройку готовит. – Посмотрела в окно. – Да вы не стойте у порога. Проходите. Я сейчас чайку поставлю. – И она захлопотала у самовара.

Я знал, что Стенников комбайнер. Дело свое любит, большой мастер уборки хлебов. Пятеро его сыновей прошли школу возле отца, любят технику, старшие двое механиками работают, третий шоферит, еще двое – слесари. И, вдруг, столярничает Стенников?...

Минут через двадцать скрипнула дверь, вошел хозяин. Высокий, сухощавый, лицо побуревшее от ветров, чуть с горбинкой нос, под дугами бровей живые, с искоркой, глаза, в них разлита душевная теплота. Поздоровался, снял шапку и полушубок, подошел:

– Афанасий Федорович, – проговорил, сжимая в крупной и сильной ладони мою руку. – С Анной Гавриловной, наверное, уже познакомились? – Он посмотрел в сторону хозяйки.

Извините, но забегаю вперед скажу, что все годы, сколько знал Стенниковых, никогда не слышал у них в семье грубого слова, или чтобы муж или жена называли друг друга не по имени и отчеству. В большой дружбе они вырастили и воспитали пять сынов и пять дочерей. И тут Герой!

Разговор продолжили уже за столом, накрытым Анной Гавриловной.

– Значит, удивляетесь, что столярничаю? Обычное для нас, пожилых, дело. Этот дом, застрой весь – тоже от бревнышка до бревнышка вот ими срукоделил. – И он поднял над столом свои

шершавые ладони. – Сам и окна окосячивал, рамы и двери мастерил.

Говорили мы долго и обо всем. Я попросил Афанасия Федоровича рассказать о его боевых делах. Он задумался, махнул рукой.

– Как-то корреспондент один тоже приезжал, про эпизоды выспрашивал: сколько танков подбил, сколько немцев уничтожил, нет ли фронтового дневника у меня? Орденские книжки смотрел. Сожалел, что записей я на фронте не вел. Беседовали долго, а вижу – уехал недовольный. Вы, говорит, все о других рассказываете, а мне о вас написать велено.

А что я о себе расскажу? Сколько танков подбил? Так я же не один подбивал – расчет. Зачем же я славу всех на себя брать стану? На войне в одиночку героем быть почти невозможно, особенно у нас, в артиллерии. Только с товарищами ты силен, ты боец и герой. И дневников не писал. Выйдешь из боя, остался жив, ну и слава Богу. Какой там дневник – копать бы с себя смуть, портянки высушить. Да и грамотенки-то у меня – один класс на двоих с братом, – и заулыбался. – Раньше ведь как бывало? В первую голову научись коня запрячь, травы накосить, ремесло всякое освой, что по хозяйству надобно. Сызмальства тому и учили. Бывало, мозоли на руках вспыхнут, в кулак не вмещаются, зато наука – на всю жизнь. К грамоте спрос был невелик: пятаки сосчитать, расписаться можешь – и грамотей.

Стенников рассказывал зримо, как художник рисует картину. И, слушая его, мысленно я видел деревню Речкино, разбежавшуюся избами по берегу Тобола, росным конотопом вместе с Афоней сбегал к воде, закидывал удочку в малиновую от зари воду, бросал в корзинку красноперых красавцев окуней, гонял с мальчишками в перегонки на лошадях, учился на комбайнера, жал свое первое поле, баюкал у колыбели детей и ехал на фронт в сорок первом. За окнами вагона пронеслась закутанная в скорбь Россия, поседевшая от снегов, как мать в горе, и грозная, как тяжелый молот, занесенный могучей рукой для удара.

Паровоз от быстрого бега задыхался в сером пару. «Под-Москву, под-Москву!», – выстукивали колеса. Но перед столицей эшелон повернул на юг и разгрузился на маленькой станции. Сибирская дивизия в пешем порядке заняла позиции у села Красино, на пшеничной полосе, по самые колосья забитой снегом. И



кормилице-поле стало для хлебопашца рубежом, где надо было стоять насмерть. Оно укрыло сынов своих по самые плечи на своей груди, а когда фашисты танками перерезали пути снабжения дивизии, кормило солдат зерном своих колосьев, помогло выстоять.

Летом в 1943 году дивизию, где служил Афанасий Федорович, бросили под Касторную. Там немецкие танки и авиация сильно поистреляли нашу противотанковую бригаду. Но фашисты не смогли здесь прорваться: позиции насмерть стоявших заняли сибиряки. Фашисты рвались остервенело. Бои не утихали сутками. Горели земля и небо. День нельзя было отличить от ночи, а фашистские танки ползли и ползли. На батарее их осталось трое, израненных бойцов, но танки так и не прорвались. Эту битву позднее назвали Орловско-Курокой огненной дугой, а отважных артиллеристов, оставшихся в живых, наградили медалями «За отвагу». Среди них был и Стенников.

Посмотрев фильм «Огненная дуга», я спросил у Афанасия Федоровича его мнение о кинокартине.

– Примерно, так оно и было, как показано. Чего уж там! – страшно было. Страшно, особенно поначалу. Танки прут и прут. Заряжать не успевали. И горит уж сколько их, а все равно прут. Ну и мы, зубы стиснув, уперлись. Попробуй пройди!

Политрук у нас был, молоденький парнишка, фамилию его так и не успел запомнить: дня три с нами только-то и был. Пропустить немчуру, говорит, нам, товарищи, никак нельзя. Если они нас пройдут, дальше дорогу перекрыть некому. Женщин, детей сколько тогда порешат, всего понарушат разбойники. И знаешь, от слов его злости стало больше, чем страха. А ощущение такое, что твой окоп, пушка твоя последние на пути немцев, а дальше незащищенная земля, твоя семья. И от этого и умирать, и глотку фашисту порвать готов. И уже ничего не страшно. И в мыслях – только не отступить!

Выстояли мы, а политрука нашего больше нет – там, на позиции, навеки вечные и остался. Молодой, а слово такое знал, скажет – умрешь, а не отступишь, и никаким танком тебя с позиции не сдвинуть.

Наводчик Павел Михалев по уши был влюблен в своего бывшего командира.

– Афанасий Федорович? Да он мне на фронте был больше отцом, чем командиром. И не только мне, расчету всему. Где погорячей – сам наперед идет. Частенько меня наставлял: «Ты, Михалев, голову зазря под пули не суй. Она у тебя одна и не для того, чтобы каску носить, а думать. Вот и смекай». В самой сложной обстановке не растеряется. Как-то мы неожиданно батареей наткнулись на отступающую немецкую автоколонну. По силенкам-то нашим нам бы укрыться, уйти от боя, а Стенников команду дает: «Орудия к бою! По головной, зажигательным, наводи!»

Подожгли мы головной грузовик, потом по замыкающему дарили, и они факелом. А мы уже шрапнелью по колонне кроем. Больше двухсот фашистов только в плен взяли тогда, а сколько техники, оружия. И все он, Афанасий Федорович, смекнул, что отступающий немец в серьезную драку не полезет.

А вот что записано в наградном листке на старшего сержанта А.Ф.Стенникова: «Командир орудия старший сержант Стенников Афанасий Федорович в боях по прорыву долговременной глубоко эшелонированной обороны немцев на плацдарме западнее реки Одер, в районе Кинитп, 1 апреля 1945 года, при дальнейшем наступлении на Берлин, проявил отвагу, мужество и геройство. Прямой наводкой из своего орудия уничтожил одну батарею тяжелых зенитных орудий противника, стреляющих по нашим танкам.

Орудие первым было переброшено через переправу на реке Шпрее 30 апреля 1945 года и открыло первым огонь по германскому рейхстагу. В результате дерзости расчета была захвачена совершенно исправная переправа, через которую под прикрытием артогня из орудия тов.Стенникова были переправлены наши тяжелые танки. Кроме этого, расчетом уничтожено 4 полевых орудия противника, а две батареи пушек захвачены в исправности.

После того, как орудие было выдвинуто на прямую наводку у рейхстага, тов. Стенников организовал и возглавил группу автоматчиков в составе 10 человек, с которой уничтожил до 50 гитлеровцев, засевших у каменных зданий, мешавших продвижению наших стрелковых подразделений. Расчет первым подошел к рейхстагу и участвовал в водружении знамени Победы.

За дерзость, мужество и геройство в боях при форсировании

реки Шпрее, захвату переправы и штурма Германского рейхстага достоин присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.

Командир 1957-го истребительного противотанкового Краснознаменного артиллерийского полка Герой Советского Союза полковник Серов».

Как-то Афанасий Федорович позвонил, чтобы я обязательно к нему приехал.

За героизм и мужество, проявленное при разгроме фашизма, правительство Германской Демократической Республики наградило Стенникова в честь 25-летия Победы своим высшим орденом «За заслуги перед Отечеством» в золоте. Он только что вернулся из столицы и взволнованно рассказывал мне о приеме в Посольстве ГДР.

– Когда мы с Анной Гавриловной в Москву ехали, меня долго сумленье брало: «Как это, думаю, немцы и вдруг меня наградили? Не ошибся ли военком, когда проездные документы мне выдавал?» А поразмыслил и понял: может такое быть. Хоть война и никудышный пахарь, да, видать, мы тогда фашистский осот этот порядком поизничтожили, а доброе семя немецкой нации силу-то и набрало.

На вокзале нас встретили, как гостей дорогих. Анне Гавриловне моей руку целуют. Вот ведь как. В их посольстве встретился с Героями Советского Союза Егоровым и Кантария. Хорошие мужики. На войне с ними не пришлось увидеться, а тут и познакомились. Вот как в жизни случается. Нам троим золотые ордена Германской Республики и вручили.

Через пару лет в дом Стенниковых меня привели не совсем обычные обстоятельства. В область приехал Герой Советского Союза Василий Митрофанович Шатилов, бывший командир 150-й ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии. На ее долю выпала высокая и нелегкая честь штурмовать весной 1945 года логово фашистского зверя – рейхстаг.

Встречи с проставленным генералом проходили при переполненных залах в рабочих и колхозных клубах. Шатилов говорил живо и образно, со многими подробностями и деталями.

Рассказал он и о зауральце Леониде Петровиче Литваке из города Щучье. Его взвод одним из первых ворвался в здание

рейхстага и проявил там исключительное мужество и стойкость.

Шатилову задавали массу вопросов, не хватало никакого регламента. Люди провожали Героя до самой машины, когда он спешил на новую встречу.

Поздно вечером, за ужином, я спросил Василия Митрофановича, почему он ни разу не назвал имя Афанасия Федоровича Стенникова, живущего в Кургане и удостоенного звания Героя за взятие рейхстага.

– Стенникова?! В числе Героев за рейхстаг такого нет. Вы, наверное, что-то путаете. Героев рейхстага я знаю всех поименно.

И он начал перечислять фамилии и имена.

– И все-таки Стенников – герой штурма рейхстага. Я лично читал его наградной лист, бывал у него дома не раз, – настаивал я.

– Вы знаете, где он живет?

– Да, знаю.

– Тогда едем. – Он поднялся из-за стола, хотя ужинать мы только начали. Минут через двадцать я нажал на кнопку звонка у двери Стенниковых. Она открылась. Первым шагнул в квартиру генерал. Он протянул руку хозяину. Крепко ее пожал.

– Ну, здравствуй, старший сержант. Ты меня узнаешь?

Стенников смотрел на гостя пристально, но недолго.

– Нет, товарищ генерал, я вас не встречал.

– Я - Шатилов. Может быть, помнишь?

– Фамилию слышал и о вас с войны знаю, а видеть не доводилось. У меня память на лица крепкая.

– Ты штурмовал рейхстаг?

– Штурмовал.

– Так кто же у вас был тогда командиром?

– Нашим истребительным противотанковым полком командовал Герой Советского Союза полковник Серов.

– Константин Иванович?

– Так точно, товарищ генерал.

– Дорогой ты мой! Так это ты моим батальонам бросок к рейхстагу обеспечивал!

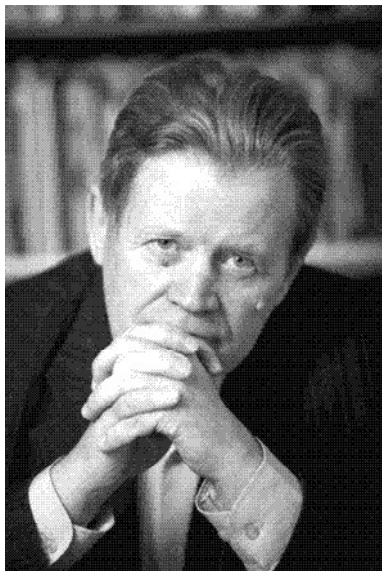
Он крепко обнял Стенникова, расцеловал и долго не отпуская из объятий, приговаривая:

– Какой ты молодец! Какой же ты молодец! Недаром, помню, Серов своих бойцов орлами всегда называл. Орел ты и есть! Настоящий орел!

Расстались старший сержант и генерал далеко за полночь.

Назавтра Василий Митрофанович начал свое выступление с

**ФИЛИМОНОВ**  
**Владимир Иванович**



**Сын участника войны**

Родился 6 февраля 1952 года в поселке Мишкино. С 1969 по 1992 году проходил службу в Вооруженных Силах на различных должностях. В 1992 году уволен в запас, жил в Республике Беларусь. В 2002 году вернулся в Курган. Работал в газете «Служим Отечеству» военного комиссариата области.

В мае 2008 года избран секретарем писательской организации. Участник 13 съезда СПР, секретарь Правления Союза писателей России.

Автор книг стихов и прозы: «Все мы родом из детства», «Пора цветения», «Капельки жизни», «Доброй раніцы, Беларусь!», «Письма с фронта. Святое имя – учитель».

В Союз писателей России принят в 2007 году.



22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Двадцатый век. Год сорок первый.  
Начало. Взорванные сны.  
Блицкриг в работе. Рвутся нервы.  
В крови холодный штык войны.

Жестоко танковые траки  
мнут километры-колоски,  
и расточительны в атаке на смерть  
пришедшие полки.

Упали с веток гнезда птичьи.  
Тыл, фронт – единая судьба.  
Лежит убитый пограничник  
у пограничного столба,

В руках – саперная лопата,  
по лезвию – клочки волос.  
Кто там сказал: «Россия – вата,  
Советы – глиняный колосс...»?

«Вставайте! – клич по русским долам, –  
к оружию и стар, и млад!».  
И добровольцы комсомола  
уже спешат в военкомат.

## ФРОНТОВОЙ ХИРУРГ

Я спать хочу сейчас.  
И только спать.  
Не более, не менее того.  
Но вынужден я встать,  
и снова встать,  
чтобы отнять у смерти  
торжество  
над плотью человеческой.  
Един  
Господь наш  
над всем сущим и велик.  
но ныне я  
и Бог, и господин.  
Сержанту – спирта!  
Пусть повеселится,  
вот этому,  
с размолотой ногой.  
Не хочет резать?  
Резать!  
Но другой  
он долго будет  
топать по землице.  
С вершины  
хирургического трона  
пришлось мне опускаться  
много раз:  
и скальпели(!) точить,  
а для тампонов  
использовать раздерганный матрац.  
Пусть проклятым мое завянет имя,  
когда в косяк  
не стукнет головой  
обрубок тела.  
Но живой, живой!  
Вернитесь все домой  
хотя б такими...

\* \* \*

В сорок пятом, в светлом мае,  
после славы и побед,  
дома, на одном дыханье  
баню выстроил мой дед!

А потом еще кому-то,  
чтоб облегчилась судьба.  
Бабка плакала: «Избу-то...».  
«Ничего, дождет изба!».

В этой бане перемылась  
вся окраина села,  
пусть по-черному топилась,  
но зато нужна была.

Еще пахла древесина,  
смолью капала доска,  
на полке дед сделал сына  
в память павшего дружка.

Что еще бывает лучше,  
если целый и живой?  
Баня! с паром вязко-жгучим  
и водою ключевой.

В бане внук уже солдатом  
мылся, в отпуск приходя!  
Умер дед в семидесятом,  
вспоминают – не судя.

## ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Нахлестом пулевые трассы  
не били больше шар земной.  
Казалось не таким опасным  
все, что осталось за спиной.



Висели стиранные майки  
на посеченном ивняке.  
И местный Теркин сыпал байки,  
небрежно сидя на пеньке.

Вовсю плясали в боки руки  
досель суровые полки,  
латались порванные брюки  
и подбивались каблуки.

Медали чистились суконкой,  
спалось впервые до утра,  
а в медсанбате пела звонко  
всегда молчавшая сестра.

Шли эшелоны сквозь вокзалы  
к восходу от заката дней.  
И было очень-очень мало  
отцов дождавшихся семей.

#### МАТЕРЯМ РОССИИ ВОЕННОЙ ПОРЫ

Святые матери России -  
истоки света и любви!  
В какой животворящей силе  
вы нервы черпали свои?

Откуда вам хватило воли  
от гроз войны не умирать,  
днем дотемна работать в поле,  
а ночью шить, варить, стирать?

От горя выли под тулупом,  
лишь в этот миг забыв детей,  
а утром вновь делились супом  
на две, на три, на пять частей.

Поправив фитилек на плошке,  
как будто ваша в том вина,  
несли вы с погреба картошку  
с последней горсточкой зерна.

До наших дней от Ярославны  
стезей натруженных дорог  
во имя жизни, а не славы  
провел вас материнский долг.

Как тяжко... Что там руки-ноги,  
коль ежечасно, чуть дыша,  
кровит по мужниной дороге  
не зачерстневшая душа.

Приветив мать, свекровь и деда,  
делам не подводя итог,  
вершили матери Победу,  
будто большой колхозный стог.

Да как вы выжили, родные,  
имея только огород,  
когда вам сводки фронтовые  
известны были наперёд?..

За эти скорбные години  
поблекли от глухой тоски  
воспетые в стихах былинных  
глаза, как в поле васильки.

...Все ваши дети вышли в люди:  
мужей исполнили наказ.  
Я верю, что когда-то будет  
в России памятник про вас.

**ЧЕРЕМИСИН**  
**Борис Ефимович**  
(17.08.1950-30.05.2009)



### **Сын участника войны**

Родился 17 августа 1950 года в городе Шадринске. После окончания школы поступил в Шадринский государственный педагогический институт на факультет русского языка и литературы. После института работал учителем литературы в школе. Затем служил в армии. Далее был приглашен на работу в Шадринский пединститут в качестве ассистента. В 1980 году закончил аспирантуру Московского государственного педагогического института им. Ленина. Защитил кандидатскую диссертацию. Заведовал кафедрой литературы.

Автор нескольких поэтических сборников, в том числе: «Изморозь времени», «Зовы любви», «Души сиреневые тени», «На перекрестии душ и времени» и других.

В Союз писателей России принят в 1999 году



## СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ

(вспоминает мама)

*Н. Марковой*

Прошел весенний бесшабашный дождь,  
Смешавший запах свежести и пыли.  
Мы шли с уроков. День был так хорош,  
Что вместе, классом, сняться мы решили.  
Фотограф пожилой, не тратя слов,  
Добавил освещения в плафоне,  
Чтоб ряд славянских золотых голов  
Смотрелся ярче на глубоком фоне.  
И были все чарующе юны –  
Кто жмурился, а кто-то улыбался...  
До самой страшной на земле войны  
Не знали мы, что месяц оставался...  
Большие парни с лицами детей  
На раскаленном, плачущем вокзале  
От плеч своих ладони матерей  
Дрожащими руками отрывали...  
А снимок жил. И в нем таился след  
Улыбок нежных, глаз по-детски хмурых.  
Вдруг аспидно-зловещий силуэт  
Закрыв одну мальчишечью фигуру.  
За ней – вторую, третью и... сравнял  
Солдат убитых с черным, ровным фоном,  
Как будто кто-то тушью заливал  
Живые лица с тяжким, долгим стоном.  
... Виски покрылись горькой сединой,  
И наше братство сильно поредело,  
А живописец кистью ледяной  
Все черное свое свершает дело.

**ШУШАРИН**  
**Михаил Иосифович**  
(27.12.1924 – 9.03.1996)



**Участник  
Великой Отечественной  
войны**

Родился 27 декабря 1924 года в селе Рассвет Мокроусовского района. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими.

После войны закончил Курганский педагогический институт. Работал преподавателем литературы в сельской школе, редактором районной газеты, заведующим отделом областной газеты «Советское Зауралье», редактором Южно-Уральского книжного издательства.

Автор книг прозы: «Родники», «Фотькина любовь», «Роза ветров» и других.

В Союз писателей СССР принят в 1981 году.



## ФОТЬКИНА ЛЮБОВЬ

(отрывок из повести)

Елизавета Яковлевна не понимала своего мужа. Когда во время войны Сергей Петрович вернулся по ранению домой, ему предложили работу в райзо, работу с хорошей зарплатой, персональной машиной. Он разозлился, побежал в райком партии и настоял на своем: уехал в деревню рядовым агрономом. В год, когда они поженились, Елизавета поступила на заочное отделение ветеринарного института, сидела ночами, штудирова учебники. Он сказал: «Пока шесть лет учишься, сколько скота передохнет в колхозе». Елизавета устроила ему сцену, хотела бросить и уйти навсегда, но не успела сказать всех злых и обидных слов: за мужем пришла энтээсовская легковушка. Сергей Петрович уехал в колхоз к Терентию Мальцеву на три дня.

Его избрали председателем колхоза, ее утвердили главным ветеринарным врачом. Радостная, счастливая сказала:

– Ну, вот! Сейчас поживем полегче.

А он взглянул удивленно и спросил совсем невпопад:

– Газеты сегодняшние где? Не знаешь?

Он был непонятен Елизавете, но ее самую понимал легко. Понимал, для чего она бьется за диплом и шумит на собраниях, для чего выучилась управлять легковой автомашиной «ветеринарная помощь» и ездит без шофера, для чего надевает по утрам кирзовые сапоги, фуфайку, шапку и долго любит себя в зеркало. Не любит она колхоз и деревню! «Ужасная» занятость ее – фальшь. Ни одного дельного совета не слышал он из ее уст. Все было за штемпелем, по указке. Многие не выполнялось, а потом совсем забывалось.

Елизавета была красивая женщина, и Сергей после нескольких лет семейной жизни сделал неверный вывод, будто красота и глупость живут рядом. Елизавета была вовсе не глупа. Но она строила свою жизнь по другой схеме, противоположной Сергеевой. А за свое добро постоять умела и дралась нещадно.

Был такой случай. Дом, в котором они жили, стоял у больша-

ка. Дни и ночи, натруженно побряхтывая, проходили перед окнами грузовики. Однажды ночью, разбуженная ревом моторов, Елизавета вышла во двор и не обнаружила выращенного на мясо породистого теленка-годовика. Накинув полушубок, схватив со стены переломку, бросилась к газику, постоянно стоявшему во дворе, рванула вслед за грузовиками. Она быстро обогнала колонну и, поставив газик поперек дороги, выстрелила в воздух. Грузовики остановились.

– В чем дело? - спросили ее.

– Отдайте теленка. Вы его с собой прихватили!

– Какого теленка? Бог с вами! Обыщите!

Елизавета проверила все машины, заглянула в каждый кузов и, не найдя пропажи, укатила назад. А, заезжая во двор, увидела своего питомца мирно дремавшим в лопухах.

Наутро позвонил председатель соседнего колхоза:

– Слушай, Петрович, что там за баба на твоей территории шизует? Остановила вчера наших шоферов. Сама с ружьем, в полушубке, без юбки. Обыск сделала, вроде как они теленка украли... Так нельзя! Мы обидеться можем... Колонна эта – все ударники... Теленок тут ни при чем.

– Ладно, – краснея, проговорил Сергей Петрович, – разберусь.

...Когда Яковлев слег, Елизавета почти каждый день стала приезжать домой пьяной. Валехнется на кровать, пощипет его глазами и начинает говорить:

– Значит, болеешь, товарищ Яковлев? Итожишь жизнь? Кому, к черту, нужна наша с тобой жизнь, кроме нас самих? Ты, поди, думаешь память о себе оставить... Вот, мол, бился, горел человек. Ни хрена, никакой памяти не будет... Все люди черствые и злые, и воры... Каждый себе прет! Это только ты, дурачок, святой... Ох-хо-хо...

Она засыпала, широко открывая рот, храпела взхлеб, пострашному. Чужая. Ничем, кроме свидетельства о браке, не связанная с Сергеем Петровичем. Ни другом, ни единомышленником, ни матерью его детей не стала Елизавета... Красивая женщина, молчаливо согласившаяся терпеть его, извлекавшая из этого союза житейское благополучие.

Сергей Петрович раздражался от таких мыслей. Ругал себя, осуждал. А когда она молча уходила, забывал все. Перед глазами проходили видения прошлого.

...В тот первый бой Сергей, кажется, был на грани безумия. Фашисты истребили весь батальон. Он остался один. Видел, как лежавший на бруствере второй номер истекал кровью... Она бежала маленьким, замирающим ручейком, впитывалась в песок... Солдат умер быстро. Сергей хлестал длинными очередями, кричал и ругался:

– Получай! Получай! Гад!

Взрывом его отбросило от пулемета. Очнувшись в лагере военнопленных, увидел кровоточащие руки, ноги, живот. Значит, его били, оглушенного взрывом. Сидевший рядом солдат рассказал, что от ворот Сергея тащили двое фрицев. накинув на шею алюминиевый провод. Лагерь – обнесенная колючей изгородью солончаковая площадка без единого строения, кустика. Грязное болото, кишасщее измученными людьми. По ночам часто шли дожди, спавшие на измочаленной соломе пленные жались друг к другу. Каждое утро к воротам подтаскивали мертвых, укладывали в штабеля. Грузовик с решетчатым кузовом отвозил трупы к врагу.

– Ауфштейн! Встать! – еще до свету прожектор вырывал из темноты копошащиеся человеческие фигуры.

Кормили черной похлебкой из неочищенного картофеля, гоняли на работу к железнодорожной ветке. И били. Били постоянно. Сергей начал терять силы и с каждым днем все более ожесточался.

– Гад буду, уйду, – шептал он.

В последнем ряду колонны ходил на работу низенький, широкоплечий, тоже скрывавший свое звание лейтенант. Он предупреждал Сергея: «Не рыпайся раньше времени. Подожди». Вскоре Сергей заметил, что лейтенант разговаривает с русским полицаем, вертким, чернявым парнем. Увидев начальника колонны, полицаи заорал на лейтенанта, замахиваясь дубинкой: «А ну, работать, сволочь!» В этот же вечер, укладываясь в солому, лейтенант сказал Сергею: «Тут поблизости партизаны гуляют... Скоро ночью загорится немецкий фуражный склад. Это – сигнал. Весь лагерь должен уйти в леса. Скажи об этом, кому веришь».

Пожар вспыхнул на следующую ночь. Зарево обняло полнеба, лагерь зашевелился. Однако автоматная очередь с вышки



прижала всех к земле. И тут, как приказ, прозвучал голос лейтенанта: «Вперед, товарищи!» Он вытащил из соломы немецкий парабеллум и ударил по вышке. Со скрежетом рухнули ворота. Толпы военнопленных ринулись к выходу. Несколько фашистов из охраны разрезали вырвавшуюся за пределы лагеря толпу на две группы и огнем погнажи к оврагу.

Сергей понял: загонят в овраг, перестреляют, а завтра, тех, кто остался в лагере, заставят закапывать убитых.

Лучше смерть сейчас! Бросился вперед, упал: автоматная очередь взрыла землю совсем рядом. Сергей рванулся в сторону, побежал в темноту. Немцы били из автоматов вслепую, и Сергея охватило чувство дикой злобы и какого-то необъяснимого ухарства: «Стреляйте, гады! Стреляйте, ироды проклятые! Шакалы!» У сухого кочкарника свалился. Как зверь, на четвереньках, запрыгал между кочками, все дальше и дальше от лагеря.

Его нашли разведчики из партизанского соединения капитана Михайлова. Притащили в штаб. Увидев капитана, Сергей попытался козырнуть и доложил:

- Лейтенант Яковлев. Попал в плен к фашистам. Застрелиться не успел. Был без памяти.

- Застрелиться никогда не поздно, - пыхнул папиросой Михайлов. — Мы проверим. Если изменник - сами будем судить!

- Проверьте.

- Ваша военная специальность? - спросил капитан.

- Артиллерист. Пулеметчик.

- Артиллеристов нам надо... Можете ли вы сейчас выполнить задание нашего командования?

- Ослаб я, товарищ капитан... Ноги не держат.. И горло, видите, проводом порезали...

Капитан слушал внимательно.

- Дайте поспать, - попросил Сергей и, не обращая ни на кого внимания, упал на лавку, заснул. Михайлов выдернул из кожного портсигара новую папиросу, прикурил.

- Унесите его в лазарет, в отряд к Осипяну. Пусть кормят, лечат!

Заросший черной бородой разведчик вытянулся:

- Есть, товарищ капитан!

...Сидел у кровати Прокопий Переверзев.

- Петрович! А, Петрович! Вот настойку я принес. Говорят, выпьешь - легче будет.

- Легче? Ну, давай, попробуем!

- Давай, - обрадовался Прокопий, доставая из кармана бутылку. Налил по рюмке, выпили. Настроившийся на благодушную беседу Прокопий увидел, что Сергей вновь впадает в беспамятство, и при- молк.

Бабка Анна пришла поздно вечером с судками, тарелками, с горячими щами, биточками, варениками, со своими, только ей принадлежащими, мыслями. Выгнала начавшего хмелеть Прокопия, а Елизавете сказала:

- Ты пошто не следишь за ним? Ты что, около него только богатство наживать хочешь? Гляди, богатство от смерти не спасает!

Пьяная Елизавета испугалась строгих глаз бабки Анны:

- Извините. Я как лучше хочу!

- Хотеть-то, девка, мало. Надо робить!

Эта девчонка, партизанская санинструкторша Наташа Ковригина – бой-девка. Принесла тазик, недро горячей воды, белье.

- Снимайте вашу амуницию, товарищ лейтенант!

- Да что ты? Как же?

- Сбрасывайте все: штаны, гимнастерку. Побыстрее.

- Ну, отвернись хоть.

- Здрате! – она погладила его по заросшим щекам, размотала бурую от крови повязку на шее. – Я буду его обрабатывать с зажмуренными глазами. Какой стеснительный! Паинька.

Потом осмотрела его еще раз с головы до ног, рассмеялась:

- Не надо раздеваться, товарищ лейтенант. На вас одни ремки. Сейчас. – Достала из сумки ножницы, расстригла, начиная с ворота, гимнастерку, бросила тряпье в угол. Сергей вздрагивал и стонал: нательная рубашка присохла к ранам, было нестерпимо больно... Голый, в кровоподтеках, он сидел на деревянном топчане.

- Кто же это вас так?

- Спрашиваешь!

И тут она неожиданно шагнула к окну, ссутулилась и заплакала. Заплакала навзрыд, не жалея слез.

– Будь они вечно прокляты!

Почти месяц, а точнее – двадцать шесть дней, держала она Сергея на носилках.

– Вон кровать, а я тут на брезенте?

– Сразу видно – не партизан. Командир наш знаешь как это называет? Держать раненых в полной боевой. Если надо уходить – возьмем тебя – и на телегу. Понятно?

– Я – не раненый.

– Не раненый, а на шее шрам на всю жизнь останется... На волоске ты, Сережа, был...

– Ерунда.

Когда тело начало очищаться от струпьев, он, от природы смелый и даже дерзкий, сказал ей:

– Как думаешь, для того, чтобы полюбить, надо видеть любимого, как ты меня?

Она побледнела.

– Не надо, Сережа. Не время.

Все правильно. Не время влюбляться. В партизанском соединении Михайлова существовал неписанный закон: «Пока не уничтожим фашистского зверя и не освободим Родину – нет для нас женщин и нет любви!» Но любовь не подвластна приказам и относительно регулируется законами. Провожая Сергея в отряд, Наташа, расслабившись, безотчетно целовала его.

... – Слушай, лейтенант! Может, ты не артиллерист; а шпион, – говорил командир отряда Никола Осипян, накрыв волосатой рукой немецкий парабеллум, лежавший на столе стволом к Сергею.

– Не оскорбляй, – едва сдержался Сергей. – Иначе получишь! Осипян засверкал белыми зубами – смеялся.

– Шутки шутить нечего, – продолжал Сергей. – Говори дело.

– Понимаю. Извини, – утихомирился Осипян. – Смотри карту. Вот река. Тут лес, а вот небольшое село Починки. Там гарнизон фрицев... Староста – предатель. Вешают наших каждый день... Надо гарнизон и старосту убрать. Продовольственные склады захватить, оружие – тоже.

– Ну?

– Михайлов приказал нашему отряду взять Починки. А как взять? Под огонь пойти? Крови много, ох, много! Пулеметные

заставы вокруг села.

– Что вы предлагаете?

– Идти на хитрость. Пошлем, понимаешь, парламентаров с белым флагом. Пусть скажут: «Скоро зима, партизаны голодают, хотят сложить оружие». А с юга всем отрядом, понимаешь, налетим, закрепимся в селе!

– Не пойдет! – Сергей не обратил внимания на заигравшие в глазах командира бешеные огоньки. – Почему? Вот почему. Во-первых, немцы не поверят, что партизаны сдаются, во-вторых, встретят парламентаров пусть даже два взвода, все остальные останутся на местах и польют конников огнем. Погибнут парламентары, побьют и остальных партизан.

– Ты чего хочешь? Ты говори! Сам капитан сказал, чтобы ты помогал составить план. Ты – умная артиллерия!

– Дай взвод автоматчиков и пушку, вон стоит старая сорокапятка... Снарядов штук двести.

– Ты что, с ума сошел? Двести снарядов. Пошел ты к черту!

– Вот здесь, в лесу, – продолжал Сергей, – поставим пушку, будем с утра бить по заставам и через каждый десяток выстрелов менять позиции; будем палить из автоматов как можно шире по фронту... Немцы зашебуются обязательно и подтянут к лесу главные силы... Вот тогда ты и шуруй с юга... Режь старосту, бери село!

Осипян долго молчал, впившись глазами в карту и потирая небритый подбородок, потом со свойственным южанам темпераментом треснул по карте костлявым кулаком:

– Слушай, лейтенант! Ты знаешь кто? Ты – стратег!

Он выскочил из-за стола и начал приплясывать по комнате:

– Ай да лейтенант! Ай да бравая артиллерия!

Но капитан Михайлов, когда ему доложили о плане, не радовался. Он внимательно разглядывал Сергея, как обычно пытаясь папиросой, спрашивал:

– Вы понимаете, лейтенант, всю сложность вашей задумки?

– Понимаю, – Сергей не отрывал взгляда от его холодных глаз.

– Значит, на смерть?

– Умереть, товарищ капитан, можно и у себя дома, за печкой.

Едва заметная улыбка тронула лицо Михайлова.

– Это так.

– Мы отвлекаем главные силы противника. А конники налетают с юга.

– Ну что ж. Ваш план принимаем. Вы, Осипян, завтра в четы-

**ЮРОВСКИХ**  
**Василий Иванович**  
(25.12.1932-26.04.2007)



**Сын участника войны**

Родился 25 декабря 1932 года в селе Юровке Далматовского района. После службы в армии работал литсотрудником районных газет. Учился заочно в Уральском госуниверситете на факультете журналистики. С 1976 года – на творческой работе. Издал более 20 книг прозы. Печатался в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Сельская новь», «Урал», «Подъем» и других изданиях.

Лауреат Большой литературной премии России, учрежденной Союзом писателей России и Акционерной компанией «АЛ-РОСА» (Якутия-Саха) за 2002 год, премии губернатора Курганской области. Награждён медалью «За трудовую доблесть», Почетной Грамотой Верховного Совета РСФСР (1982).

В Союз писателей СССР принят в 1975 году.



## ПО ДРОВА

Вчера завуч школы Нина Ивановна Крысина – она у нас самая строгая и красивая не только среди учительницы, а и по всей Юровке – отпустила наш третий класс домой. Мы ждали свою учительницу – веселую и тоже красивую Клавдию Никитичну Резанову, но вместо нее появилась завуч и грустно сказала:

– Клавдия Никитична заболела. Я вам дам задание на дом по всем предметам, а через два дня она выздоровеет...

Быстро обмакивая перышки в чернильницы-непроливашки, мы записали чернилами из сажи домашнее задание и следом за Ниной Ивановной (в классе было холодно и сидели в верхней одежде) выскочили на крыльцо. Сухой ледящий мороз мигом заставил ужаться и нахохлиться, да не просто бежать и радоваться, что нам два дня не заниматься, а лететь длинной улицей с Одины через всю Юровку. Лететь, не чуя ног, обутых в старые с братовой ноги, коричнево-черные от заплат ботинки. Снег под ногами не скрипел, а звенел, как первый лед по голу на Маленьком озерке. В такую стужу не до игр-баловства, никто никого не толкал в сугробы по сторонам натопанной тропинки. Суметы до того выкалились декабрьскими морозами, что к ним уже не подходило слово «зачерствели» - они окаменели, и когда я подскользнулся, то правое колено расшиб в кровь.

Возле большого дома, где жила Клавдия Никитична с отцом, директором школы, и младшей сестрой-учительницей, я ненадолго остановился. Хотелось зайти и узнать, отчего она захворала, однако не пересилил робость. В ихнем доме, не дальше порога, я бывал много раз: Клавдия Никитична давала мне единственному из класса читать свои собственные книги. А тут непонятно почему, но подошвы моих ботинок как бы пристыли к речной наледи. Поглядел-поглядел я на затянутые инеем стекла окон и с места рванул домой. Может, мама в детдоме у воспитателей узнает про Клавдию Никитичну.

С площади у клуба, где с войны поселился детдом, я не заулком, а прямо от пожарки миновал загон для пожарных лошадей маминной дорожкой и с маху, ловко откинул деревянную запорку снутри сеней. Бывало, не враз ее нашаришь просунутой рукой

через узкое, в два бревна, окошечко, а тут кто-то больно хорошо угадал запорину в самый притвор дверей, наверное, брат Кольша, а не сестра Нюрка. Мама затемно ушла стараться в детдом, а Кольша оставался прихватить дратвой обсоюзку на пимешке. Он, поди, и на первый урок опоздал?

Еще на стукоток ботинок по тверди заливка сугроба у колодца из копны осоки высунул свою умную, сразу закуржавевшую морду пес Индус. Ему, кормильцу-охотнику и верному сторожу, хотелось и не хотелось вылазить наружу из обогретого гнездовья, и я пожалел Индуса. Подбежал и сунулся лицом к нему, а он в благодарность лизнул меня розово-шершавым языком.

– Ладно, ладно, Индусушко, ты уж лежи в своем гайне. А то после пуще зябнуть начнешь! – погладил я Индуса по голове и смахнул куржак с его носа и ушей.

В избе живо разболочка и запрыгнул в верхний голбец, а потом, когда отошло тело с улицы, залез на печь читать страшную для меня книгу Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Вечером на огонек завернула бабушка Лукия Григорьевна узнать, есть ли какие вести от тяти и дяди Вани, а от дяди Андрея ждать было нечего: он погиб на глазах соседа Александра Федоровича.

Не успели они с мамой толком поговорить – в сенцах сгремело пустое ведро и распахнулась избная дверь. Когда расплылся холодный пар, на лавке у стола уже сидела коротконогая толстуха Мавра – дочь бабушкиного соседа Ивана Яковлевича, самая болтливая и суетливая баба на селе. Жила она в городе, а как проводила мужа на фронт, вернулась к отцу, дедушке Ивану, которому шел, по словам бабушки, девятый десяток. После «здорово живем», Мавра затараторила:

– У тя, Варя, и крылечко скоблено, и в сенях-то чисто, и в избе-то половицы, как яичный порошок. А вон у Олександры Коченковой, што та катушка и крыльцо, и в сенях-то я базнулась, подскользнулась. И у Анны-то Задориной, бригадирши-то, рученьки не доходят до своей избы...

«Пошло-поехало», - вспомнил я мамины слова про Мавру. Вспомнил и то, как дедушко Иван Яковлевич вздыхал у бабушки:

– Ну в кого, в кого она уродилась, а? И в нашей породе, и у

покойницы жены сроду не бывало таких трещоток и неумех. Завчала тут пол мыть, сполоснула три половицы и скрутилась куда-то, осередь избы ведро с вехтем и половым ножиком бросила. Я сам и домывал. И пошто ей за людьми доглядывать охота, и болтать про них, а сама... Сама все на полдороге бросает. Ежли Степан, мужик-то ее, воротится с войны – хватит с ней лиха. Оно ить и в городе управы по дому хватает.

Снова я уткнулся в книжку и отнялся от страстей про Вия, когда мама громко сказала бабушке:

– Ну так завтра с Васькой и сходите на санках по чашу. Все одно ему не в школу. У Клавдии Никитичны жениха убило на фронте.

Пальцы у меня тут же ослабли, и книжные страницы перепутались: а завуч-то нам говорила, что заболела учительница... На самом-то деле погиб ее жених, карточку его я видел, в рамке на простенке висит. Хороший у Клавдии Никитичны жених, писанный красавец, лейтенант с двумя орденами и медалью. И вот... нет его в живых, страшно подумать... Война-то с немцами куда страшнее, чем у Гоголя в книге.

– Это почему же на санках? – встряла сразу же Мавра. – С первого дня в колхозе со всеми ребятами робила, трое сыновей сыновей на фронте, Андрюша погиб, а тебе, Лукия Григорьевна, даже быка не дают. Позор – старый да малый на себе повезут чашу! Жаловаться надо, вплоть до района, а то и дальше! Да и Василию в ботиночках, заплатка на заплате, по всей зиме экую даль в школу бегаешь! Чуть не в самую Макарьевку... И без того испростужены парнишки, я бы, будь у меня дитенок, с печи не спускала, до самой победы над Гитлером.

– Бог с тобой, Мавруша, разве можно жаловаться!? Война, лошадей в бригаде раз-два и обчелся, а тут обоз с зерном собирают на станцию. Хлебушко повезут для фронта. Нет, нет, Мавра! В жизни отродясь ни на кого не жаловалась, а на колхоз и подавно. Такая война и... жалобиться. И воевать что, с каждого двора кто-нибудь воюет, и не по одному мужику. Вдов да сирот сколько, а стариков и старух разве мало? Не-ет, мы с Васькой и на санках... Далеко ли до Мохового...

– Правильно, мамонька! – согласилась с бабушкой мама, – я стирку домой взяла, мои пимы и наденет Вася. Онучей потолще



наматает и ладно будет. а на руки отцовы мохнатки с исподками. Пораньше только идите, раза два успеете привезти сухостоя и чащи. И пущай Вася у тебя переночует.

... Я забрал с собой школьную сумку из мешковины, а Гоголя не взял. Лампа у бабушки пятилинейная, и керосин нужно беречь. Да и без книжки она мне всякого навспоминает...

Дома бабушка протопила подтопок и не на углях, а на золе напекла картошки. Печенками с солеными груздями мы и отужинали, я выполнил домашнее задание и забрался к бабушке на печку. Там и без окутки было жарко. А пока не уснули, она к делу вспомнила, как дядя Андрей с дядей Ваней смастерили самокатную тележку.

– И нужды-то никакой не было, а Ондрушке с Ваньшей страсть хотелось что-то изладить свое. Вот они и придумали тележку возить дрова и сухостойник. Нашли колеса от старых плугов, шестеренки там всякие, цепи комбайновые и железные ручки сковали. Сядут, быстро туда-сюда, и тележка сама бежит, а в кузовок што угодно клади. А то девок насадят и ну их катать, визгу и смеху на весь заулок!

Я молча пожалел, что воюет дядя Иван и погиб дядя Андрей.

... Синий, скрипучий холод разливался по небу и снегам, когда мы отправились с бабушкой к болоту Моховому. На выходе из Юровски я оглянулся на крайний дом дружка Осяги: окно напротив печного чела слабо краснело, а над трубой дрожал столбик дыма. Осягина мать Мария Федоровна первой в околотке растопила печь и без керосинной лампы хлопотала у столешницы на середе. Впереди, на юго-востоке, за дальними лесами и угорами светлели на небе ущербный месяц и выше его – яркая звезда. Казалось, он запрокинул тонкое личико и глядел-глядел на свою небесную спутницу.

Бабушка тоже смотрела из заиндевелой шали на небо и, любуясь, шутила:

– Ишь, набегался месяц-то за звездой-матаней, иссушила она ево, иссох, как щепка!

Позади остался первый осинник по обеим сторонам дороги, и длинная грива тальников среди пашен, затонувших в сугробах по самые макушки. Любят здесь кормиться зайцы: сугробы твердые, не следы, а царапинки от когтей еле заметны, лишь по ску-

санным молодым веточкам да шарикам-говешкам ясно, кто тут столуется.

Дорога скатывается в низину, куда из больших лесов весной синё воды утекает в Степахин лог, а из него – в речку Крутишку. Птицы тогда на разливе пестрым-пестро – утки, кулики, пигалки... Подпускают нас близко, чувят нутром, что из палки по ним никто не выстрелит. А эвон там, справа, полевой стан бригады, так на болотце возле избушки чирков, как воробьев под сараем....

На ходьбе мы не зябнем, а как вошли в березняки – стало еще теплее. И утро выдалось не здоров морозное: вон небо запросвечивало за березами розово-зеленое, с палевой поволокой, и откуда-то облачка взялись, словно головы жеребят с малиновыми гривами. И мне кажется, что та большая звезда выше месяца первой видит солнышко. Интересно, видят ли сейчас тятя и дядя Ваня, как радуется солнцу недоступная пушкам лучистая звезда? Эх, да разве до этого им на фронте?..

– Чего, Васька, закручинился? – слышу я бабушкин теплый голос. – Вот мы и дотопали с тобой. Токо сперва промнем дорожку на вырубку и до кустов Лепехиной болотинки.

Я опережаю бабушку и начинаю торить дорожку. Мне в маминых валенках даже удобнее: правда, голенища чуточку жмут в паху, но зато и снег не зачерпывается. Бабушка смахнула иней с ресниц и вокруг лица с шали, дивуется на снежную убродину и потихоньку двигается за мной с обеими санками.

Вот снег примят-притоптан до куц чащи и вершинок срубленных по голу берез, и бабушка распочинает первую кучу подсохших сучьев. А я высматриваю сухостоины и в поту добираюсь до матерущих таловых кустов Лепехиной болотины. Ее назвали по прозвищу Юровского силача Лепехи. И бабушка, и тятя рассказывали, какую нечеловеческую силу имел бобыль Лепеха. Если на пути попадались ложки и грязь, он выпрягал свою Рыжуху, и хоть что там на возу – сам в оглоблях одолевал препятствие.

Однажды ездил он зимой молоть зерно на Полушиху – так называли водяную мельницу в селе Першино на речке Теча. Занял, как полагается, очередь, пока помогал другим мужикам таскать мешки на засыпку к жерновам, пролез вперед его хитрый и богатый Оська из деревни Притыка.

– А Лепеха-то был до того спокойный – ни с кем в жисть не дрался! – дивилась бабушка. – Да и разве можно с его-то силой драться?! Зашибет голым кулаком любого!

Стерпел Лепеха, пусть и шумели мужики на рыжего Оську – и стыдили, и требовали у засыпки не молоть его мешки. Но пока тот суетился на мельнице и радовался, что и здесь он объегорил простофилю из Юровки, Лепеха «схоронил» ему в розвальни под сено чугунную «бабу», которой забивают сваи и которую поднимают большой артелью. Уложил аккуратненько Оська свои мешки с мукой и хотел рысью тронуть сытого и дородного мерина, а он... ни с места. И плеть не помогает, как пришиты сани.

На то и хитрый был Оська: догадался, в чем дело, и мешки долой, сунулся под сено, а там «баба». Мужики гогочут, дескать, так тебе и надо – жадному да нахальному, а Оська плачет в рыжую бороденку и на колени встал перед Лепехой:

– Прости ради Христа, в жисть боле не полезу без очереди, токо убери чугунину.

– Четверть вина ставь мужикам на угощение, тогда убери! – молвил не больно разговорчивый Лепеха. А сам он, по словам бабушки, не брал в рот хмельного и табака не курил. Оське пуще слез жалко денег, а куда деться-то? Если артель мужиков нанимать – еще дороже обойдется. Выставил.

...Ну, по Лепехе и тальник выдурел: в жердь толщиной! А сушины таловые топору не враз поддаются, зато как свалишь какую – почти целый возок в санки. Бабушка на свои и мои наострила чащи, а я готовлю талины для второго захода. И не заметил, как выкрутилось большое красное солнышко, и не стало на небе ни звездочкиной улыбки, ни ее самой.

– Васька, полно тебе! – окликает меня с пенька бабушка. – Вон чо наворочал, упарился весь, не застудись!

Я сажусь передохнуть на очерневший по срезу пенек, подложив под себя тятины мохнатки из собачины. Оглядываюсь и припоминаю, как вон справа на мыске мы тоже по сушняк приезжали с дядей Андреем, не с санками, а на лошади. Дядька прихватил с собой самодельный поджигатель с длинным стволом и крепкой отполированной рукояткой.

– Это маузер называется, в кино у матроса я видал, – объяснил он мне. – А испробуем его в лесу по дичи.

Только мы слезли с саней и зашагали на мыс, как из-под вершины с посохшими бурыми листьями выскочил белый заяц и не утек в болото, а сел на задние лапки в прогалинке. Дядя Андрей зажал в левой руке «маузер», правой чиркнул спичку и быстро сунул ее к дырочке в трубке, к дымному пороху. Я спрятался за комель толстой березы и со страхом ждал выстрела.

Грохнуло куда сильнее, чем из тятиной «тулки», и голову дяди Андрея я долго не мог разглядеть в дыму. Что-то засвистело по лесу и я припал к березе и зажмурился. Поднял меня на ноги правой рукой дядя Андрей, левая возле большого и указательного пальца была в крови.

– Лешак меня возьми! – бранил себя дядька. – Пороха-то здорово напыжил, разорвало мой маузер. Ствол улетел назад, звон в березу впился – топором не вырубить...

– А заяц? – робко спросил я и заметил по лицу дяди Андрея черно-синие точки.

– Не попал в зайца, Вася, – махнул он здоровой рукой. – И лицо порохом засорило, теперь на всю жизнь под кожей поросины буду носить.

Сушняку наворочал дядька и одной рукой, а левую после того, как я «побрызгал» на рану, завязал куском материи от нательной рубахи. Рука у него быстро зажила, у бабушки травы на все болезни имелись, только огнестрельные «маузеры» он больше не мастерил, а выпиливал-выстругивал из досок деревянные винтовки и наганы.

– Ай, да молодцы, ай, да молодцы, – расхваливала нас мама, когда я отдал ей валенки и она побыла у бабушки. – Не стыдно и мне перед твоим крестным, добро помогаешь бабушке. Так и отпишем ему на фронт. Пусть Иван не волнуется за мать.

Я обсыхал от пота на печи и никто не заметил, какими счастливыми были у меня глаза: не проиграл на улке с ребятами в пряталки, не просидел на печи с книжкой, а помог бабушке запастись для подтопка чащи и сушняка.

Клавдия Никитична пришла на занятия, однако впервые за все месяцы учебы на уроках никто не озоровал и не смеялся, в классе было необычно тихо, лишь звякали ручки о чернилки, скрипели перья и шелестела бумага. Учительница старалась смотреть мимо нас, часто сморкалась в платочек и за два дня похудела лицом и не снимала с пушистых русых волос темный пуховый платок.

После уроков она придержала меня рукой и негромко попросила остаться в классе. И когда мы остались с ней вдвоем, Клавдия Никитична, откинув крышку парты, села рядом со мной, наклонилась ко моему плечу и я почувствовал, как она берет рубаху

**ЯГАН**  
**Иван Павлович**



**Сын и брат**  
**участников войны**

Родился 30 сентября 1934 года в деревне Байдановка Таврического района Омской области в крестьянской семье.

В Кургане с 1974 года. Более 30 лет руководил областной писательской организацией. Выпустил два десятка книг стихов и прозы: «Я боюсь тишины», «На улице строительной», «Чем живу», «Когда я был мальчишкой», «Средь высоких хлебов...», «Сын завода» и другие.

Лауреат премии Союза журналистов СССР (1968), журнала «Аврора», премии губернатора Курганской области, городской премии «Признание».

Неоднократно был делегатом съездов Союзов писателей СССР и России, избирался в их руководящие органы. Секретарь Правления Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РСФСР (1984).

В Союз писателей СССР принят в 1966 году.



## СОРОК ПЕРВЫЙ

Прошлое болит и беспокоит...  
Сорок первый горемычный год.  
Что ни месяц – то в селе покойник,  
А в полгода – двадцать пять сирот.

Помнится земля от слез соленой.  
Закрома очистил недород.  
Ждали и боялись почтальона:  
Вдруг да горе в сумке принесет.

Он входил в деревню, бледный, слабый,  
С болью, что не спрятать на лице.  
И взывали неутешно бабы –  
Не на этом, так на том конце.

Дни текли. Куражились метели.  
Но слезам и вьюгам вопреки  
На деревне часто песни пели.  
Грянет песня вдруг – и никаких!

Поплывет и растревожит души,  
И дружнее спорились дела.  
Не одна в Байдановке Катюша  
Верила и письма берегла.

Сквозь метели и морозы злые,  
Согревая нас теплом живым,  
К нам летели письма фронтовые  
Из-под самой матушки-Москвы.

– Жив-здоров! –  
А нам того и надо.  
– Враг бежит! –  
А мы того и ждем.  
И победным гулом канонады  
Наполнялся наш дерновый дом.

Под Москвою выиграна битва!  
Не согнулась Курская дуга!  
И была у бабушки молитва  
В эти дни проклятьем для врага.

К чудом сохранившейся иконе  
Встанет бабка к западу лицом  
И начнет отвешивать поклоны  
В честь земных сынов и их отцов.

«Слава отцу и сыну!  
Дай, бог, им ратного духа.  
Накажи ты вражину  
За такую разруху.  
Сохрани ты, господи,  
Сидора с Пашей,  
Накажи ты Гитлера  
За мучения наши.  
В каждую печенку –  
Сто ему иголок  
За все наши слезы,  
За холод и голод...»

...И, прося врагу у неба смерти,  
Еще крестьясь, вдруг крикнет грозно нам:  
– Вы снова снегу натащили, черти!?  
Вот я сейчас вам, нехристи, задам!

#### РАЗГОВОР С МАМОЙ

Я завтра брошу все дела и тотчас  
Наведаюсь в Байдановку мою.  
Там над одними из сотни бугорчков  
Я за деревней долго простою.

Здесь, над могилой маминой – березы,  
В зенит восходит солнце каждый день,

Летят к ней песни нашего колхоза  
И песни всех окрестных деревень.

Здесь слышен смех внучат ее беспечных,  
Когда бредут они в простор полей.  
Весь мир огромный памятником вечным  
Встал за дела обычные над ней...

– Ну, здравствуй, мама! Это я – Ванюшка.  
К тебе я снова в гости, на часок.  
Пришел, как прежде, – успокоить душу,  
В которой столько вызрело тревог.

Припомнить то, как ты жила когда-то...  
Кончались в доме скудные харчи.  
К тому в нагрузку, что звалась солдаткой, –  
Шесть едоков сидело на печи.

Одна опора – старший сын твой, Петька.  
Хотя его еще зовут – «пацан»,  
Но любо было на него смотреть, как  
Водил он трактор, заменив отца.

Сейчас зима, и Петька в МТСе,  
Под воскресенье явится домой.  
Но что такое? В среду вдруг невесел  
Пришел домой и ходит сам не свой.

Стал у окна, глядит сквозь занавеску,  
Потом баском нетвердым протянул:  
– Ты знаешь, мама, мне пришла повестка  
Уеду завтра. К папе. На войну...

Ты встрепенулась:  
Что-то рано больно?  
И села, чуя новую беду.  
А он в ответ:



– Я ж, мама, добровольно.  
Мы так решили. Не один иду.

Ты не спала тревожной этой ночью,  
Все на дорогу стряпала Петру.  
И вот – «Последний нонешний денечек...»  
Уже поют ребята поутру.

Уже копытят снег упрямо лошади,  
Кипит в глазах твоих слеза чиста.  
Но не упала ты в сугроб на площади,  
Хотя, наверно, легче было б так.

А ты стояла, онемев от горести,  
И веря и не веря в сотый раз.  
А ветер бил седеющие волосы  
И леденил слезиночки у глаз...

А как все дальше было? Помнишь, мама?  
Ты шла домой, хватаясь за плетень.  
Последнюю картошину с ростками  
Ты в погребе достала в этот день.

Сварила суп и раздала нам ложки.  
И мы, косясь в тарелку с наших мест,  
Старались не вылавливать картошку:  
Пусть, мол, братишка маленький поест.

А ты молчишь. Без хлеба, через силу  
Ешь луковицу с солью пополам.  
И слезы градом по щекам катились –  
Наверно, горькой луковка была...

## ТОПОЛИ

Росли у нас за огородом тополи,  
Один другого выше и стройней.  
Для красоты росли, а не для топлива:  
Из них дрова – на свете нет скверней.  
Зато какое было диво дивное,  
Когда напьются тополи весны!  
Надев листву зеленовато-дымную,  
Качаются, как будто бы пьяны.  
Склоняют пьяно друг на друга головы,  
А ветер хмель выветривает им.  
Но в тополях все так крепко и молодо,  
Что ветер сам становится хмельным.  
Он их раздражит,  
Улетит в сторонку.  
Разгорячатся братья-тополя,  
Они б за ветром бросились вдогонку,  
Когда б их не держала мать-земля.  
Взрослели.  
Становились все приветливей.  
Не видели мы в сутолоке дней,  
Как стали тополи особою приметой  
И гордостью Байдановки моей.  
Бывало, едут мужики из города,  
И разглядят еще за сорок верст  
На горизонте их вершины гордые,  
И кто-то скажет:  
– Вот где наш колхоз!  
Зимой стояли, в иней разнряжены.  
Настанет лето – птицам благодать:  
Кукушки со всего района нашего  
Слетались в тополях покуковать...  
Но и другие помнятся мне даты,  
Лишь только снова в детство загляну...  
В сорок втором зимою,  
Как солдаты,  
Встречали наши тополи войну.

Была зима, как мачеха суровая.  
Стояли тополи в метелях и в дыму,  
Они стояли, ко всему готовые,  
Не понимая, может быть, к чему.  
И вот, когда у нас в печи прожорливой  
Сгорел отцом поставленный забор,  
Достала мать в углу не в меру сгорбленный,  
Щербатый и затупленный топор.  
Пришла она к красавцу прямоствольному  
И, чуя сердцем страшную вину,  
Рубила тополь, не рубить невольная,  
Морозную нарушив тишину.  
Работа эта ей казалась мукой.  
Звенит топор.  
В стволе неясный гул.  
Упал красавец, вскидывая руки,  
Прощально охнул и увяз в снегу.  
И мы опять в согретой хате топали  
Несытое, босое пацанье...  
...Спасибо вам,  
За все спасибо,  
Тополи,  
Детство обогревшие мое!

## КАША

Сто дел на дню. Бывает больше даже.  
Но вдруг я что-то сделать не сумел,  
И тотчас слышу, кто-нибудь да скажет:  
– Ты зря, брат, взялся! Мало каши ел...  
Чего другого не услышу даже,  
Но это сердце бередит моё.  
Не потому, что много съел я каши,  
А потому, что не видал её.  
Что не видал,  
То это, может, слишком...  
Но то, что было, не прошло, как дым.

Мы в детстве, помню, ели кашу с Гришкой  
Дружком и однокашником моим.  
Была война.  
Мы и картошке рады,  
Когда нет хлеба,  
Что мечтать о нем.  
Но каждый день соседка для бригады  
Варила кашу во дворе своем.  
Бывало, сядем с Гришкой в канаве  
И жадно смотрим,  
Будто бы кино.  
Клокочет каша, как в вулкане лава,  
У нас в глазах от запаха темно.  
Сидим в траве, замаскируясь строго,  
Чтоб нас соседка видеть не могла.  
Нам было жалко капель тех немногих,  
Что падали на землю у котла.  
Терпеть – больших нам стоило усилий.  
Но почему,  
не знаю и сейчас –  
Ни разу каши мы не попросили  
(Соседка, знаю, накормила б нас).  
Но был конец у детского терпенья.  
О землю стукнув грязным кулаком,  
Как старший  
Гришка принял вдруг решение:  
– Беги, Ванюшка, к нам за котелком!  
И я принес.  
Он был полуведерный,  
Копченный, гнутый, правленный не раз.  
И юркнул Гришка с ним к плите проворно,  
Лишь тетя Даша в хату поплелась.  
Толчок! –  
И сбита над плитою крышка.  
Нырнул в котел бывалый котелок...  
Я полз канавой долго, до задышки,  
А Гришка следом котелок волок.

В канаве той, за огородом нашим,  
Опустошали с другом мы его.  
Ах, если б знать могли вы, тетя Даша,  
Как мы хвалили ваше мастерство!  
Как отвели тогда мы с другом душу!  
Все крепко память сберегла моя:  
У Гришки, помню, шевелились уши,  
Когда он ел.  
Своих не видел я.  
Без ложек ели кашу – пятернею,  
Беру вот так и жадно в рот несую.  
Я лишь легонько вздрагивал порою,  
Пугаясь свиста в собственном носу.  
Она еще чуть-чуть не доварилась,  
Была без масла – сказочно вкусна.  
За пять минут как будто испарилась,  
И мы добрались пальцами до дна.  
Мы ели с другом надолго, в охотку.  
Пуст котелок остывший. А затем  
Он выдержал такую обработку,  
Что не нуждался ни в каком мытье.  
Он заблестел опять веселым глянцем,  
Горит внутри надраенная медь.  
А мы сидим, облизываем пальцы  
Боясь в глаза друг другу посмотреть.  
Вокруг стоит еще той каши запах,  
А в сердце детском – жгучая вина...  
Война гремела, уходя на запад –  
Жестокая, проклятая война...

### ВСТРЕЧА

Я помню день, пришедший так нескоро.  
Он шел, весь в славе, в радостях, в слезах.  
И в честь его над низенькой конторой  
Вдруг вспыхнул яркий и огромный флаг.

О, День Победы! Крестятся старушки,  
Гадалки сыплют карты всех мастей.  
А вдовы тихо падают в подушки,  
В избу, собрав задумчивых детей.

А я тогда учился радость прятать.  
И счастье есть, и все же трудно с ним...  
Мальчишки! Тети! – Мы ж не виноваты...  
Мы вам поможем, Мы вам все дадим!

Придет отец, он принесет подарки –  
И все их вам до одного раздам...  
Мы ждем отца. И дни тем летом жарким  
Семье казались равными годам.

А вот и осень кличут в небе птицы,  
Летя к теплу, за высь безвестных гор.  
Двумя мешками веяной пшеницы  
Явилась осень в безоградный двор.

Придет зима суровая без спросу,  
Ворвется лешим в улицы буран...  
Пока тепло – мать за деревней косит  
На топливо уже сухой бурьян.  
Сестренки в поле. Бабушка – за стиркой.  
Я, примостившись тихо у окна,  
Сажу на лавке и латаю дырку  
На вышеупомянутых штанах.

Ура!  
Я раньше бабушки заметил:  
Во двор солдат хозяином вошел.  
Его таким я помню по портрету.  
В руках шинель да желтый вещмешок.

Все прожитое помнится легко мне,  
И все запомню – буду жив пока,

Лишь одного – хоть ты убей – не вспомню,  
Как очутился на его руках.

Через минуту серым полем прямо,  
Вспузырив рубашонку на спине,  
Тараня ветер, мчусь с той вестью к маме,  
Сбиваю ноги на сухой стерне.

Перехожу на рысь и вижу:  
Мама  
(Наверно, сердце чуяло её)  
Взяла платочек белый из кармана  
И уронила на землю косье...

Тебе сейчас бы взвиться чайкой легкой,  
Лететь туда, где радость - с океан,  
Но ты, смеясь, раскинула веревку  
И принялась накладывать бурьян.

Сплела концы и, затянув потуже,  
Взяла вязанку на плечи легко.  
Идем домой варить для гостя ужин.  
А «гость» идет навстречу напрямиком.

Идет все той же и не той походкой.  
Сошлись.  
Я слышал: дрогнула земля.  
К ногам упала рыжая пилотка,  
За ней – вязанка, горечью пыля.

И вот он, исходивший пол-Европы,  
Насквозь пропахший гарью от войны,  
Шагает полем по заросшим тропам,  
Вязанку сняв со слабых плеч жены.

И лишь теперь, за все четыре года,  
Она опять почувствовала вдруг  
Восторг и немощь перед этой гордой  
Мужскою силой работающих рук.

## Содержание:

1. Вступительное слово Губернатора области  
Олега Богомолова
2. Белоусов Андрей Дмитриевич
3. Аксенов Николай Алексеевич
4. Андреева Любовь Харитоновна
5. Анисимова Ирина Ивановна
6. Блюмкин Леонид Моисеевич
7. Верхнева Лариса Анатольевна
8. Веселов Вячеслав Владимирович
9. Виноградов Александр Михайлович
10. Возмилова Ольга Ильинична
11. Вострякова Наталья Александровна
12. Вохменцев Яков Терентьевич
13. Гилёв Виктор Константинович
14. Еловских Василий Иванович
15. Еранцев Алексей Никитович
16. Захаров Алексей Анатольевич
17. Керченко Михаил Степанович
18. Климкин Николай Петрович
19. Кочегин Павел Захарович
20. Куликов Леонид Иванович
21. Львов Анатолий Дмитриевич
22. Малахов Владимир Георгиевич



23. Меньшиков Валерий Сергеевич
24. Мехонцев Алексей Андреевич
25. Моторина Надежда Викторовна
26. Мурзин Алексей Никитич
27. Новиков Борис Иванович
28. Носков Виталий Николаевич
29. Пляхин Алексей Михайлович
30. Покидышев Николай Александрович
31. Потанин Виктор Федорович
32. Рождественская Надежда Николаевна
33. Сафронов Валентин Григорьевич
34. Ситникова Елена Львовна
35. Снегирев Василий Федорович
36. Спичкин Владимир Михайлович
37. Танаева Марина Николаевна
38. Усманов Владимир Викторович
39. Устюжанин Геннадий Павлович
40. Филимонов Владимир Иванович
41. Черемисин Борис Ефимович
42. Шушарин Михаил Иосифович
43. Юровских Василий Иванович
44. Яган Иван Павлович

# ПАМЯТЬЮ НАПИСАННЫЕ СТРОКИ

(зауральские писатели  
о Великой Отечественной войне)

Художественное оформление - Николай Пономарев  
Компьютерный набор и верстка - Владимир Филимо-  
нов

Консультант по верстке - Виктор Логиновский

Лицензия .....  
Подписано в печать.....  
Формат .....  
Гарнитура Таймс, Ариал  
Заказ №.....Тираж .....

Отпечатано с лазерного диска в ГУП  
«Куртамышская типография»  
Комитета по печати и средствам массовой информации  
Курганской области  
641430, г.Куртамыш, ул 22-го партсъезда, 7